

И.Н.Горелов

**ИЗБРАННЫЕ
ТРУДЫ
ПО
ПСИХО-
ЛИНГВИСТИКЕ**

Филологическая библиотека

И.Н. Горелов

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ПО ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

МОСКВА
ЛАБИРИНТ
ММII

Горелов И.Н.

Избранные труды по психолингвистике. – М.: Лабиринт, 2003. – 320 с., с илл. – (Филологическая библиотека).

Редакционная коллегия: проф. К.Ф. Седов (отв. редактор),
доц. Е.А. Елина, доц. Е.В. Дзякович, доц. Л.П. Прокофьева

Книга знакомит читателя с исследованиями одного из основателей отечественной психолингвистики И.Н. Горелова (1928-1999). Из обширного наследия ученого для републикации выбраны работы, которые, с одной стороны, наиболее полно представляют широту и универсальность его научных интересов, а с другой – по высокому индексу цитации сейчас уже имеют статус классики. При разнообразии тем и сфер науки о языке, которые затрагивают опубликованные работы (вербальное мышление, невербальные компоненты коммуникации, фоносемантика, онто- и нейролингвистика, социальная психолингвистика, билингвизм, искусственный интеллект и мн.др.) труды И.Н. Горелова отражают (и выражают) целостную психолингвистическую концепцию, объясняющую природу соотношения речи и мышления, языка и сознания и т.п.

Для языковедов, психологов и самого широкого круга читателей.

ISBN 5-87604-025-8

© Горелов И.Н.

© «Лабиринт», 2003 г.

Слово об Илье Наумовиче Горелове

Илья Наумович Горелов (1928 – 1999) – доктор филологических наук, профессор, ученый-гуманитарий, чье имя хорошо знают специалисты в России и за ее пределами. Для меня он был еще и Учителем, образцом ученого и человека, своего рода эталоном, по которому я по сей день сверяю правильность своих поступков и суждений.

Девизом жизни Горелова были слова «батюшки русской авиации» Н.Е. Жуковского: «Знать все о чем-нибудь и что-то – обо всем». И действительно, Илья Наумович был человеком необыкновенно разносторонним. Друзья и близкие поражались многообразию его дарований: чуткий педагог, остроумный собеседник, блистательный лектор (на его открытые лекции по психолингвистике собиралось пол-Саратова), он к тому же еще был автором полутысячи журналистских публикаций, поэтом и прозаиком, тонким ценителем музыки и живописи. Типичный «шестидесятник» по мироощущению и привязанностям, Горелов был знаком и переписывался с такими известными писателями, как А. Твардовский, В. Астафьев, В. Каверин, В. Семин. До конца дней он гордился положительным отзывом на свои стихи Арсения Тарковского...

Илья Наумович был одним из тех людей, которые заметны в любом человеческом сообществе – будь то заседание ученого совета, конференция или дружеское застолье. Помню наивный возглас юной аспирантки в кулуарах конференции: «Кто этот человек? Когда он входит в аудиторию, такое ощущение, что вокруг как-то светлее становится!...»

Однако главная сфера самоактуализации, область, где он действительно «знал все», была наука – психолингвистика. Горелов был психолингвистом от Бога. Это, по моему мнению, означает, во-первых, что ответы на вопросы о соотношении речи и мышления он искал в «живой жизни языка», в повседневном общении окружающих его людей. А во-вторых, в том, что он был прирожденным экспериментатором. Значительная часть экспериментального фонда отечественной психолингвистики – плод научного творчества Ильи Наумовича. Свои опыты он проводил всегда и везде: на лекциях, в бытовом разговоре, в лабораторных условиях. Его эксперименты всегда были остроумными и даже – веселыми (вспомним, хотя бы знаменитых «человечков» – Мамлыну и Жаворугу).

В науке Горелов всегда был первопроходцем, первооткрывателем. Его работы – это, как правило, опровержение устоявшихся догм, расхожих представлений. Энергия его книг и статей – это энергия преодоления, энергия нетривиального мышления, в котором красота парадокса обычно сочеталась с железной логикой аргументации. Свои идеи он отстаивал в борьбе. Борьба была его стихией. Не слу-

чайно, что в детстве он, наряду с занятиями музыкой, посещал секцию бокса.

Большинство идей Горелова сейчас стало достоянием науки. Но в свое время их приходилось утверждать в жарких спорах. Так, например, было с его кандидатской диссертацией. Кому сейчас в голову придет спорить с правотой коммуникативных методик преподавания иностранного языка. Между тем в 60-е годы ему приходилось отстаивать использование прямого (натурального) метода в вузе и школе.

В еще большей степени сказанное относится ко второй (докторской) диссертации Ильи Наумовича. Смешно сейчас доказывать тезис о вербальности (и только вербальности) мышления. В докторской диссертации он доказывал тезис о существовании особого, невербального слоя сознания человека. И защита диссертации длилась около пяти часов и вызвала массу критических отзывов и нападок.

Илья Наумович принадлежит к первому (для нас – старшему) поколению психолингвистов. И его следует считать не только классиком нашей науки, но и одним из ее основателей. В ходе становления психолингвистики в нашей стране долгое время ее основные научные достижения совершались в рамках теории речевой деятельности, направления, которое позже получило название Московской школы психолингвистики (или школы Выготского-Леонтьева). Однако параллельно развивалась и набирала силу другая, не менее результативная и не менее влиятельная ветвь нашей науки, которую следует именовать школой Жинкина-Горелова.

Научная мысль И.Н. Горелова двигалась в направлении, заданном одним из крупнейших отечественных психологов Н.И. Жинкиным¹. Горелов дополнил, уточнил, а в чем-то и поправил концепцию Жинкина. При этом он сумел затронуть практически все ключевые проблемы психолингвистики: порождение и понимание речи, соотношение вербальных и невербальных компонентов в мышлении человека, развитие языка и речи в филогенезе и онтогенезе, психолингвистический аспект овладения иностранным языком, проблемы соотношения звука и смысла в языковом сознании, динамический аспект строения текста, искусственный интеллект и мн. др. В настоящем издании отражено многообразие его научных интересов².

И.Н. Горелов прожил семьдесят с половиной лет. В последнее десятилетие своей жизни он буквально купался в признании: ведущий

¹ Издательство «Лабиринт» в 1998 году выпустило том избранных трудов Н.И. Жинкина. Теперь же читатель получил возможность познакомиться с концептуальными положениями школы Жинкина-Горелова в достаточно полном объеме.

² В целом концепция И.Н. Горелова представлена в учебном пособии: Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики [3-е доп. и перер. изд.]. М., 2003.

профессор романо-германского отделения СГУ, член-корреспондент РАЕН, гостевой профессор Эссенского университета (Германия), всемирно признанный и всемирно известный ученый, окруженный любящими домочадцами и восторженными учениками ... Однако не все, кто общался с Гореловым, знали о его непростой и необычной судьбе.

Огромную роль в биографии Ильи Наумовича сыграл случай. Случай, который позволил ему в раннем детстве соприкоснуться с немецким языком. Именно немецкий язык стал в его жизни тем роковым фактором, который определил всю его жизнь. Скажу иначе: жизнь Горелова прошла под знаком любви к немецкому языку. Если у А.С. Пушкина была няня Арина Родионовна, которая привила ему любовь и вкус к народному русскому языку, то у И.Н. Горелова няней была простая немецкая крестьянская девушка Марта, которая в восемнадцатилетнем возрасте волею судеб оказалась в конце суровых 20-х годов в г. Ростове-на-Дону. Девушка практически не знала русского языка и буквально умирала от голода. Мать Ильи Наумовича, в прошлом выпускница гимназии, которая, «с гимназической парты пересела в седло красного командира-австрийца»¹, а в ту пору – супруга главного архитектора города, добилась для девушки небольшой жилплощади. Работать, не зная русского языка, Марта не могла, поэтому ее и наняли няней маленькому Илье. Так состоялась встреча будущего психолингвиста с немецким языком. Любовь к нему пришла одновременно с любовью к Марте, которую он сам в рассказах мне называл второй матерью. Немецкий язык стал для Горелова вторым родным языком; фактически он был билингвом и оба языка (русский и немецкий) знал одинаково хорошо. Он с удовлетворением констатировал, что в Германии его никто не считал иностранцем.

Любовь к языку переросла у Горелова в своего рода германофильство. Даже в характере Ильи Наумовича были типичные для немца черты: педантичность, аккуратность, пунктуальность и т.д. Вообще говоря, Горелов терпеть не мог бесшабашности и безответственности в человеческих поступках. Его любимой присказкой, которой он буквально «изводил» близких, была: «Что не делается сразу, не делается никогда». Когда я однажды попросил его отменить занятие со студентами, чтобы выступить на научном семинаре, Илья Наумович очень серьезно заявил: «Запомните, Костя: за более чем сорок лет работы в вузе я ни разу не отменил занятия и ни разу не пришел на лекцию с опозданием».

В годы войны Марта была так спешно интернирована, что Илья Наумович потерял ее след. Он писал письма в разные официальные

¹ Вместо предисловия // Горелов И.Н. Публицистика разных лет. Саратов, 1998. С.4.

инстанции, делал запросы. Забегая вперед, скажу, что много позже, после своих мытарств и скитаний, он таки нашел свою вторую маму, навещал в Ростове, куда она вернулась, и похоронил ее на ростовском кладбище... Когда юный школьник Горелов писал свои запросы о месте проживания Марты, он не знал, что потом, после войны, эти письма станут поводом для обвинения его в измене родине и трехлетнего тюремного заключения по знаменитой 58 статье. И вот он, юноша из интеллигентной семьи, двадцатидвухлетний студент-отличник МВТУ им. Н. Баумана, оказался за решеткой. Горелов рассказывал мне, что ему пришлось сидеть в Бутырках, Крестах, Харьковской тюрьме. В 1953-м году он вышел по амнистии. Чтобы «не светиться», он, бывший зск, отправился в далекую деревню, где работал в школе преподавателем немецкого языка. Он переезжал из одного села в другое, был реабилитирован, сотрудничал в газетах...

Наконец, после окончания факультета иностранных языков Ставропольского пединститута, он начал заниматься наукой – сначала это была методика преподавания немецкого языка в школе. От методики он двинулся к психолингвистике. Но немецкий язык всегда оставался предметом его научных интересов. Помимо трудов по психолингвистике, Горелов был автором более сотни публикаций по германистике. Они не вошли в настоящее издание и в библиографический список его трудов.

Жанр предисловия не позволяет углубляться в детали жизненного пути Ильи Наумовича. Он был яркой личностью, человеком сильным и недюжинным. Его смерть была скоропостижной только для близких. Сам он знал о близкой кончине. Не раз он говорил мне, что не проживет больше семидесяти лет. К собственному семидесятилетию он сделал себе подарок: издал малым тиражом три небольшие книжечки, где поместил свои стихи, прозу и публицистику. Приведу одно из последних (может быть – самое последнее) его стихотворений.

*Когда приходит врач,
Легко слетает спесь –
Нет надобности врать,
Есть надобность поспеть.*

*За левое плечо,
Знобя, сползает страх.
Кресты здесь ни при чем,
Здесь – голова в кустах.*

*Все – по своим местам.
Все – по Его часам.*

Илья Наумович в жизни «поспел» многое. Он оставил идеи, учеников; а главное – тексты. Тексты его книг и статей. Они, по моему

мнению, переживут не одно поколение ученых и будут будить мысль всех ищущих истину. Книга трудов по психолингвистике составит лишь первый том его избранных работ. Издательство планирует выпустить второй том его сочинений, основу которого составят две монографии ученого, опубликованные в 80-е годы.

ПСИХОЛИНГВИСТИКА¹

Как и многие другие науки 20-го в., психолингвистика возникла на границе двух наук, которые легко угадываются в ее названии. В психологии интересы психолингвистики оказались тесно связанными в основном с психологией речи, а в лингвистике – с теми ее разделами, которые тяготели к психологическим проблемам.

Психолингвистика появилась в США в середине 50-х гг. нашего века. Американцы так стали называть всю совокупность проблем, которые встают перед людьми, овладевающими как родным, так и иностранными языками.

Довольно быстро выяснилось, что, во-первых, ученые слишком мало знают о том, как протекают реальные процессы возникновения и понимания речи, а во-вторых, обнаружилось, что многие задачи, стоящие перед психолингвистикой, давно привлекали внимание ученых. В 1862 г. русский исследователь А.А. Потебня опубликовал книгу «Мысль и язык», в которой затронул многие проблемы будущей науки, введя впервые и ее название. Потебня назвал будущую науку «лингвистическая психология», почти угадав термин. В 70-х гг. 19-го в. Немецкий психолог В. Вундт заложил основы для проведения экспериментальных исследований речевых процессов, а выдающийся советский психолог Л.С. Выготский в своей работе «Мышление и речь» (1934) практически определил все основные направления психолингвистики.

В настоящее время психолингвистика развивается во многих странах и быстро накапливает фундаментальные результаты во всех своих основных направлениях исследований. Назовем основные.

1. Исследование внутренней речи. Внутренняя речь, по сути, есть сам процесс мышления, тайна которого давно волнует человека. Большой вклад в понимание этой тайны с позиций психолингвистики внес Н.И. Жинкин. В серии исследований, проведенных в период с конца 50-х по конец 70-х гг., он доказал, что имеется принципиальное различие между процессом мысленного проговаривания (например, чтением какого-либо стихотворения «про себя») и процессом внутренней речи – мышления. Для второго процесса характерна не словесная структура, а какая-то иная. Когда мы вспоминаем увиденный нами ранее пейзаж, или восстанавливаем мысленно течение шахматной партии, или обдумываем конструкцию будущего прибора или интерьера комнаты, то наша внутренняя речь – мышление обходится практически без речевых структур.

¹ По изданию: Горелов И.Н. Психолингвистика // Информатика. Энциклопедический словарь для начинающих. М., Педагогика-Пресс, 1994. С.197-201.

Н.И. Жинкин считал, что этот процесс опирается на специальные кодовые структуры, а сам этот код является основой функционирования больших полушарий нашего мозга (при обязательном участии в этом процессе подкорки). Этот внутренний код Жинкин назвал универсально-предметным, сокращенно УПК. «Предметным» потому, что в нем присутствует конкретный образ-предмет (например, лицо определенного, известного человека) либо обобщенный образ (например, «мужское лицо», «яблоко вообще»).

Тем самым Жинкин считал, что образы в нашей памяти хранятся в виде иерархических структур, на нижнем уровне которых фиксируются предельно конкретные образы, а на верхних этажах хранятся обобщенные образы, связанные с понятиями. Между уровнями имеются связи, позволяющие переходить от конкретных образов к обобщенным и наоборот.

«Универсальный» в названии УПК подчеркивает наднациональный, не зависящий от специфики конкретного языка характер образов и связей между ними (схем.).

Таким образом, необходимо различать поверхностную структуру, образуемую знаками языка в речи, и глубинную структуру, связанную с УПК. Если мы, например, говорим о ливне, то образ, связанный с этим видом дождя, у всех людей, наблюдавших его, задается глубинной структурой, а поверхностная структура может фиксировать это явление различным специфическим для данного языка образом. Для русского языка «дождь льет как из ведра», для английского – «It's raining cats and dogs», а для немецкого – «Es regnet (giesst) in Strümen». Ясно, что при переводе поверхностных описаний с одного языка на другой важны не образы ведра, кошек и собак или потока, использованные в разных языках, а тот общий глубинный образ ливня, который скрывается за этими внешне различными описаниями.

Наш пример показывает одну очень важную особенность связи поверхностных и глубинных описаний. Схема, определяющая глубинное описание, активизируется в нашей памяти лишь тогда, когда «созревает» определенная ситуация. Поверхностные образы ведра, кошек и собак и потока в других ситуациях (других контекстах) будут активизировать другие глубинные описания – схемы УПК. Так будет, например, при восприятии и понимании таких поверхностных описаний, как «собаки не любят кошек», «селевой поток нанес большой ущерб» или «в сельмаге продаются оцинкованные ведра».

Это значит, что понимание текста, его порождение происходят не поэлементно (не пословно), а через специфический механизм, обеспечивающий схватывание общего смысла текста (такой целостный образ, возникающий в нашем сознании, психологи называют гештальтом).

Это важное обстоятельство позволяет нам понимать речь «с полуслова» и предвосхищать то, что еще не сказано или не написано.

2. Проблема речевого онтогенеза. В рамках этой проблемы исследуется комплекс вопросов, связанных с описанием зарождения и развития речевой способности людей. Непосредственные наблюдения и магнитофонные видеозаписи, проводимые в течение долгого времени специалистами в разных странах, показали, что эта проблема еще очень далека от своего окончательного решения.

Анализ случаев патологий, связанных с утратой или нарушением речи (врожденная слепоглухонмота, потеря способности к восприятию и воспроизведению речи в результате заболеваний), частичная афазия (например, невозможность говорить при понимании речи или наоборот) показывают, что самый первый этап овладения речью (крик, гуление, младенческий лепет) сохраняется неизменным при всех отклонениях от нормы. Речевые патологии не мешают человеку сохранять способность к интеллектуальной и даже творческой деятельности.

Это еще раз подтверждает идею Жинкина об относительной независимости УПК от речи. Однако за семью печатями все еще остается тот качественный скачок, который обеспечивает переход от этого детского состояния «предречи» к нормальному речевому общению. Наблюдение за слепоглухонемыми, которые стали высокообразованными специалистами (писательница Е. Келлер в США, психолог О. Скороходова и философы А. Сироткин и А. Суворов в нашей стране), показывают лишь конечный результат овладения языком, но сам механизм этого овладения остается пока не до конца ясным, хотя некоторые данные об этом механизме уже известны. В процесс овладения языком входят механизмы формирования видовых понятий из «предпонятий», представляющих собой наблюдаемые в реальном мире совокупности однотипных объектов (конкретных персонифицированных собак, предметов домашнего обихода в доме, где живет ребенок и т.п.). Появление видового понятия – первый шаг в овладении языком, т.к. он требует уже называния «предпонятия». Так появляются слова «стол» (вообще, а не тот конкретный стол, который стоит в столовой), «собака» (вообще, а не живущий дома пес) и т.п.

Переход от видовых понятий к родовым вообще невозможен без владения языком. Например, понятия «млекопитающее» или «живой организм» уже не вызывают за собой никаких конкретных образов, а есть определенная логическая конструкция, полученная путем рассуждения, а не наблюдения.

Такой уровень абстракции невозможен без того, что принято называть функциональным базисом речи. Например, понятие «цвет» (и само слово «цвет») может сформироваться только после того, как

сформированы и усвоены понятия (и соответствующие им слова) «красный», «зеленый» и другие, фиксирующие различные цветовые оттенки.

В отличие от компьютера, умеющего различать слова «красный» и «зеленый» и способного, например, переводить эти слова на другие языки, знающего, с какими другими словами эти слова сочетаются, но не различающего самого цвета, и младенец, и дельфин, и шимпанзе распознают именно цвета, не зная на определенной стадии развития их языковых эквивалентов.

Сказанное означает, что у человека, как и у высших животных, есть обобщающий образ данных оттенков цвета в их УПК. Но для УПК человека на некотором этапе развития появляется связь «образ – слово», и связи такого рода с течением времени непрерывно количественно увеличиваются и усложняются.

3. Сопоставление онтогенеза человека и высших животных в овладении языком. О том, как проходит у человека переход от образов, связанных с УПК, к их словесным эквивалентам, уже было сказано. У высших животных этот этап также присутствует, но он значительно обеднен. Опыты обучения обезьян естественному языку (конечно, не речи, а именно языку как символической системе, пригодной для описания реальности и коммуникации) показали, что они могут овладеть элементами языка, но у них с точки зрения возможностей человека резко ограничено число «заместителей» (символов или сигналов, включая словесные команды) и столь же резко ограничена достижимая сложность устанавливаемых связей.

Возможно, что, когда компьютеры встанут на путь эволюции, в чем-то подобной той, в которой участвуют живые организмы, им придется повторить путь «высшее животное – младенец человека – зрелый человек», который проходит каждый человек, овладевая языком.

4. Нейролингвистика. Это направление психолингвистики занимается созданием описательных моделей процесса порождения и понимания речи и письменных текстов с учетом функций участков головного мозга. В частности, ученые пытались выяснить, какие участки нашего мозга ответственны за правильное синтаксическое построение фраз и текстов, за лексическое наполнение грамматических конструкций, за семантику создаваемых и воспринимаемых текстов. В этой области, пожалуй, сейчас больше вопросов, чем ответов.

5. Психолингвистическая мотивация языкового знака. Знак считается мотивированным, если его звуковая форма в какой-то мере соответствует тому, что обозначает этот знак. Например, знаки-слова «хрюкать», «свистеть», «шуршать» в русском языке являются мотивированными. Таких мотивированных знаков-слов в развитых

естественных языках немного – не более нескольких тысяч. А в языках, стоящих на уровне племенных, или в языках малых народов их куда больше. Это проливает свет на процесс возникновения человеческих языков (начало филогенеза языка).

В психолингвистике развивается специальное направление – фоносемантика. В ней решается проблема о соответствии смысла текста его звуковой форме с учетом ритмического рисунка текста и его тембровой окраски.

6. Невербальные компоненты коммуникации. Всякое человеческое общение включает в себя также и массу жестов, мимических компонентов, специальных поз и т.п. Эти невербальные компоненты взаимодействуют с вербальной (словесной) частью высказываний, но в ряде случаев могут полностью заменять их (кивок как знак согласия, указательный жест, жест нетерпения и т.п.). К невербальным компонентам относятся и фрагменты той ситуации, в которой осуществляется коммуникация. Эти фрагменты включаются в процесс общения сознательно или бессознательно (выражение лица собеседника, его костюм или платье).

Компьютеры будущего должны будут овладеть невербальными компонентами общения, чтобы диалог «человек – компьютер» был максимально приближен к общению между людьми.

ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ¹

Глава 1

ИНТЕЛЛЕКТ И РЕЧЬ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ФИЛОГЕНЕЗЕ

Раздел 1. Некоторые замечания по данным био- (физио-) лингвистики о наследовании языковой способности

Насколько нам известно, никто и никогда не проводил экспериментов (по крайней мере, не обнародовал их результатов), доказывающих, скажем, что ребенок определенной национальности, воспитанный с младенчества в семье носителей другого языка, не проявил в дальнейшем никаких особых склонностей или способностей к языку родителей. Не доказано также, что язык среды усваивается таким ребенком совершенно так же, как и родной (по происхождению) язык. Поэтому любое отрицание возможности биологического наследования определенной языковой способности пока остается декларативным, как и противоположное утверждение. Обратимся все же к некоторым наблюдениям, описанным в литературе. Психолог М. Мид (США) сообщает, что американский ребенок, возвратившийся в США после рождения и 2-летнего пребывания в Самоа, «заметно оживлялся», когда я при нем говорила на самоанском языке ... У него отмечались очень значительные недостатки в овладении английской письменной речью; когда же я проанализировала характер его ошибок, то в основе их лежали самоанские грамматические формы» [Развитие ребенка 1969: 165-166].

Как видим, факт свидетельствует о чрезвычайно ранней обучаемости языку вопреки другой национально-языковой принадлежности. Но вот данные одного из отечественных лингвистов: «Методами конкретно-социологических исследований удалось установить «национальную натренированность» органов человеческой речи. Русский ребенок, усыновленный в шестимесячном возрасте дагестанцем-горцем, росший исключительно в горской среде, произносил с самого детства некоторые формы лезгинского языка с русским акцентом. А мальчик-рутулец, воспитанный в русской семье, говорил по-русски с рутульским акцентом. Это значит, что у ребенка, еще не умеющего говорить, органы речи предрасположены к определенному языку, преимущественно к языку матери» [Анализ речевых... 1971: 131]. Но оба факта, изложенные М. Мид и А.Г.

¹ По изданию: Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе: Учебное пособие. Челябинск, 1974.

Агаевым, не аргументируют ни одну из возможных точек зрения: они единичны, скупо освещены и могли бы иметь значение при решении интересующего нас вопроса лишь в том случае, если бы мы знали точно, на каком месяце жизни нечленораздельные фонации младенца начинают соответствовать звуковой системе среды.

Гораздо более основательной является, вероятно, позиция тех, кто считает, что человек биологически наследует некую общую основу развертывания любого языка, своего рода универсальную грамматику. Следовательно, чтобы младенец «начинал с нуля» и овладевал за короткий период наименее сознательной части своей жизни сложнейшим механизмом речи. Е.М. Верещагин считает, что «тезис о наследуемой языковой способности ... нужно отстаивать» [1969: 6].

Первая точка зрения характеризуется А.В. Запорожцем и Л.А. Венгром следующим образом: «Врожденная организация, в частности инстинктивные механизмы поведения, ни в какой мере не обеспечивают возникновения специфически человеческих психических свойств и способностей, являясь лишь необходимым условием их развития (разрядка моя — И.Г.)». И далее: «Человеческие формы поведения, психические свойства и способности не даны ребенку от рождения ни в готовом, ни даже в зачаточном виде. Они формируются под решающим влиянием целенаправленного (а также стихийного) воспитания и обучения, условий жизни ребенка в обществе. Соответственно, физиологическим субстратом человеческих психических свойств являются не врожденные нервные механизмы, а прижизненно формирующиеся функциональные системы (разрядка моя. — И.Г.)» [Развитие ребенка 1969: 25].

Нам кажется, что если врожденная организация (включая инстинкты) является «необходимым условием» развития «специфических свойств человека», то нельзя говорить, что она (организация врожденного типа) не обеспечивает этого развития «ни в какой мере». Во второй части цитаты говорится, что «человеческие формы поведения формируются «под решающим влиянием» прижизненных факторов воспитания ребенка. Следовательно, можно все-таки говорить о влиянии врожденных механизмов, хотя бы не как о «решающем».

Интересно было бы здесь упомянуть о таком факте, как стадия так называемого гуления в развитии речевой моторики ребенка. Известно, что гуление, предшествующее более высоко организованным фонациям, лепету, производится и глухонемыми от рождения детьми. Известно также, что стадия лепета наступает только у слышащих детей¹, только под воздействием реакций взрослых на гуление, на-

¹ По другим данным «появляющийся у глухих от рождения детей ранний лепет, не получая подкреплений, постепенно гаснет (разрядка моя — И.Г.) [Расстройства речи... 1969: 26].

правленных объективно на подкрепление фонаций. В частности, фонации, сигнализируя «вызов» родителям, становятся и для ребенка средством сигнализации «вызова». Механизм гуления, поскольку он функционирует у глухонемых детей, является врожденным, а не приобретенным, не внесенным извне. Стадия гуления является обязательной, и только через нее развивается стадия лепета, а затем и первые эхоталлические продукции ребенка.

Можно ли утверждать, что механизм гуления «ни в коей мере» не обеспечивает специфически человеческие речемоторные механизмы? Видимо, нельзя. Благоприобретенные компоненты поведения являются результатами отбора – закрепления наиболее социально пригодных, и «гашения» наименее социально пригодных проявлений врожденных механизмов. Собственно говоря, обучение младенца и детеныша животного осуществляется по одной и той же схеме: с одной стороны, индивидуальные проявления врожденных механизмов поведения встречают противодействие, если они вступают в конфликт с нормативными, с другой – допускаются или даже поощряются, если в конфликт с нормативными не вступают.

Если говорить о развитии речи ребенка, то на стадии лепета появляющиеся силлабические фонации как бы «просеиваются» сквозь обе схемы, упомянутые выше. Аутогенные образования являются проявлением инстинктивных механизмов общего типа, но некоторые из них поощряются взрослыми («детские слова», часть которых, кстати говоря, вошла в общеупотребительную лексику «взрослого языка») и закрепляются. Другие силлабические образования конструируются по образцу. Но ведь никто не учит ребенка, как их надо конструировать!

По изложенным причинам мы не можем согласиться с мнением, согласно которому следует, разграничивая значение врожденных и воспитанных свойств человеческой психики и человеческого поведения, считать, что между ними нет причинно-следственной и генетически обусловленной связи. «Даже такой сравнительно элементарный вид действия, как акт хватания, – пишут в том же, цитированном выше, предисловии А.В. Запорожец и Л.А. Венгер, – не развивается из безусловнорефлекторных механизмов, но формируется целиком заново при жизни ребенка. Прирожденный хватательный рефлекс исчезает раньше, чем начинает складываться специфически человеческая форма хватания» [Расстройства речи... 1969: 25]. Но нигде не отмечалась возможность формирования последующей формы хватания без того, чтобы ей предшествовал врожденный хватательный рефлекс.

К. Лоренц, один из виднейших представителей этологии (науки об инстинктах у животных) обратил внимание на явление ауторитмии¹. В результате наблюдаются двигательные импульсы, как, например, импульсы ползания в брюшной струне земляного червя. Вместе с тем, как пишет Лоренц, «неповрежденный земляной червь ползает только тогда, когда ему это нужно». Представляется весьма важным следующее заявление К. Лоренца: «Теперь мы располагаем совершенно достоверными и доказательными данными о том, что ауторитмия играет наиболее значительную роль в обуславливании типичной спонтанности всех инстинктивных действий» [Расстройства речи ... 1969: 98-101]. К. Лоренц излагает в дальнейшем свою интерпретацию понятия «пусковой механизм». Нас интересует явление ауторитмии (тем более что К. Лоренц квалифицирует его как древнейший и в то же время сохранившийся механизм) в качестве объяснения врожденных и не стимулируемых извне типов активности человека, включая так называемый «исследовательский рефлекс», «рефлекс хватания» и активность органов артикуляции, а также всей совокупности, составляющей способность к подражанию.

В отношении ранее обсуждавшегося рефлекса хватания К. Лоренц высказывается совершенно определенно: «Онтогенетическое развитие рефлекса из поискового автоматизма (здесь уже речь идет об исследовательском рефлексе – И.Г.) было тщательно прослежено... Очень возможно, что рефлекс даже в самой чистой форме представляет собой не что иное, как ауторитмический процесс, поставленный под афферентный контроль» [Развитие ребенка 1969: 114]. Если точка зрения К. Лоренца будет в дальнейшем существенно подтверждена (а сам он опирается на данные, полученные многими другими исследователями), то современная наука получит принципиально новые данные о врожденных механизмах, обеспечивающих процесс обучения вообще, включая и обучение речи².

¹ Идея ауторитмии принадлежит, по-видимому, Н.А. Бернштейну, писавшему еще в конце 40-х годов: «... первые движения были самопроизвольные, развившиеся просто потому, что шевелящиеся особи имели лучшие шансы в борьбе за жизнь, чем совершенно неподвижные». И далее: «У низших ... ощущения обслуживаются и обеспечиваются с помощью движений. Движения, с виду бессистемные и бестолковые, идут впереди ощущений». В дальнейшем Н.А. Бернштейн говорит, что «этот механизм активного, деятельного ощущения сохранился и у нас» [Бернштейн 1947, 1966, 1968].

² Аутогенное происхождение имеют, по-видимому, и такие виды активности, которые обнаруживаются в виде микродвижений важнейших рецепторных аппаратов – зрительных, осязательных, о чем не всегда эксплицитно свидетельствуют экспериментальные данные [Запорожец и др. 1967: 75-78, 82-88]. Мы склонны предполагать, что и так называемая «латентная речевая моторика» есть на самом деле произвольная активность (ауторитмия), восходящая к механизмам осязания и вкусового ощущения,

Может оказаться, в частности, что тот или иной уровень знаково-го поведения формируется не заново, а как результат взаимодействия поискового врожденного механизма и отражающей функциональной системы. В этом случае мнение Э. Леннеберга и его последователей получит основательное подтверждение того, что существует наследуемая генетически языковая способность.

**Раздел 2. Об автономном происхождении и развитии
интеллектуальной и речевой способности**

Насколько взаимообусловленными являются системы, обеспечивающие человеческую деятельность вообще (мышление и поведение) и речевую деятельность? Могут ли указанные системы функционировать в онтогенезе независимо друг от друга? Э. Леннеберг, по мнению Е.М. Верещагина, «убеждает читателей в том, что генетическая основа интеллекта и генетическая основа речи представляют собой совершенно разнородные явления» [1969: 9].

Но, может быть, различные генетические основы (если они различны действительно) сливаются в одну в самом раннем онтогенезе? Является одна из этих систем ведущей? Простая констатация «неразрывного единства» или позиция отождествления мышления и речи была исчерпывающе, на наш взгляд, обсуждена А.А. Леонтьевым [1969]. Вспомним, что в патологии проявляются – независимо друг от друга – речевые продукции и интеллектуальная деятельность; в актерской работе имитируется, скажем, форма государственной деятельности или труда часовщика, а в высказывании ребенка «я делаю паровозик» речевое обозначение может не иметь ничего общего с объективной реальностью, оно тоже формально.

Рассматривая случаи неправомерного и независимого постижения ребенком (да и не только ребенком) формы и содержания, можно убедиться, что решающую роль здесь играет потребность: если коммуникативные цели достигаются ребенком авербально (фонации побуждения, указательные жесты), то вербальное его развитие серьезно затормозится: нет стимула для развития вербальных форм общения.

Обратимся к определению понятия «интеллект», оговорившись заранее, что отнюдь не претендуем на что-либо большее, чем рабочее определение, тем более, что интеллект связывается с проблемой сознания, далекой, по-видимому, от разрешения [Жинкин 1956].

Будем считать признаком наличия интеллекта человеческого типа способность постановки и решения задач, не связанных с потребностями обеспечения биологиче-

ских функций. Ввиду того, что «ориентировочно-исследовательский рефлекс у обезьян выходит за рамки непосредственно биологических потребностей» [Войтонис 1949; Келер 1930; Шорохова 1961] наше определение может показаться серьезно уязвимым, поэтому мы хотели бы пояснить, что форма поиска у животных ближе всего к форме обычной деятельности биологического типа, что сложные действия, не свойственные виду, выполняются в системе биологически ценного подкрепления (дрессура). Поэтому, на наш взгляд, вопрос «сложности» или «простоте» какой-нибудь интеллектуальной операции должен решаться в зависимости от степени близости типа данной операции к инстинктивным или условнорефлекторным действиям – в обратно пропорциональном отношении: чем ближе, тем проще. Кроме того, особое значение имеет здесь учет степени развитости мотивационной сферы. Мы можем, конечно, судить о мотивах человеческого поступка, но о мотивах животного мы можем только догадываться.

Развитие интеллекта обнаруживает, как считает Ж. Пиаже [см.: Пиаже, Инельдер 1963; Флевел 1967], четыре основные качественные стадии, которым соответствуют довольно определенные возрастные показатели испытуемых детей.

1-я стадия. Сенсомоторное мышление. Возраст до 2-х лет. К концу этого периода в определенных пределах сформированы механизмы дифференциации и генерализации, обеспечивающие в ходе предметных действий возможность, во-первых, отличать предметы друг от друга, а во-вторых, группировать их. Пользуясь методикой Ж. Пиаже и его сотрудников, мы ввели в наши собственные эксперименты¹ некоторые новые компоненты и, соответственно, новые единицы измерения уровня интеллекта для данной стадии. Вначале ребенку предлагалось наблюдать действия экспериментатора, который из беспорядочного набора игрушек (всего 12) образовывал группы (3 группы) по классам: автомашины, посуда, куклы. После завершения группировки ребенку предлагается другой набор игрушек с задачей «Сделай, как я». Дети 2-х лет быстро и успешно выполняли задание совершенно самостоятельно. Дети от 1,5 до 1,8 с заданием, как правило, не справлялись, причем им не помогали наглядные образцовые действия экспериментатора, совершаемые повторно. Дети в возрасте 1,8-1,11 справлялись с задачей безошибочно только после повторения (2-3-кратного) образцового действия. В следующей серии опытов с теми же детьми действия-образцы совершались с одним набором игрушек (классы: карандаши, мячи, самолеты), а задание предлагалось выполнять на другом наборе с дру-

¹ В качестве испытуемых привлекались дети в возрасте 1,5-2 года. Общее число опытов (одних и тех же по цели и методике) – 14 с привлечением 6 детей обоего пола.

гими классами (фрукты, шахматные пешки, коробочки). В первом опыте с заданиями справлялись только двухлетние. При переходе к геометрическим элементам Ж. Пиаже показатели менялись довольно существенно. Количество правильно выполненных заданий снижалось на 30-50%. Нам представляется, что причиной этому является незнание ребенком функций предметов, предлагаемых для группировки, ибо прежде других формируется умение группировать предметы по признакам, характеризующим их назначение¹. По нашим наблюдениям, подтверждающим данные различных источников, группировка разнофункциональных предметов по вторичным признакам (цвет, величина, форма, вес, качество обработки и т.п.) осуществляется позднее, а классификация по видовым и родовым признакам доступна позже, в школьном возрасте, причем с существенными индивидуальными отклонениями.

В описанных выше опытах дети не могли назвать некоторые из предметов, которыми они оперировали (пешки, некоторые фрукты), что не играло никакой роли для решения задачи. Вспомним, кстати, что и взрослые с их сложившимся понятийным и речемоторным аппаратом успешно оперируют массой предметов и деталей, названия которых остаются неизвестными, возможно, до конца жизни. Повседневные наблюдения, доступные любым родителям, показывают, что ребенок в раннем возрасте (около года) уже вполне удовлетворительно отличает обычные для него продукты питания от лакомств (особенно полюбившийся сок и т.п.), причем связывает лакомство с внешним видом посуды, в которой оно ему обычно предлагается. Складывается впечатление, что и вербальный знак лакомства усваивается в раннем возрасте успешно. Иначе обстоит дело с «нейтральным» раздражителем и его вербальным обозначением.

¹ Считают, что операция группировки предполагает дифференциацию и обобщение признаков вообще, и что различение предметов по форме и цвету происходит гораздо раньше. По данным Н.И. Касаткиной [1948], уже к концу 4-го месяца жизни младенцы могут научиться дифференцировать некоторые цвета, а форма предмета может быть дифференцирована уже в возрасте 3 месяцев (по данным из работы [Запорожец и др.: 123-125]). Авторы указывают: «В период от двух до шести месяцев... можно констатировать узнавание матери и своей бутылочки, отличие своих людей от чужих» [Жинкин 1964: 118]. Возможно, что узнавание осуществляется с помощью обоняния, т.к. в сельской местности матери, по совету стариков, оставляют на ночь в кровати ребенка одежду, в которой производится кормление, «чтобы дитя чуяло мать и не плакало». Думается, что первыми должны усваиваться биологические показатели, знаки жизненно важных функций предмета. Развитие способностей к группировке предметов с «нейтральными» признаками зависит от степени развитости моторных умений, появляющихся позднее сенсорных. Представляется, что проба незнакомого предмета «на вкус», характерная для младенцев, подтверждает положение о первичности различения биологически важных показателей, в частности, показате-
«съедобности – несъедобности».

В 1970-1971 гг. нами были проведены наблюдения, а позднее и экспериментальные исследования, насколько сходные по содержанию, методике и выводам с теми, что описаны в одной из последних работ М.М. Кольцовой, что сейчас целесообразнее просто сослаться на последние, не повторяя уже опубликованных результатов [Кольцова 1973; Леонтьев, Тихомиров 1963]. Хотелось бы только изложить следующее дополнение в форме тезисов.

1. На стадии развития сенсорной речи (понимания), как и на последующей стадии развития моторной речи, дети до 3 лет выполняют словесную инструкцию, включающую словесный компонент (условный раздражитель) в условиях выбора одного из обозначенных предметов явно избирательно. В одних случаях они оказывают предпочтение одному из предметов (кукла, книга, коробочка и т.п.), подчиняясь принципу «экономии усилий» (берут тот предмет, который легче достать), в других случаях – по субъективным признакам привлекательности.

2. В связи с вышеизложенным в п. 1 следует, видимо, отметить тот наблюдавшийся нами факт, что невыполнение словесной инструкции или замедленная реакция на уже закрепленную условнорефлекторную связь вовсе не всегда свидетельствует о непонимании слова-раздражителя: в ряде случаев «ошибка» или отказ от выполнения действий субъективно мотивированы.

3. Тот факт, что ребенок в возрасте 1,5-3 года не просто понимает словесный сигнал, но и вариативно реагирует на него, свидетельствует о раннем развитии способностей к тонкому различению признаков – при зачаточной или плохо развитой вербальной моторике. Представляется, что соответствующие подтверждения можно найти в ряде работ последнего десятилетия [Денисова 1962; Лях 1968].

4. В общем случае успешность выполнения словесной инструкции не только зависит от количества различных условнорефлекторных связей «слово» – «действие с предметом»; успешность выполнения сама по себе является положительным подкрепляющим фактором. При развитой вербальной моторике ребенок склонен инициативно производить стереотипные действия, воспроизводя словесную инструкцию. Данная стадия отличается появлением и заметным развитием речи; интенсивнее и успешнее речь развивается позднее – от 2 до 7, хотя К.И. Чуковский в своей прекрасной книге называет более короткий период – от 2 до 5 лет. Мы бы хотели подчеркнуть, что на первой стадии особенно заметно развивается способность к рецепции речи и к подражательным продукциям, и поэтому предложили бы назвать данную стадию преимущественно рецептивно-репродуктивной (с точки зрения развития речи). Слова С.Я. Маршака о том, что «... ребенок усваивает всю речевую премудрость – по край-

ней мере настолько, чтобы довольно бегло и правильно говорить, – к двум годам» [Маршак 1961: 18-19], вряд ли отражают действительное положение вещей; беглость и правильность речи в этом возрасте весьма относительны, активный словарный запас значительно беднее пассивного. Главное же заключается, по нашему мнению, в том, что дети почти не говорят вне ситуации, да и рецепция обращенной к ним речи успешно осуществляется также в типичной ситуации. Доказательством этому служит, например, тот факт, что, разговаривая по телефону, дети, как правило, не могут отвечать на хорошо знакомые им вопросы, выполнять просьбы, которые легко понимаются и выполняются ими в ситуации непосредственного общения.

В цитированной только что книге С.Я. Маршак высказывает весьма глубокую мысль, выражает суть процесса развития ребенка от рождения до двух лет: «Он изучает язык без посредства другого – знакомого языка, а наряду с этим приобретает множество самых важных и существенных сведений о мире» (разрядка моя – И.Г.) [Маршак 1961: 19].

Совершенно права, на наш взгляд, С.Н. Карпова в своем утверждении: «Объектом его (ребенка дошкольного возраста – И.Г.) ориентировки является не речевая действительность с ее словарным составом, а единое смысловое целое, событие, обозначенное в данном ему предложении» [Карпова 1967: 323]. Но, естественно, возникает вопрос о той информационной системе, которая позволяет ориентировку «без посредства языка», о котором пишет С.Я. Маршак. Ответом на вопрос является, по-видимому, доказательная гипотеза Анри Валлона, которая в общем виде может быть сформулирована его же словами: «Употребление языка предполагает «символическую функцию» (т.е. функцию значения), которая состоит в способности находить для объекта мысленное представление о нем и для этого представления – знак. Конечно, когда речь идет об усвоении уже сложившегося языка, то он кажется прямо вносимым извне... Однако только наличие специфической «символической функции» делает это возможным» (разрядка моя. – И.Г.) [Валлон 1956: 16]. По нашему мнению, возникновение и развитие «символической функции» – характерная черта рассматриваемой стадии онтогенеза.

2-я стадия. Наглядное (интуитивное) мышление. Возраст 3-7 лет. Ж. Пиаже считает, что на этой стадии, хотя происходит интериоризация действия в мысль, хотя и формируются представления, мышление осуществляется еще не как система операций (понимаемых как внутреннее действие), с помощью символов и знаков реальных предметных действий, а наглядно, с представлением конкретных образов. Если операция как внутреннее действие отличает-

ся сокращенностью (по сравнению с предметным действием), то для данной стадии характерно мысленное действие, развернутое и конкретно представимое во всех основных звеньях.

Однажды мы имели возможность описать результаты обследования части активного словаря трехлетних детей в плане семантическом [Горелов 1970], придя примерно к тем же выводам относительно качества усвоения значений активно используемых детьми слов: подражательно усваиваемая форма, дети не всегда постигают адекватное значение слова. Часть значений остается «пустой», другая часть неправомерно расширяется или сужается или интерпретируется вовсе произвольно. Часть активно употребляемых слов вообще не наделяется никаким значением. Все же значительная часть пассивного и активного словаря в соединении с ситуацией понимается и используется адекватно, а вне ситуации, по нашим грубым подсчетам, на 40% правильно. В то же время круг предметов, явлений, отдельных признаков, деталей связи между предметами существенно расширяется, некоторые причинно-следственные связи, временные и пространственные отношения познаются практически весьма успешно. Группировка знакомых предметов по функции производится безошибочно, производится группировка по вторичным признакам (форма, цвет, величина). Начинают формироваться способности к классификации, к образованию видовых и родовых понятий. Не могут ли все или некоторые из указанных интеллектуальных действий выполняться детьми, лишенными речи, например, глухонемыми?

«Слышащие дети 3 лет знали названия основных цветов, – пишет Ж.И. Шиф, – глухонемые дети трех лет этих названий не знали, но обе группы детей не отличались друг от друга по характеру обобщения цвета. Следовательно, обобщение выполнялось на основе воспринимаемого сходства, а не определялось речью» (разрядка моя – И.Г.) [Шиф 1962: 65].

Если уж на третьем-четвертом месяце жизни ребенок способен различать некоторые цвета [Касаткина 1951], а речь у него появляется значительно позже (названия цвета обычно фиксируются после 2 лет), то, следовательно, наличие в речи закрепленного за цветовой группой слова или отсутствие такого слова не имеет значения для практического опыта различения цветов.

Выдвигая гипотезу о том, что формирование возможностей сериации и классификации определяется уровнем владения речью (так как язык фиксирует аналитический подход к действительности и разделяет ее на классы), Ж. Пиаже в результате исследований должен был от этой гипотезы отказаться. Выяснилось, что «глухонемым удаются те же самые элементарные классификации, что и нормальным детям» [Пиаже, Инельдер 1963: 12], хотя более сложные клас-

сификации с применением разных критериев к одному и тому же набору глухонемым удаются позднее.

Основной вывод, к которому приходит Ж. Пиаже в этом вопросе, формулируется его словами следующим образом:

«Как бы значительна ни была роль языка в развитии логических структур, но не может рассматриваться даже у нормального ребенка в качестве основного фактора их формирования» (разрядка моя. – И.Г.) [Пиаже, Инельдер 1963: 13-14].

Соглашаясь, что «нельзя видеть в языке ведущий фактор развития психической деятельности» [Пиаже, Инельдер 1963: 445], А.Н. Леонтьев и О.К. Тихомиров все же подчеркивают недооценку фактора речи со стороны Ж. Пиаже и замечают, что «строение предметного действия (в системе предметных действий Пиаже видит истоки интеллектуальной деятельности – И.Г.) создается не только активностью самого ребенка, но и деятельностью окружающих его взрослых людей, которые еще до того, как ребенок в совершенстве овладел активной речью, направляют, регулируют его деятельность» [Пиаже, Инельдер 1963: 445]. Но дело в том, что, во-первых, система побуждений и запретов может проявляться отнюдь не только в речевой деятельности взрослых. Жители о. Бали, например, обучают своих детей без помощи языка: «Иногда обучение бывает зрительным, но вербальным – никогда. Балинезийцы совершенно не в состоянии обучать кого-либо вербально» [Развитие ребенка 1969: 171]. Во-вторых, система запретов и побуждений, выраженная средствами языка взрослых, функционирует в составе ситуации общения с ребенком в общем не через речь, а зрительно, осязательно и т.п. Не речь взрослого сама по себе объясняет реальность, тот или иной элемент ее, на который в момент общения направлено внимание, становится дешифратом смысла сказанного.

Предлагаем рассмотреть табл. 1, составленную на основании известных литературных источников и наших собственных данных (наблюдения и эксперименты).

Предварительно отметим только, что на следующей стадии (3-я стадия, по Пиаже, охватывает период с 7-8 до 11-12 лет) дети легче решают задачу не предметах, но допускают ошибки, если та же задача дана вербально. Только на четвертой стадии (в возрасте 11-12 – 14-15 лет) Пиаже отмечает возможность формальных операций с предложениями или высказываниями в тесной связи с мыслимым содержанием, составляющим уже единое структурное целое. Мы, однако, склонны предположить, что решительно на всех уровнях онтогенеза и в любом акте речевой деятельности система внутрен-

них действий реализуется авербально¹.

Таблица 1

Возраст	Уровень деятельности	Рецепция речи	Активная речь
Эмбрио-ногенез	Безусловные рефлексы. Возможные условные реакции		
1-2 недели	Безусловные рефлексы. Возможные условные реакции	Положительная реакция на интонацию	Начало гуления
К 3 нед.	Нестойкие фиксации зрачка. Условные реакции	Реакция на колыбельную песню	Гуление
К 4 нед.	Стойкие фиксации зрачка. Условные реакции	Реакция на интонацию	Интонированное гуление
К 2 мес.	Узнавание матери и бутылочки	Реакция на голоса знакомых	Интонационные эхолалии
К 5 мес.	Стойкое различие цвета и формы. Условные реакции со всех афферентных систем. Произвольное адекватное хватание	«Ожидание» обращения Опережающие реакции на интонацию	Некоторые сллабические фонации
К 6 мес.	Разнообразные манипуляции с игрушками. Узнавание всех знакомых. Адекватные эмоциональные реакции	Нестойкие реакции на имя	Лепет. «Императивные фонации».
К 7-8 мес.	Активное различие игрушек. Сочетание игрушек. Познание функции предметов («катание», «нанизывание»)	Понимание некоторых просьб («Дай ручку!»). Стойкие реакции на свое имя и имена матери и некоторых знакомых	Лепет. Силлабические эхолалии

¹ Существуют весьма убедительные экспериментальные данные, свидетельствующие в пользу той точки зрения, что «приобретение языка не должно рассматриваться как отбрасывание лежащей в его основе перцептуальной системы, которая... продолжает управлять нашими решениями и поведением», как пишет У. Рейтман [1968: 327], ссылаясь, в частности, на работы Р. Сперри. Об экспериментах последнего [после перерезки мозолистого тела головного мозга изолированные друг от друга доминантное (связанное с речью) и субдоминантное полушария продолжали работать автономно] А.Р. Лурия писал: «Интерес этих наблюдений для научной психологии настолько велик, что требуется специальное пристальное изучение», прежде чем можно было бы сделать надежные выводы [Лурия 1967: 54]. У. Рейтман пишет: «Информационные процессы человека основаны на восприятиях... Всякий, кто наблюдал, как еще не научившийся говорить ребенок действует в окружающей его среде, убеждался в силе этих бессловесных информационных процессов... В конечном счете восприятия должны кодироваться на каком-то внутреннем языке... При этом вовсе не обязательно предполагается соответствие между структурой этого внутреннего языка восприятий и словесным языком» [Рейтман 1968: 328]. Как видим, Рейтман весьма близок к трактовкам проблемы в духе работ Л.С. Выготского и Н.И. Жинкина.

К 1 году	Инвариантность свойств предметов. Различение по функциональным признакам в отвлечении от других. Игра («Прятки»)	Адекватное понимание 60 слов в различных простых предложениях в ситуации	Самостоятельное употребление 26 слов-предложений. Воспроизведение 45 слов-предложений. С усвоенным знач. – 28
Ко 2-му году	Группировка по функции. Выполнение по образцу задач на действие со знакомыми предметами. Аналогия. Обучение сложным играм. Рисование (линии, кружочки)	Адекватное понимание различных простых предложений на базе 470 слов в ситуации. Понимание «ошибок» при слушании сказки (ранее известный текст считается истинным)	Первые предложения. Формальное воспроизведение 310 слов. С усвоенным значением – 158
К 3-му году	Группировка предметов по вторичным признакам (цвет, форма). Некоторые сериации и классификации. Планирование последовательных действий. Сложная игра. Рисование предметов	Адекватное понимание распространенных простых предложений на базе 815 слов. Вне ситуации – около 50%	Предложения простые и 3-членные с 805 словами. С усвоенным значениям – 610. Вне ситуации – около 400
К 4-му году	Умение обучать других. Первые трудовые навыки. Готовность всех основных операций	Адекватное понимание распространенных и сложносочиненных предложений на базе 1730 слов. Вне ситуации – 70%	Предложения сложносочиненные с 1160 словами. С усвоенным значением – 970. Вне ситуации – 800
К 5-7 годам	Возможность школьного обучения, обучаемость интеллектуальным играм. Трудовые умения и навыки	Адекватное понимание сложных с причинно-следственной связью предложений на базе 2650 слов. Вне ситуации – 70%	Предложения сложноподчиненные с 2000 слов. С усвоенным знач. – 1280. Вне ситуации – 1000

Мы предпочли ввести показатели: а) по рецептивной и активной части словаря; б) качества усвоения слов через количество (в процентах) формально усвоенных и усвоенных содержательно; в) речевых умений, связанных с ситуацией и с ней не связанных; г) способностей к рисованию, к группировкам, к самообучению и «обучению других» (побудительные действия). Предлагается раздельное – по интеллектуальному и речевому уровням – обозначение стадий онтогенеза:

Интеллектуальные стадии	Речевые стадии
1. Узнавание и первые дифференциации (3-6 мес.).	1. Лепет и первые реакции на собственное имя и имя матери (5-7 мес.).
2. Первые направленные предметные действия (7-8 мес.).	2. Первые слова-предложения (9-12 мес.).
3. Различение предметов по функциям (9-12 мес.).	3. Первые предложения (к 2 годам).
4. Группировка по функциям, действие по образцу, «беспредметное рисование», игра (самообучение и элементы обучения других) (к 2 годам).	4. Первые возможности понимания чужой и употребления собственной речи вне ситуации (к 3 годам).
5. Группировка по вторичным признакам. Предметные рисунки. Усложненная игра с активным обучением других.	5. Беглая речь, словотворчество (к 4 годам).
6. Готовность всех основных операций, первые трудовые навыки, интеллектуальные игры (4-7 лет).	6. Сознательное отношение к правилам языка, исправление ошибок в речи других. Качественный скачок в сфере полисемии слова (к 7 годам).

При всей схематичности данных характеристик можно все же судить о том, что развитие языковой и интеллектуальной способностей проходит несинхронизированно, с явным опережением интеллектуальной относительно речевой.

Кратко остановимся на изобразительной деятельности (рисование) ребенка. Как известно, «рисование» в раннем онтогенезе возникает как подражательная моторика с применением соответствующих предметов. Когда ребенок замечает первые результаты (след карандаша на бумаге) собственной деятельности и сличает их с результатами изобразительной (понимаемой им адекватно) деятельности взрослого, он заряжается стремлением «сделать так же», отчего рисование довольно быстро вычленяется из других игр, фиксирует внимание ребенка полностью. Положительное подкрепление (реакция взрослых и собственные впечатления) приводят к прогрессивному развитию изображения, к действительному отражению элементов реальности. Рисунок становится знаком действительности, сначала весьма субъективным, затем символическим и – одновременно – «пиктографическим». Ребенок стремится быстрее пройти стадию «головоногих» (по Выготскому), хорошо усваивает суть коррективного вмешательства взрослых. Представляется, что эта линия развития – от произвольной моторики к фиксации элемента объективной реальности – напоминает линию развития речи: нечленораздельные фонации уступают место подкрепляемым извне звукосочетаниям сигнального характера.

Мнение о том, что «решающую роль в развитии изобразительности рисунка играет усвоение речи» [Сакулина 1965 : 175], опровергается огромным фактическим материалом [Венгер 1967; Ершова 1958; Соколянский 1959; Ярмоленко 1961].

Ж. Вандриес утверждал, что «неграмотному крестьянину нужно для общения 300 слов» [Вандриес 1935 : 180]. Таков (количественно) словарь ребенка между 2 и 3 годами, как мы видели в таблице. Но отсюда не следует, конечно, равенства интеллектуальных уровней взрослого и ребенка.

В 1953-1955 гг. мы составили словарь неграмотной 72-летней крестьянки. Он насчитывал 860 единиц, включая пословицы, поговорки и многочисленные термины из области шорного дела, а также названий растений, особенно популярных в народной медицине. На долю повседневной коммуникации оставалось не более 500 единиц. Сравним интеллектуальные возможности старой женщины и ее 5-летнего внука на примере сопоставления пересказов текста для школьников младших классов («Орел и раковина»). Он насчитывает 136 слов.

После чтения образца (дважды, в замедленном темпе) было разъяснено значение слова «раковина» с помощью иллюстраций и словесного описания. Объяснено и значение слова «створки». В активном словаре старшей испытуемой не было восьми слов. Тем не менее, оба испытуемых оценили текст как вполне понятный. Затем последовали пересказы, тексты которых записаны нами совершенно точно.

Пересказ 1-й (испытуемой 72 года)

Дело так, значит, было. Не помню где, у воды, у самой, значит, была эта, как сказали, а я забыла. (Подсказка). Раковина, да. Тута был и коршун, чи как его? Ну, ладно. Ну, он как живет? Ест, значит, живность, рыбу, чи еще что. Рыбы в тот раз не было, а была эта самая (я все забываю!). Ну, да, она. Увидал ее, значит, коршун и – к ней. Ага... Было у нее такое (жест ладонями) – хочет раскроется, хочет нет. Может и зачинить. Коршун, значит, туда, а она его – (жест). Ни туда, ни сюда тому коршуну. Не мог он, хначит себя ослобонить. А тут вода поднялась. Коршун в воде не жилец. Издохнул он в воде. А она себе живет. (Всего 111 слов).

Пересказ 2-й (испытуемому 5 лет)

Большая ракушка сидела на песочке. Большая ракушка раскрывала свои ... эти... (подсказка) да, створки. Она сидела и сморит на море... А какие глазки у ракушки? Нет глазок? А

как же она тогда смотрела? Просто лежала?.. Ладно, пусть лежит... Лежит она и лежит. А на большой горе было гнездо. В гнезде жил орел с детками. Орел – царь птиц. Он самый сильный и храбрый. Он всех птиц может победить... А царя зверей – тоже? Нет? Ну ладно... Орел захотел съесть большую ракушку... А ее едят разве? Она вкусная? А вы ели? Ладно буду дальше рассказывать. А я дальше забыл... (Подсказка). Орел увидел большую ракушку и говорит: «Сейчас я тебя съем!». А большая ракушка говорит: «Нет, не съешь, я тебя за лапы схвачу!» А орел говорит: «Я тебя не боюсь, я царь всех птиц!» Как бросился он на ракушку, как схватил, как съел ее всю!.. Нет, он не поел... Она ему лапы прищемила. Тогда он вырвался и улетел...

Пересказ ребенка содержит 152 слова. Из них не относится к пересказу 102 (включая передачу собственной версии сюжета). Словарь ребенка, как легко убедиться, гораздо богаче, чем у его бабушки, конструкции более сложные и правильные. Но сюжет не был передан в пересказе. Если «лишняя» лексика у взрослой испытуемой свидетельствовала о гезитации, то у ребенка она появлялась в связи с посторонними ассоциациями, в связи с отклонениями от сюжета. Ребенок построил, по существу, новый сюжет.

Как видим, объем словаря и степень сложности конструкций не зависят от уровня логического мышления, от жизненного опыта. Интересным оказывается и тот факт, что представление об орле, как о «царе птиц» сыграло, по-видимому, не последнюю роль в возможном преобразовании ребенком сюжета в более «благополучный» для орла. Поскольку это представление не было выведено из личного опыта ребенка, а укрепилось исключительно на базе чужих, воспринятых, высказываний, то в данном случае мы, видимо, имеем дело с проявлением «стереотипов сознания», которые внесены извне «речевыми стереотипами» и сохраняются, пока непосредственный опыт, содержательно иной, не вступит с ними в конфликт. Воспользовавшись методикой, предложенной Б.А. Грушиным [1967], мы провели анкетный опрос учащихся 8-10 классов, чтобы выяснить, насколько адекватно условен ими словарь (небольшая часть словаря, 30 единиц) «общественно-политического» слоя. Поскольку принципиально наши результаты не отличаются от результатов Б.А. Грушина, описание экспериментов не является необходимостью. Можно только указать, что они более утешительны: если у Б.А. Грушина правильно истолковали слово «частник» только 4% испытуемых, то у нас – 20%. Но общий вывод остается без изменений: воспринимая то или иное слово с ясно обозначенной (в контексте) стилистической

и содержательной маркировкой типа «плохой» или «хороший», носитель языка, даже в зрелом возрасте, не говоря уже о подростке, воспринимает в дальнейшем это слово, а также употребляет его с тем же самым индексом, часто уже в другом контексте.

В заключение раздела, перед тем как сформулировать выводы, приведем ряд выдержек из работ, имеющих прямое отношение к рассмотренному вопросу [Экспериментальная психология 1963]. Эти работы Дж. Миллера, Ликлайдера, Липера, Хофланда, Моргана и др. отличаются, на наш взгляд, глубиной и доказательностью, надежностью экспериментальных данных.

1. При классификации кубиков по вторичным признакам (цвет, форма, величина и пр.) испытуемые «чувственного типа», «проявили успеваемость, почти в два раза большую, чем испытуемые, применявшие абстрактные или вербальные приемы» [Там же: 292].

2. «Ребенок может научиться правильно говорить, что у него есть «красный вагон»... но он еще не обладает понятием «красного» [Там же: 286]. (Здесь Р. Липер, говоря о детях 3-4 лет, оспаривает возможность правильного применения – во всех случаях – слова «красный», не имея в виду отсутствие способности отличать данный цвет).

3. «Почти отсутствует связь между способностью слушать и понимать, временем удержания в памяти и способностью разговаривать» [Там же: 673].

4. «...В этой области (области вербального научения. – И.Г.) остается много неясного, в особенности в отношении основных процессов символизации и функции языка» [Там же: 131].

5. «Роль вербализации в процессе мышления остается еще не разрешенной проблемой психологии. По этому вопросу высказываются самые разнообразные мнения, начиная с Уотсона, утверждавшего, что мышление есть лишь скрытое движение речевых мышц, и кончая Верттеймером, изложившим свой тонкий анализ продуктивного мышления, «почти не затрагивая его вербальных аспектов» [Там же: 366].

Из изложенного следует:

1. Поскольку количество различных предметов (явлений) и их свойств, познанных ребенком, и количество различных действий с ними превышает количество однозначных вначале наименований для этих предметов и действий, можно утверждать, что различение предметов, свойств их действий производится до овладения ребенком знаками языка. Качество предметных действий и их оценка ребенком (по цели и по достигаемому результату) выше качества владения языковой системой в речи ребенка.

2. Наблюдаются многочисленные случаи формального владения речью, при котором ребенок подражательно оперирует словами и

словосочетаниями – с «пустыми», неадекватными и приблизительно усвоенными значениями. Это же явление наблюдается и в речи взрослых. Оно объясняется стихийным характером овладения речью. В таких случаях овладение формой речи опережает овладение содержанием.

3. Полноценное владение речью предполагает адекватное усвоение и порождение речи в единстве формы и содержания, означающего и означаемого. Однако поведение и умственная деятельность человека в онтогенезе, особенно в раннем, развивается через собственное практическое познание реальности, а речевая деятельность – почти исключительно – через усвоение готовых образцов, изменять которые человек практически не властен. Коррекция поведения и коррекция речи, производимые со стороны, осуществляются раздельно, причем нормативное поведение, особенно до начала систематического школьного обучения, представляется социально более значимым, чем нормативная речь. Весьма часто речевые умения и в дальнейшем остаются менее развитыми, чем интеллектуальные. По указанным причинам в распоряжении нормального (в интеллектуальном аспекте) человека готовое содержание (мысль), но может не быть готового средства ее выражения (знака языка). В случае необходимости, отсутствие этих средств может быть компенсировано и компенсируется паралингвистическими средствами. Владение же одними средствами выражения субъективно и объективно не имеет смысла, а поэтому к незнакомому или не вполне усвоенному знаку языка человек всегда старается привязать готовое содержание. Но содержание конструируется с помощью интеллекта. Отсюда:

4. Сигнализация о некотором содержании и потребность в такой сигнализации, как правило, не могут появиться раньше самого содержания. Следовательно, интеллект порождает речь, а не речь интеллект.

5. Умственные действия, включая и обучение языку, должны осуществляться на базе доязыковой информативной системы.

6. Наличие первосигнальной системы не обеспечивает первосигнальных действий. На уровне животного нейтральный раздражитель становится сигналом лишь в том случае, если он представляет биологически важный стимул. На уровне человека исследовательский рефлекс с самого начала более развит, чем у животного, как и подражательные возможности. Когда говорят о том, что закрепление связи «слово-предмет» или «слово-действие» осуществляется по обычной условнорефлекторной схеме, то забывают добавить, что, в отличие от условного рефлекса животного, у человека эта схема проявляется очень рано на новом качественно уровне: «нейтральный раздражитель» (слово) – «нейтральный раздражитель» (предмет). Для того, чтобы ребенок связал в своем сознании слово «тик-так» с

образом часов и повернул голову в сторону реального предмета, нет необходимости в пищевом подкреплении. Это значит, что ребенком наследуются возможности, обеспечивающие образование связей между биологически несущественными элементами реальности. Именно в этом следует видеть «специфически человеческие свойства».

7. Доязыковая информативная система работает, следовательно, таким образом, что элементы, попадающие в сферу перцептивной деятельности, дифференцируются и обобщаются, превращаясь в значимые, независимо от их биологической ценности и независимо от второсигнальной системы номинации, до ее образования.

8. Указанная система занимает, по-видимому, промежуточный уровень между первосигнальной и второсигнальными системами.

Раздел 3. Некоторые данные филогенеза и онтогенеза в связи с теорией происхождения языка и становлением речевой деятельности индивида

Главное, что отличает процессы возникновения языка и становление речи индивида, заключается, по-видимому, в том, что в первом случае индивид (коллектив индивидов через своих членов) становится перед необходимостью изобретения средства выражения сконструированного в его мозгу содержания, а в онтогенезе речевой деятельности, рассмотренном в предыдущем разделе, индивид получает уже готовый знак языка. Однако в том и другом случае, как мы предполагаем, имеет место общий компонент – конструирование некоторого содержания, которое под влиянием потребности общения становится предметом обозначения во внешнем речевом акте звуковой речевой деятельности. Общность эта относительна, поскольку давно известный тезис Э. Геккеля «онтогенез повторяет филогенез» не может быть принят буквально. Через сопоставление онто- и филогенетических данных мы и попытаемся создать более или менее удовлетворительные основания для интерпретации наблюдаемых фактов и для гипотез относительно наблюдаемого.

По мнению известных английских биологов, «главный вывод, который следует из экспериментов последних 25 лет, состоит в том, что обезьяны обладают, хотя и в меньшей степени, чем человек, способностью улавливать общий характер задачи, которая ставится с целью определения умственных способностей в так называемых «тестах на концептуальное мышление»... Подобные тесты не выявляют какой-либо пропасти в интеллекте между обезьяной и человеком [Харрисон и др. 1968: 79].

По сути дела, этот вывод только подтверждает правильность суждения Ф. Энгельса, ставшего известным около ста лет назад: «Нам общи с животными все виды рассудочной деятельности» [Маркс, Энгельс Т.20: 178]. А поскольку «зачатки интеллекта, т.е. мышления

в собственном смысле слова¹, появляются у животных независимо от развития речи и вовсе не связаны с ее успехами», Л.С. Выготский [1934] приходит к выводу о различных генетических корнях интеллекта и языковой способности.

Попытки установить факт наличия или отсутствия речи по следам внутренней полости черепной коробки ископаемых предков или по наличию или отсутствию так называемой «подбородочной оси» на нижней челюсти (связываемой обычно с артикуляторными возможностями) по существу не увенчались успехом. С одной стороны, как известно, способность к артикуляции, даже человеческого типа, может быть развита у некоторых типов птиц (попугаев, обучаемых речевым стереотипам, успешно соотносимым ими с ситуацией). С другой стороны, отсутствие развитых «речевых» участков мозга первобытных людей констатируется наряду с социальной организацией и умением изготавливать орудия труда. Последнее, как известно, считается признаком именно человеческого² уровня, причем этот уровень связывается с представителями ашельской культуры, не говоря уже о синантропах, которые «регулярно пользовались огнем, изготавливали грубые каменные и костяные орудия». Под вопросом до сих пор возможность использования огня питекантропом [Неструх 1970].

Поэтому представляется правильным так интерпретировать известное положение Ф. Энгельса, чтобы подчеркнуть содержащееся в нем указание на последовательность формирования специфически

¹ Не имея возможности здесь останавливаться на сопоставлении упомянутых «зачатков интеллекта» с уровнем интеллекта ребенка, приведем некоторые данные, которые могли бы лечь в основу такого сопоставления. В. Детьер и Э. Стеллар [1968: 127-128] пишут о результатах экспериментов с обезьянами: «В первом испытании (речь идет об обучении различению предметов, отличающихся друг от друга физическими свойствами. — И.Г.) животное может сделать правильную реакцию только случайно, в 50% случаев. Если оно «угадывает» правильно в первом испытании, оно будет делать правильный выбор и в остальных пробах и игнорировать ненужный предмет» Д.Б. Эльконин, ссылаясь на работы П.Я. Гальперина [1971], пишет: «В среднем около 4 лет дети полностью овладевают основными операциями... На первой стадии дети непрерывно повторяют с небольшими вариациями однотипные и малоэффективные действия» Лишь на второй стадии (3 года) «впервые обнаруживается мышление» (речь идет о задаче доставания игрушки из ящика с помощью изогнутой лопатки. — И.Г.) [Эльконин 1960: 126]. Заметим, кстати, что мы не можем согласиться с утверждением, что мышление впервые обнаруживается на указанной стадии, т.е. позднее появления собственной речи ребенка и гораздо позже понимания им чужой речи в ситуации.

² Высказано, на наш взгляд, более чем парадоксальное мнение о том, что «быть может, историю человечества следует начинать не с появления первого каменного орудия или первого глиняного горшка, а с того времени, когда сношения между человеческими группами стало регулярным явлением» [Абаев 1970: 242].

человеческого уровня: «сначала труд, а затем и вместе с ним язык» [Маркс, Энгельс Т.20: 490]¹.

Проф. В.В. Бунак, комментируя мнение английских биологов о том, что невозможно установить, были ли ископаемые гоминиды наделены речью, пишет: «Обсуждению подлежит вопрос не о том, были ли наделены ископаемые гоминиды речью, а о том, какой стадии развития роевой функции и интеллекта (эти характеристики тесно связаны между собой) достигли гоминиды того или другого периода» [Харрисон и др 1968: 88]. Как видим, здесь хотя и связывается, причем «тесно», уровень развития речи и уровень развития интеллекта, указывается, однако, на стадиальность в развитии того и другого. Но эту стадиальность категорически отрицает А.А. Реформатский, когда пишет: «Факты языка в разной мере с самого начала должны обладать всеми функциями настоящего языка» [Реформатский 1967: 472]² (выделено мной. — И.Г.). Характеризуя далее все функции современного развитого языка, А.А. Реформатский считает, что «без этого язык не «язык»» и, наконец, что «язык появился как звуковой язык» [Там же].

Мы полагаем, что логическое и понятийное мышление могло зародиться и развиваться лишь в условиях относительно развитой общественной производственной и познавательной деятельности, и любой язык несет на себе печать дологического и допонятийного уровня интеллекта. Видимо, прав акад. А. Колмогоров, когда пишет, что «мало учитывается... тот факт, что язык возник значительно раньше формально-логического мышления... До настоящего, формально-логического, мышления мысли возникали не формализованные в понятия, а как ... попытки непосредственно зафиксировать проходящий перед нашим сознанием поток образов» [Колмогоров 1968: 129] (выделено мной. — И.Г.). Хорошо известно, что структуры типа логических суждений не совпадают со структурными типами высказываний на национальных языках. В сущности, если бы они совпадали, логике как науке не пришлось бы вырабатывать свой собственный язык. Случайные аналогии, омонимия и вызванная разнообразнейшими причинами полисемия — все это, поддержанное разнонаправленными традициями, объясняет исключительные трудности, с которыми сталкиваются исследователи, занятые проблема-

¹ В том, что изготовление орудий животными должно связываться с интеллектуальным уровнем, сомневаться еще возможно, но нельзя сомневаться в том, что Ф. Энгельс связывал человеческий труд с наличием человеческого уровня интеллекта.

² Существует, однако, и другое мнение: «Как в филогенезе, так и онтогенезе, речь выступает вначале как средство общения, а также обозначения, а в дальнейшем приобретает свойство орудия, с помощью которого человек мыслит и выражает свои мысли.» Эти слова, принадлежащие С.Я. Рубинштейну [1970: 106], удачно, на наш взгляд, подчеркивают идею развития как интеллекта, так и речи.

ми соотношения логического и «собственно языкового» [Мышление и язык 1957; Язык и мышление 1967; Логико-грамматические... 1961; Панфилов 1963, 1971]. Еще Сократ в споре с Кратилом предложил «отказаться от мнения о том, будто достаточно знать слова, чтобы понимать вещи», ибо «если кто-нибудь, исследуя вещи, опирается на их названия, то он рискует впасть в заблуждение» [Пизани 1956: 16].

Современный человек с бедным словарем и плохими навыками словесного выражения заменяет недостающее ему слово жестом, мимическими средствами, стремится максимально использовать наличные элементы данной ситуации, помогающие раскрыть то, что он хочет сообщить. Круг потребностей современного человека, какую бы цивилизацию он ни представлял, как бы мал ни был его образовательный ценз, неизмеримо шире круга потребностей нашего далекого предка в период становления языка и совместной орудийной деятельности. Прежде всего, жест – указательный и описательный – (от которого мы до сих пор не можем избавиться и который даже пытаемся сделать совершенным и выразительным!) мог быть знаком, сигналом, адресованным тому, кто ближе всего, мог визуальнo точно воспринять и понять сигнал¹.

Коллективная деятельность в первобытном сообществе была совместной в буквальном смысле слова. Звуковой сигнал, конечно, имел свои преимущества при дистантном расположении участников

¹ Существует, как известно, весьма обширная литература по исследуемому вопросу, но, пожалуй, только Н.Я. Марр высказался с полной категоричностью в пользу теории первичности языка жестов. Соглашаясь с рядом положений работы Д.И. Рамишвили [Горелов 1967], отметим, что характеризующие в ней исследования Вундта и Ревеша предполагают не первичность языка жестов, а комплексный тип первобытного языка. Но нельзя согласиться с утверждением, что «язык жестов не может выразить даже такие простые, но не носящие конкретный характер, содержания, которые обозначаются словами «пока», «только», «кроме», «еще», «когда» и т.п. [Рамишвили 1956: 41]. Н.Н. Миклухо-Маклай приводит весьма любопытное свидетельство в пользу возможности выражения мимическими средствами довольно сложных пространственных, временных и причинно-следственных отношений. Д.И. Рамишвили, как и многие другие, хочет показать невозможность жестовой семантизации изолированных слов. Но жест отражает целостный элемент ситуации, выражает сообщение. Соотношение между элементами жестового комплекса или сама последовательность жестов может отразить абстрактные понятия отношения.

И.А. Соколянский пишет: «Жест – это схематический рисуночный сигнал образа предмета, имеющегося в голове ребенка... является аналогом слова. В практике обучения слепоглухонемых не представляет труда заменить жест дактильными словами» [Соколянский 1959: 58].

Методист Макс Вальтер, один из известнейших в прошлом веке представитель «натурального метода» обучения иностранным языкам, демонстрировал в своей школе (Франкфурт-на-Майне) весьма широкие возможности семантизации сложных сообщений через пантомиму. Не следует, видимо, забывать и об искусстве пантомимы. Вряд ли можно сомневаться в «информативности» пантомимы Марселя Марсо.

общения. Но он не мог быть таким же «членораздельным» и точным, разнообразным и общепонятным, как жест, учитывая большую разработанность моторики рук и тела по сравнению с артикуляцией. Мало вероятно, что от человекообразных обезьян человек не унаследовал визуально воспринимаемую систему сигнализации. Вероятнее всего, она составляла единое целое со звуковыми сигналами эмоциональных состояний и побуждений. Именно «сигналами», ибо выражение состояния, например, тревоги является одновременно сигналом опасности для воспринимающих выражения состояния.

Возражающие против «междометной теории» происхождения языка указывают на незначительную роль междометия в современном языке, считают, что междометия не являются понятийными обозначениями. При этом забывают, во-первых, что первобытный язык не мог не отличаться от современного. Не учитывается, во-вторых, тот факт, что самые различные междометия, особенно звукоподражания, до сих пор в современном немецком языке и других языках индоевропейской семьи в целом являются базой, на которой весьма продуктивно развивается словообразование, что было, в частности, хорошо показано в дипломной работе «Роль звукоподражания в современном словообразовании немецкого языка», выполненной в 1973 г. Т.А. Усенюк (Магнитогорский пединститут). Исходное звукоподражание «кап» (русский язык) лежит в основе цепочки «капать — капля — каплевидный», третье звено которой, как видим, представляет собой термин, т.е. звукоподражательная основа проникла даже в «нейтральную» терминологию.

В онтогенезе нечленораздельные эмоциональные фонации предшествуют лепету и, естественно, членораздельной речи, но набор сохраняющихся и самых разнообразных фонаций в речи взрослого чрезвычайно велик; лишь ничтожная часть их фиксируется более или менее успешно в тексте литературных произведений, а еще меньше, причем в «исправленном» и унифицированном виде — в словарях. По нашим подсчетам, междометий в текстах чеховских пьес «Медведь», «Предложение», «Трагик поневоле», «Свадьба» и «Юбилей» вместе взятых, в шесть раз меньше, чем в актерской речи в кинофильмах «Медведь» и «Свадьба»¹.

Почему, собственно, фонации одобрения, гнева, страха, досады, удовлетворения, сожаления и пр. не выполняет функцию языка (номинативную), если эта фонация выступает в реальной речи субститутом слова и вызывает адекватную реакцию? Почему, далее,

¹ Против традиционного подхода к оценке междометия в плане его синтаксической роли выступает весьма доказательно Н.Ю. Шведова [1957]. На стр. 94 автор пишет: «... вместе со знаменательными словами оно формирует предложение или сказуемое определенного типа».

надо считать, что «теория трудовых выкриков» Л. Нуаре неправильна только потому, что выкрики, будучи «только средством ритмизации труда... ничего не выражают, даже эмоций», что они «и некоммуникативны, и не номинативны» [Реформатский 1967: 468]. Если они ритмизируют процесс труда, то они уже выполняют социативную и волюнтаривную функции, а трудовые танцы и рефрены трудовых песен не оставляют сомнения в возможностях выполнения «трудовыми выкриками» и эмотивной функции. Наконец, соответствующие «трудовые выкрики» сигнализируют о том, как должно производиться действие, заменяя наречие образа действия.

Теория «общественного договора» критикуется, как правило, на том основании, что только с помощью готового языка можно «договориться о значении того или иного элемента языка». «Кроме того – отмечает А.А. Реформатский, – данная теория предполагает сознательность у человека до становления этой сознательности, развивающейся вместе с языком» [Реформатский: 468-469]. Но, во-первых, обучение иностранным языкам в системе «прямого метода» (начальная стадия), во-вторых, обучение речи страдающего афазией, в-третьих, стихийное обучение в условиях иноязычной среды, в-четвертых, обучение ребенка родному языку – все эти процессы иллюстрируются, как можно «договориться» о языке до того, как язык будет усвоен одной стороной. Простейшая схема этих процессов: указательный жест – объект – звуковое обозначение.

В.В. Бунак склонен считать, что «речь возникла на основе звуков, свойственных высшим антропоидам, но не аффективных криков, а аффективно-нейтральных жизненных шумов, сопровождавших обыденные акты поведения» [Бунак 1951: 271-272]. Поскольку далее автор говорит, что эти звуки издаются непреднамеренно, то их, очевидно, можно уподобить «стайному шуму», цель которого (объективно) в создании «эффекта присутствия».

Очень может быть, что фиксируемая приборами так называемая «латентная артикуляция» при решении авербальных задач [Соколов 1960, 1968] есть рудимент ауторитмичного стайного шума, что аутогенные колебания голосовых связок (ранее считалось, что они вызываются потоком воздуха, произвольно направляемого из легких) суть ауторитмы в сфере «речевой моторики» [Леонтьев 1961]. Вполне вероятно, что «аффективно-нейтральные звуки» закрепились в условиях ситуации в качестве знаков будущего языка. Но сам характер их произвольности исключает мотивацию порождения, игнорирует необходимость стимуляции в общении, потребность в коммуникации.

В то же время теории, рассмотренные выше, учитывают потребность в общении, учитывают сигнальную сторону фонаций или жеста.

По мнению В.В. Бунака, строение челюсти синантропа и питекантропа таково, что им «речевая функция могла быть доступна лишь в самых начальных формах, не связанных с частой сменой артикуляции» [Бунак 1951: 235]. Но прав и Г.В. Плеханов, утверждая, что «применение орудий, как бы они ни были несовершенны, предполагает огромное развитие умственных способностей» [1922: 138].

Мы считаем поэтому, что «сознательность», о которой пишет А.А. Реформатский, уже достигла высокого уровня (в понимании Г.В. Плеханова) к тому времени, когда разрешающие возможности артикуляционного аппарата были чрезвычайно малы (по сравнению с нынешними). Что касается оценки подражания («механический акт», «пассивный акт» и т.п. Кстати, почему «пассивный», если активно воспроизводится образец?), то на стадии слабо развитой челюсти естественно все же ожидать приспособления к готовому звуковому образцу, чем произнести что-то, совершенно новое. Во всяком случае, эхологическая продукция современных младенцев говорит о том, что звукоподражание – один из вполне вероятных источников возникновения языка. И.М. Сеченов говорит об этом с полной уверенностью [Сознание 1967: 265].

Если высокий уровень абстрактного мышления мог породить конвенциональный знак, никак не отражающий в своем физическом облике свойства объекта, то конкретно-наглядный интеллект мог породить и воспринять только мотивированный знак, вызывающий вполне конкретное представление, имитируя свойство объекта. Поэтому звукоподражательная теория возникновения языка, восходящая к Платону, св. Августину, Лейбницу, Гримму и Эспиру и ныне привлекающая к себе пристальное внимание большого числа лингвистов и психологов, вовсе не так «антинаучна», как ее себе представляют иногда.

Утверждают обычно, что «звукоподражать» можно только звучащим предметам, что звукоподражания чрезвычайно ограничены в своих возможностях номинации, что их мало в современных языках. Последний тезис можно даже не опровергать, так как нельзя измерять «праязык» мерками нынешнего, не обратившись к удельному весу звукоподражаний в речи ребенка, не исследовав действительное число звукоподражаний, обращающихся в речи. Но, если из англ. *zip* развился глагол *to zip*, а затем образовалось имя существительное *zipper* («застежка-молния»), то можно заключить, что обычная методика на звукоподражательной основе – один из способов выяснения вопроса, к которому мы вернемся в следующем разделе.

Считаем возможным прийти к выводу, что в филогенезе человека невозможно усмотреть синхронного развития интеллекта и речи. Теории происхождения языка, учитывающие его постепенное ста-

новление, следует считать адекватными, если не в полном объеме, то в основных положениях, не противоречащих друг другу и не претендующими на универсальность.

Раздел 4. О возможной примарной мотивированности языкового знака¹

Языковой знак будем считать примарно мотивированным, если его звуковой комплекс моделирует какой-то признак означаемого. «Тик-так» – мотивированный знак детского языка, вне зависимости от того, обозначается ли им класс часов или конкретные часы. Эффект подражания зависит от слуховых и артикуляционных способностей, а также от степени определенности, четкости образца, которому подражают. Например, мяуканье кошки и кряканье утки обозначено звукоподражательно, почти одинаково в разных языках, русской «бульк-бульк» и нивхское «пульх-пульх» также очень близки. Понятны также и расхождения в звукоподражаниях: язык имеет свои разрешающие возможности.

В одном опыте мы предложили пятерым дошкольникам прослушать рассказ В. Драгунского «Запах неба и махорочки», содержащий звукоподражания, возможно самим им придуманные: *глянц, брумс, брамс, трух, дзенц!, ббрыньзь!..* Дети при пересказе с особым удовольствием старались воспроизвести их, но, часто ошибались, заменяя своими: «*А потом грузчик брэмснул*», «*А летчик ругался, чтоб перестали брыньгать*».

Широко бытующие в детской речи звукоподражания, к сожалению, плохо исследованные, даже не собранные как следует, могли бы многое рассказать о закономерностях процесса номинации, которые могут быть общими в основе для филогенеза и онтогенеза [Долгопольский 1964; Сыромятников 1972]. Нам представляется очень интересной работа Е.Л. Галова-Гинзберга [1965], содержащая множество доказательств интересующего нас тезиса.

Мы полагаем, что существует особый вид номинации, при котором наблюдаются мотивированные движения органов артикуляции еще до соединения этих движений со звуком. Эти «номинации для себя», имитирующие, например, впечатления от чего-то вкусного, сладкого, горького и т.д., очень близки для носителей совершенно разных языков. Здесь кажется уместно вспомнить явление, названное А.Н. Леонтьевым «уподоблением»: органы рецепции производят в процессе перцепции действия, повторяющие, например, форму объекта (зрачок), пальцы, ощупывающие новый объект, повторяют изменение поверхности. Можно предположить, что и рот (как орган

¹ Раздел дополняет содержание нашего доклада под тем же названием [См.: Материалы семинара... 1969: 17-21].

осязательной рецепции в раннем онтогенезе) также участвует в реализации исследовательского рефлекса, демонстрируя «уподобление».

Таким образом прерывистое движение, мелькание, мерцание могут быть переданы артикуляционными движениями, напоминающими вибрацию, как рука передает такое движение резкими и короткими перемещениями кисти и пальцев в пространстве. Небольшой размер объекта номинации передается жестом, уменьшения расстояния между пальцами, а при фонации – повышением тона и уменьшением ротового или глоточного отверстия. Поэтому, видимо, звук «и» и высокотонное «у», немецкое умлатированное «у» оценивается носителями разных языков как «маленький звук».

Методологической основой подхода к проблеме является для нас положение из общей теории отражения, согласно которому познание есть движение от конкретного к абстрактному и затем к более высокой степени конкретного; результат отражения реальности определяется диалектическим единством объективного и субъективного. Отражение не есть копия объективного, но изображение элемента реальности не есть произвольный символ. Изображение воспроизводит некоторые существенные признаки изображаемого. Поэтому появились сначала рисунки и различные виды «рисунчатого» письма, а затем уже – много позднее – клинопись и другие виды конвенционального письма.

Экспериментальная проверка процесса номинации характеризуется принципиально общей для разных исследователей методикой¹, хотя толкование результатов зависит от разных концепций: испытуемым предлагается соотнести псевдослова (или слова языка, которыми они не владеют) с фигурами или рисунками. Оказывается, что даже в том случае, когда самим испытуемым выбор псевдослов и рисунков кажется случайным, на самом деле соотнесения закономерны (при достаточном числе испытуемых и предъявлений). Мы предприняли серию экспериментов на различном материале с привлечением различных испытуемых для каждого опыта.

1. В первом опыте предлагалось соотнести четыре пары псевдослов с четырьмя парами изображений фантастических животных. В этом опыте приняло участие в общей сложности свыше 600 человек, 100 из которых были читателями «Недели», где был помещен (по инициативе А.А. Леонтьева) соответствующий материал. Среди других 200 испытуемых были студенты, школьники, дети 3-7 лет, взрослые 32-68 лет обоего пола. Отдельно этот же опыт проводился

¹ Достаточно сравнить работы З. Фишера, Ч. Фокса, Р. Ирвина и Е. Ньюленда, Р. Дэвиса, Дж. Алепача, Дж. Инглиша, Вертхайма, а также Д.Н. Узнадзе. Подробнейшая библиография и обзор указанных работ содержится в докторской диссертации А.Г. Баиндурашвили [1968].

в группе носителей других языков, не владевших русским ни в какой мере¹. В каждой из названных групп (кроме читателей «Недели») опыт проводился очно. Результаты испытаний (очных и заочных) подсчитывались отдельно, но процент совпадений в выборе соответствий был настолько близким во всех опытах, что можно представить результаты в итоговой таблице для всех².

Пары псевдослов	Средний % совпадений
Мамлына – жаваруга	94
Плюк – лиар	89
Мурх – муора	84
Мануха – куздра	66

2. Другой опыт требовал от испытуемых соотнести три псевдослова, сконструированные совершенно отлично от русских словообразовательных моделей, с абстрактными рисунками. Опыт проводился очно с 60 испытуемыми обоего пола 72 испытуемыми. Все участники опыта владели русским как родным или несколькими слабее. Результаты опыта представлены вместе с рисунками в Приложении 1.

Псевдослова	Объект номинации	Средний % совпадений
Мого-бого-того	А	84
Муома-куома-луома	Б	76
Типи-рипи-липи	В	74

1. Интерпретировать предъявленные на слух наречия языка эве, характеризующие походку человека. Испытуемым (30 человек с родным русским или немецким языком, главным образом, в возрасте 9-24 года) предварительно сообщалось, что слова характеризуют именно походку. Результаты:

Наречия	Интерпретация	Средний % попаданий
Бохо-бохо	«тяжелая», «топанье»	94

¹ Этот опыт проводился при любезном содействии Е.М. Верещагина с помощью ст. преп. В.П. Князевой в научно-методическом центре русского языка при МГУ. Испытуемые – носители нескольких африканских, арабского, вьетнамского, монгольского, французского и др. языков (всего 18 испытуемых). Затем опыт повторен с башкирскими и татарскими детьми до 5 лет, не владевшими русским. Это обстоятельство, как и результаты опыта, снимают, видимо, возражения, изложенные В.М. Солнцевым на 129 стр. его монографии [1971]. Автор пишет здесь: «Если бы звукоряд «куздра» у детей, говорящих на разных языках, вызвал бы сходные представления, то ... опыт мог бы действительно свидетельствовать о какой-то мотивированной связи...».

² Описание опыта см. в Приложении 1.

Дзе-дзе	«пружинистая», «энергичная»	94
Пиа-пия	«семящая», «частая»	92
Кпо-кпо	«тихая», «осторожная»	61
Бехе-бхе	«шаркающая» или как 1	50/50

– что соответствует действительным значениям данных слов.

4. Интерпретировать глаголы «бумкнуть», «дзенькнуть», «блямкнуть», «тюкнуть», «дильдиликнуть» с помощью предметных действий и словесных описаний. Испытуемым (детям от 4 до 6 лет) предлагалось произвести звук с помощью набора предметов после того, как экспериментатор зачитал дважды список глаголов, которые дети повторили. Опыт проводился с каждым из 22 испытуемых отдельно (как и все предыдущие, проводившиеся очно в присутствии экспериментатора или им самим). Результаты:

Глаголы	Действия и соответствующие описания	%
«Бумкнуть»	дубинкой по бочке, двумя матрешками	95
«Дзенькнуть»	ложечкой по стакану, по блюду	92
«Блямкнуть»	чашкой по блюду и наоборот	90
«Тюкнуть»	карандашом по любому предмету	85
«Дильдиликнуть»	позвонить в колокольчик	80

5. Свободно интерпретировать английские звукоподражательные и др. слова. Испытуемые – студенты, не владеющие английским (44 человека).

Snap, snuff, slap, smash, slicky

6. Свободно интерпретировать немецкие звукоподражания и др. слова. Испытуемые – студенты, не владеющие немецким (25 чел.).

krach	knipsen
knack	piepsen
klim-bim	hoppeln

В среднем было дано до 65% верных интерпретаций (точных или близких по «семантическому полю»). В большинстве случаев мы не представляли испытуемым возможности обдумать решение и требовали принять его в ограниченное несколькими секундами время. Случаи обдумывания, сравнение псевдослов с известными словами, развернутый анализ и мотивировка выбора приводили, как правило, к результату, отличному от результата решения большинством. Чаще всего испытуемые констатировали отсутствие предварительной мотивировки решения. Отсюда мы делаем вывод, что мотивировка была подсознательной, а усмотрение «очевидного соответствия» –

интуитивным. Конкретный лингвистический опыт испытуемого не определял выбора соответствий.

Механизм, закономерно проявивший себя во всех описанных случаях, является, на нашему мнению, механизмом синестезии. Как отмечает проф. А.Р. Лурия, «существует ряд переходных... «интер-модальных» ощущений, которые занимают промежуточные места между известными видами чувствительности... В механизме синестезии принимает участие подкорковый уровень, где ближе всего объединяются импульсы, идущие от разных рецепторов» [Лурия 1964: 45]. Мы предполагаем, что механизм синестезии определяет не только такие окказиональные словосочетания, как «черный ветер», «синий звук», «зеленый шум», «горячий взгляд», столь частые в поэтическом языке, но и в какой-то мере сам звуковой способ номинации «незвучащего объекта».

Рассмотрим еще один вопрос, который связывается нами с объяснением закономерного выбора соответствия между зрительным впечатлением и звукомоторным образом.

Проф. д-р Карл Леонхард, известный исследователь в области медицинской психологии, предлагает в своей книге [Leonhard 1968], построенной на богатейшем фактическом материале, следующий ряд выводов, которыми мы бы хотели в дальнейшем воспользоваться:

1. «Теоретически можно было бы предположить, что средства эмоциональной выразительности различны не только у представителей разных народов, но и у разных представителей внутри одной нации, ибо лица разных людей чрезвычайно разнообразны. Но для всех представителей человеческого рода указанные выразительные движения будут однозначными в силу способности (наблюдателя. — И.Г.) отвлекаться от математически обнаруживаемых различий в пользу доминирующего признака, отражающего сущность [Там же 1968: 51].

2. «Звуковые выразительные средства (имеются в виду произвольные фонации, сопровождающие эмоциональное состояние. — И.Г.) воспринимаются и интерпретируются с той же уверенностью и определенностью (что и мимические средства. — И.Г.) всеми людьми» [Там же: 51-52].

3. Отмечая большое разнообразие фонаций и трудность (или невозможность) их буквенного изображения, К. Леонхард считает возможным классифицировать их по многочисленным семантическим группам типа («недоверие», «согласие», «ирония», «нетерпение», «удовлетворение» и др.) [Там же: 296-308].

На основании этих выводов мы позволяем себе сформулировать следующее гипотетическое положение:

Определенные типы объективных стимулов вызывают некоторые типичные эмоциональные пере-

живания и оценки. Последние детерминируют типичные же внешние формы выразительных движений. Стимулируемые эмоциональными состояниями движения мышц лица и дыхательных органов обуславливают, в свою очередь, типичные артикуляционные условия, обеспечивающие производство более или менее типичных фонаций.

Мы полагаем, что в силу взаимодействия механизмов синестезии и механизмов выражения эмоциональных состояний, закономерно и вполне однозначно осуществляется в экспериментальных условиях связь между звуковыми и зрительными комплексами. Доречевое и дологическое мышление, о котором имеет смысл говорить не только в филогенетическом плане, но и в плане онтогенеза, может осуществляться в коде непосредственных (доречевых в собственном смысле) образных и эмоциональных обобщений¹.

В настоящее время в целях обобщения может служить в принципе любой символ, закрепленный социально. Однако наблюдение и специальные эксперименты выявляют, вероятно, древнее отношение к знаку, как к изображению: подсознательно мотивированное отношение к знаку не исчезло. Возможно, что эти обстоятельства играют существенную роль в процессе отбора, фонетического преобразования и закрепления в речи лексических элементов языка.

Глава 2

РЕЦЕПЦИЯ РЕЧИ В КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ

«Процесс коммуникации, – пишет А.А. Леонтьев, – совершенно неправомочно сводить к процессу передачи кодированного сообщения от одного индивида к другому» [1969: 25]. Если обратиться к модели языковой коммуникации, предложенной проф. Э.П. Шубиным, то в ней процесс коммуникации включает уже две дополнительные операции, одна из которых заключается в превращении некоторого содержания («смысла») «в акустический или графический знаковый продукт» средствами психофизиологического устройства говорящего (Т-коммуникатора), а другая, производимая психофизиологическим устройством слушающего (Р-коммуникатора), заключается – соответственно – в превращении принятого знакового продукта в некоторое содержание («смысл»), либо тождественное (или эквивалентное) «выданному на Т-конце» (понимание), либо неэквивалентное (непонимание или ошибочное понимание). Эта модель, которую автор называет «сугубо огрубленной» [Шубин 1967],

¹ Уместно вспомнить следующее положение Л.С. Выготского: «На самых начальных ступенях развития интеллекта действительно обнаруживаются его более или менее непосредственная зависимость от аффекта» [1936: 35].

представляется нам удачной и выгодно отличающейся от многих других, гораздо более огрубленных. Однако ее недостаток заключается, на наш взгляд, не в вынужденной схематичности, а в том, что «смысл» понимается Э.П. Шубиным в обязательной неразрывной связи с тем его конструктором, которым, по мнению автора, может быть только естественный национальный язык, в коде которого производится передача сообщения. Он пишет: «Мы сознательно разграничили сферу мышления (где формируется или куда поступает «смысл») и коммуникаторы (где «смысл» преобразуется в знаковый продукт или извлекается из него). Условность такого разграничения очевидна, ибо в сфере мышления также действуют знаковые образы и модели и мысль без языка существовать не может (разрядка моя. – И.Г.)» [Там же: 28]. Из приведенной цитаты видно, что «знаковые образы и модели», действующие в сфере мышления, не суть кодовые средства внутренней речи, в понимании Н.И. Жинкина или А.А. Леонтьева отличные от средств национального языка. Но тогда не ясно, в чем заключаются операции «формирования смысла» и «преобразования смысла». В другом месте Э.П. Шубин пишет, что в операции рецепции знакового продукта (кстати, слово «рецепция», вынесенное нами в заголовок, понимается нами не в узко-терминологическом значении, принятом у психологов, а в значении более широком, в каком его употребляет и Э.П. Шубин) может иметь место «разгадывание подтекста (скрытого смысла) сообщения, а также оценки его истинности или ложности. Однако рассмотрение этих функций мышления уже выходит за пределы науки о языке (разрядка моя. – И.Г.)» [Шубин 1967: 31]. Следует, видимо, сразу же заметить, что «разгадывание скрытого смысла или оценка истинности или ложности сообщения не может выходить за пределы науки о языке, если последняя ставит своей задачей исследование речевой деятельности. Строго говоря, смысл сообщения, а также степень соответствия сообщения истине всегда в той или иной мере является скрытыми. Они (смысл и степень истинности) никогда полностью не даны в знаковом продукте. И поэтому совершенно прав А.А. Леонтьев, утверждая, что «текст существует вне его создания или восприятия» [1969: 15]. Попытки «вывести язык из текста» совершенно закономерно приводят сначала к описанию знаковой системы в рамках традиционной лингвистики, позднее – в соответствии со структурным подходом, но оба способа описания, отвлекающиеся (в разной степени) от так называемых «экстралингвистических факторов», при всей их, способов, ценности, исчерпывают себя еще до того, как возникают попытки исследования речевой деятельности. Последняя функционирует не «для себя», а как часть широко пони-

маемой человеческой деятельности – практической или теоретической. Если вспомнить ключевые эпизоды гоголевского «Ревизора», то можно отметить, что, хотя набор знаков для Хлестакова и городничего предположительно один и тот же (в основной части), они не понимают друг друга только потому, что по-разному интерпретируют сказанное.

Н.И. Жинкин определил речь весьма метко: «осмысление бес-смыслицы», так как любой текст вне осознанной ситуации общения не может быть адекватно воспринят. В этом смысле термин «значение» (слова или словосочетания) есть в конечном счете опыт появления его (и восприятия его) в ситуации. Значение слова не известно – значит опыт его использования забыт или не был известен.

Следовательно, схема «слово-стимул» – «слово-реакция» не объясняет процесса речевой деятельности, если это не обмен ритуальными стереотипами («Здравствуйте!» – «Привет!» – «Как дела?» и т.п.).

Можно легко доказать, что при этом не осуществляется ни действительно эффективного анализа акустических сигналов, ни семантического анализа, заменив «Здравствуйте!» на «Трости нету!», «Как дела» на «Кадиллак» или «Спасибо, хорошо!» на «Спасу нет, плохо!» (при сохранении интонации приветствия и удовлетворения), и убедиться, что цель обмена ритуальными стереотипами все равно будет достигнута. Здесь, скорее всего, реакция на интоне́му перво-сигнального порядка, а не речь в подлинном смысле. Важно, чтобы ожидаемый (при ситуации встречи) стимул был воспринят как ее часть. Когда говорят о вероятностном прогнозировании в процессе понимания речи на слух (аналогичные условия можно создать и при зрительном восприятии текста), следовало бы иметь в виду в первую очередь не механизм ожидания наиболее вероятного звука (в данном звукоряде), не механизм ожидания наиболее вероятного слова¹, а механизм готовности к восприятию ожидаемого в данной ситуации, ожидаемого семантически адекватного сообщения, в отличие от любого другого.

Конечно, известные эксперименты прекрасно показали, что, например, после «взб» в русском языке следует скорее ожидать «е», «у», «и», чем «ю» или «щ». Показано также, что после «взбирались» следует ожидать скорее «на гору», чем «в колбу». Но, как правильно, на наш взгляд, предполагает Дж. Фланаган, временные интервалы (имеется в виду методика Дж. Фланагана, на которой, к сожалению мы здесь не можем остановиться) и механизм обработки посту-

¹ Существует и антиципация слова как элемента «чистой формы»: вспомним из Евгения Онегина «Читатель ждет уж рифму *розы*». При всей иронии Пушкина, поэт и опытный читатель всегда антиципирует тот или иной элемент формы, содержательной для искусства.

пающей информации могут быть совершенно различными – в зависимости от того, контекстуальна ли она или представлена в виде изолированных стимулов, даже если последние являются звуками речи. По-видимому, «для слитной речи характерны временные образы, которые воспринимаются в целом. Следовательно, единицами восприятия могут быть такие категории, как слоги, слова, фразы, а иногда и целые предложения. В таком случае попытки объяснить восприятие с точки зрения опознавания элементарных сегментов не могут быть успешными» [Фланаган 1968]. Добавим еще, что понимание родителями речи ребенка, который не овладел фонологической системой родного языка и нарушает его довольно грубо, а также понимание ребенком речи взрослых основано, по-видимому, также не на опознании последовательности звуков и ее прогнозировании, а на ожидании высказывания, наиболее вероятного с точки зрения смысловой, в данных условиях общения. В связи со сказанным нам следует обратиться к теории установки, объясняющей, как нам кажется, механизм антиципации (предвосхищения) того, что будет воспринято.

Психологи школы Д.Н. Узнадзе не совсем одинаково развивают положения самой главы школы. Нашему пониманию сущности явления более других отвечает формулировка, данная Г.Н. Кечхуашвили: «Установка – это целостно-личностное состояние или предуготовленность к актуальному регулированию поведения как отражения действительности. Каждая актуальная установка субъекта является не только более или менее дифференцированным «планом» будущего поведения в каждом конкретном случае, но также носит на себе некоторый обобщенный отпечаток прошлого опыта относительно данной ситуации» [Кечхуашвили 1970: 112]. Практический опыт, рассматриваемый как умение ориентироваться в реальной действительности, есть по существу отражение в памяти типологии ситуаций. При бесконечности конкретных ситуаций, никогда не повторяющих друг друга во всех деталях, типологический перечень их может быть составлен и описан подобно типовым сюжетам литературных произведений, названных А.Н. Веселовским «бродячими сюжетами»¹. На ранних стадиях онтогенеза человеку приходится сталкиваться сразу с огромным многообразием ситуаций, однако

¹ Мы лишь отчасти разделяем критику идей А.Н. Веселовским, предпринятую в свое время В.М. Жирмунским в Предисловии к «Исторической поэтике» под его же редакцией (ГИХЛ, Л., 1940). Развивая идеи Э. Тейлора [1896-1987], относительно общности главных черт материальной и духовной культуры при одинаковых стадиях общественного развития, А.Н. Веселовский писал: «Человек... уясняет себя сам, проектируясь в окружающий его объективный мир... Так создаются у него обобщения, типы желаемой и нежелаемой действительности, нормы отношений» (Веселовский 1940:273).

лишь небольшое число их связывается с кругом его собственных потребностей, остальные остаются вне «поля зрения».

Тогда мы говорим, что он «этого еще не понимает». Повторение актуальных (с точки зрения его потребностей) ситуаций не только закрепляет определенные типологические характеристики, обеспечивая узнавание следующей, похожей ситуации, но и формирует готовность к определенному типу ответной реакции, готовность к последовательному ряду действий, соответствующему последовательности событий, составляющих данный тип ситуации. Далее, поскольку в обычном случае ситуация общения ребенка со взрослыми включает речевое действие взрослого, у ребенка с самого раннего детства развивается готовность к восприятию речи, готовность, которая, как мы отмечали выше, заложена генетическим кодом как способность к звуковому контактированию (гуление, напомним, наблюдается у глухонемых от рождения детей). Вербальные действия взрослых, являясь частью других действий, направленных на ребенка, естественно, связаны с последними по смыслу. Чаще всего, речевая продукция матери представляет собой констатацию ее практических действий («Пить хочет, мой маленький», «Неудобно лежать моей доченьке» и т.п.). Поэтому неосознанно с самого начала развития ребенка формируется внимание к звуковой части акта общения, которая постепенно приобретает сигнальное значение данной ситуации.

Итак, знакомая (т.е. *узнанная* по сложившемуся типу) ситуация соединяется в памяти с соответствующим речевым актом как наиболее вероятным для данной типовой ситуации¹. Именно к типичному речевому стимулу и оказывается подготовлен ребенок в момент общения. Если незнакомые люди обращаются к нему с вопросом «Как тебя зовут?», то после нескольких повторений любой первый вопрос незнакомому человека вызывает со стороны двух-трехлетнего ребенка стереотипную реакцию называния своего имени.

Таким образом, формирование установки на восприятие и понимание речи, как и формирование любой установки, определяется многократным сопереживанием ситуации, а реализация установки

¹ Процесс закрепления определенного речевого акта в связи с типовой ситуацией моделируется в следующем опыте, который мы проводили с одним из близких знакомых в 1968 и 1969 гг. Ежедневно, в течение двух недель, примерно в одном и том же временном диапазоне, мы выходили вместе их одного и того же здания и в течение 8-10 минут шли в одном и том же направлении. Достигнув сквера, я останавливался и задавал один вопрос по теме «Погода». Вопросы не были стереотипными и каким-то образом примыкали к предыдущим высказываниям. Если мой вопрос на указанную тему запаздывал, то уже через 9-10 дней (от начала опыта) мой знакомый сам приостанавливался на привычном месте в явном ожидании вопроса или даже сам начинал говорить о погоде. Без подкреплений условный рефлекс исчез через два дня. Затем подобные опыты с тем же успехом были проведены трижды.

осуществляется подсознательно еще до появления возможности детального анализа стимула. В классическом опыте испытуемые получали в левую руку менее тяжелый шар, чем в правую или наоборот. После 10-15 предъявлений такого рода испытуемые стали получать в обе руки одинаковые по весу и размеру шары, однако оценивали их вес по-прежнему – в левой (правой) руке шар легче. Примерно то же самое наблюдается и при оценке ребенком обращенной к нему речи: он готов принять соответствующий стереотип, реагирует на стимул именно как на ожидаемый и не сразу понимает, что ошибся. Согласно концепции опережающего отражения реальной действительности (Н.А. Бернштейн и П.К. Анохин) – а опережение нам хотелось бы связать не только с накапливаемым опытом, но с явлением ауторитимии – реакция на стимул уже подготовлена до появления последнего и поэтому не является в строгом смысле реакцией. Вот почему теория установки принципиально отвергает бихевиористскую схему поведения «стимул–реакция». При понимании речи слушающий как бы выдвигает ряд наиболее вероятных гипотез относительно смыслового содержания того, что будет им воспринято в речи партнера. Гипотеза формируется оценкой наличной ситуации на основе общей установки, соответствующей типу ситуации, реально отражаемым речевым стимулом. Последний может либо подкрепить, либо скорректировать, либо радикально изменить первоначально сформировавшуюся гипотезу. Во всяком случае, как показывают эксперименты, «в процессе смыслового восприятия механизм подтверждения выдвинутой мозгом гипотезы срабатывает раньше механизма последовательного поэлементного сличения физических (акустических – И.Г.) характеристик стимула с релевантными им признаками эталонного образа» [Зимняя 1970: 17]. Поэтому мы согласны с мнением, что «установка ... определяет тактику поведения, которую избирает индивид в той или иной ситуации, между тем как вероятностное прогнозирование и прицельные механизмы, результирующие в преднастройке, являются функциями избранной тактики» [Фрумкина, Добрович 1971: 37].

Обратимся к экспериментальному подтверждению с целью иллюстрации сказанного и характеристики некоторых подробностей явления антиципации будущего высказывания при восприятии речи. Предварительно отметим только весьма важное, на наш взгляд, различие, существующее между процессами восприятия речи только на слух и при наличии визуально воспринимаемого говорящего. В последнем случае слушающий, как правило, старается еще быть и «смотрящим». Он «считывает» дополнительную информацию с лица говорящего. Известно, что женщины и дети в общем хуже мужчин понимают речь, если не видят лица говорящего. При слушании ра-

дио можно наблюдать стремление смотреть в сторону приемника («чтобы лучше слышать»), а содержание речи теледиктора усваивается успешнее, чем радиодиктора [Лурия 1964]. Хорошо известно, что успешность усвоения содержания высказывания зависит также от степени близости слушающего к говорящему, от опыта их общения друг с другом¹.

Эксперимент, который мы хотим ниже описать, исходит из допущения, что объяснение Левина и Кити в романе «Анна Каренина» имеет значение не только как литературный, но и как научный факт. Напомним этот эпизод.

Левин и Кити пишут поочередно инициальные буквы слов, шифруя весьма сложные предложения:

Левин: к, в, м, о, э, н, м, б, з, л, э, н, и, т ?

Кити: т, я, н, м, о, и. И далее: ч, в, м, п, и, п.

Толстой пишет, что «не было никакой вероятности, чтобы она (и, очевидно, чтобы Левин тоже. — И.Г.) могла понять эту сложную фразу». И все же — по роману — и Кити, и Левин расшифровали предложения верно.

Мы попытались опытным путем создать ситуацию, в которой бы испытуемые могли также расшифровать сообщение, зашифрованное инициальными буквами. Предварительно был поставлен контрольный опыт: испытуемые (28 человек в возрасте от 23 до 41 года) должны были расшифровать предложения Кити и Левина. Опыт расшифровки, как и следовало ожидать, не удался, несмотря на знание романа и ситуации объяснения. Затем экспериментатор зачитал короткую (78 слов) информацию об опытах обучения дельфинов пониманию человеческой речи. Информация вызвала интерес, который в дальнейшем в течение 10-15 минут поддерживался и развивался в ходе беседы на ту же тему. Такие беседы проводились в течение четырех дней подряд. После заключительной беседы испытуемым было предложено «развлечься» и провести опыт на расшифровку. Были розданы карточки с зашифрованными фразами, на которых затем записывались результаты расшифровки.

Результаты:

¹ А.Р. Лурия сообщает [1964] об экспериментах Г.В. Гершуни, результаты которых «открывают для научного познания круг «подсознательных явлений» Речь идет о фиксации нашими зрительными и слуховыми рецепторами таких микроизменений объекта, которые не попадают в поле ясного сознания. Их учет производится позднее и подсознательно, в результате чего фиксируемые изменения субъективно оцениваются как «интуитивно познанные». Мы полагаем, что «интуитивная» оценка подтекста сообщения или степень его истинности также могут осуществляться и определяться после приема информации субсенсорными механизмами восприятия, опережающими сознательный анализ.

Шифр	Содержание	Верных ответов	Время решения
к, т, (в), д, м, н, г?	Как ты (Вы) думаете, могут дельфины научиться говорить?	21	2 мин.
к, в, т, д, о, д, и?	Как Вы (ты) думаете, обладают дельфины интеллектом?	19	3 мин.
к, т, з?	Как тебя зовут?	—	8 мин.
к, и, д?	Как идут дела?	—	8 мин.

Показательно, что последняя фраза (в шифре) интерпретировалась всеми без исключения испытуемыми в таких вариантах:

Как (ие) ... дельфины? – 12 человек.

Куда ... дельфины (дельфинов) – 6 человек.

Как испытывают дельфинов? – 8 человек.

Киты или дельфины? – 2 человека.

Данные опыта свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что выбор решений в пределах обсуждавшейся ранее темы и высокий процент «попаданий» объясняются реализацией установки созданной ранее широким вербальным контекстом.

Можно показать, что восприятие устной речи также зависит от наличия определенной установки, которую мы могли бы назвать «тематической». Для этого обратимся к следующему опыту. Испытуемые в количестве 20 человек делятся на две равные группы, каждая из которых находится в разных аудиториях. Одной группе предлагается провести синтактико-морфологический анализ предложения «Бакланы летят под облаками», а другой «Баклаги лежат под огурцами». Все студенты, участвующие в опыте, цели которого они не знают, анализируют соответствующие предложения, а спустя 10 минут (по окончании обсуждения) собираются в общей аудитории, где им тут же предлагается зашумленная магнитофонная запись предложения (якобы для анализа) «Бараны линяют месяцами». 16 студентов из 20 заявили, что это предложение они только что анализировали, остальные не могли расслышать запись, но согласились, что «было что-то похожее». Студенты первой группы «услышали» предложение «Бакланы летят под облаками», а студенты второй группы, соответственно, второе предложение. Пришлось трижды повторять прослушивание, чтобы доказать, что предложение было совсем новым. Как видно, достаточно некоторых опорных элементов (зрительных или звуковых), подтверждающих ранее сформированную гипотезу, чтобы принималось решение в связи с ней, а не на основании анализа реального звукокомплекса [См.: Исенина 1967].

Кратко остановимся на проблеме подтекста, имеющей прямое отношение к исследованию нашего вопроса. По мнению К. Паустов-

ского, ссылающегося в одной из статей на Хемингуэя как мастера подтекста, «как это (подтекст. — И.Г.) делается, объяснить очень трудно» [Паустовский 1970: 135]. В статье анализируется рассказ Э. Хемингуэя [1968] «Белые слоны», при внимательном чтении которого выясняется, что К. Паустовский не совсем прав, говоря, что в тексте «нет ни слова», указывающего на суть разговора между персонажами, «но читая этот разговор, вы прекрасно понимаете, о чем они думают». В действительности слова «операция», «укол», словосочетания «суший пустяк», «все будет хорошо», «ничего страшного», а также весь текст в целом, указывающий на характер отношений между говорящими мужчиной и женщиной, дают читателю определенную вербальную информацию, достаточную для оформления определенной гипотезы. Другое дело — но об этом К. Паустовский не говорит — что, например, ребенок, прочитавший рассказ, не усмотрит в нем того, что взрослый читатель. Следовательно, суть подтекста заключается в том, что с помощью некоторой вербальной информации (текст) в сознании читателя оживляются такие смысловые связи, которые уже были в его прежнем опыте. Искусство писателя в данном случае заключается в том, чтобы прямо не указывать на эти связи, освободить текст от избыточной информации. При создании подтекста писатель, конечно, рассчитывает на то, что совпадают «тезаурусы» его и читателя.

Можно проверить сказанное экспериментально, предложив испытуемым с различными «тезаурусами» истолковать такой текст:

«Он выглянул из окна и увидел прижавшуюся к бордюру темную автомашину. Слабо светились подфарники. Кто-то, как ему показалось, щелкнул зажигалкой. Тогда он вернулся к столу, достал пакетик с желтыми таблетками, взял одну, потом, помедлив, вторую. «Так будет скорее», — подумал он».

Для постоянных читателей детективов, как показал наш опрос, описанный эпизод можно назвать только «сценой самоубийства»; ссылаются при этом на «общую атмосферу таинственности и безысходности», на фразу «Так будет скорее», связанную с таблетками и с тем, что персонаж «помедлил», прежде чем взять две таблетки («значит, они опасны»). Для тех, кто слабо знаком с жанром, в котором выдержан текст, эпизод не был ясен. Когда же другим испытуемым был предложен этот текст с включениями, «зашумливающими» основную линию, версия о самоубийстве выдвигалась только в 15% случаев.

В человеке воспитывается с самого начала жизни навык распределения внимания между вербальной и авербальной частями коммуникативного акта, всегда включенного в более широкую сферу, чем собственно речевая деятельность. Участники коммуникации подсознательно осуществляют учет информативной ценности обоих час-

тей. Поэтому избыточность в какой-либо части как бы игнорируется в соответствии с принципом экономии усилий, а «недостающая» доля необходимой информации в одной части восполняется за счет другой. Так понимается, например, эллипсис¹. Таким образом, усвоение текста является двуплановым процессом; в противном случае мы не могли бы судить об истинности или ложности высказывания, ибо оценка высказывания в этом плане состоит в сличении смысла вербальной информации со смыслом, полученным по другим каналам. При таком взаимодействии автономно функционирующих систем информации наблюдается некоторый целостный подход к восприятию вербального материала, исключающий в ряде случаев необходимость в восприятии деталей. Такой подход позволяет, в частности, осуществлять обучение скорочтению, ныне ставшему достаточно популярным.

В одном из опытов наши испытуемые прослушивали запись отрывков из «Евгения Онегина» с установкой на последующий пересказ содержания. Но прослушивание должно было сопровождаться фиксацией (в письменной форме) всех замеченных отклонений от современных норм русского языка (задание для 1-й группы из 10 человек). Во 2-й группе установки на пересказ не было. В 3-й группе отсутствовала установка на фиксацию отклонений.

Были получены следующие результаты:

1-я группа (усвоение содержания и отклонений)

Усвоение содержания	Замеченные отклонения
Слабое. При пересказе нарушена последовательность событий, забыты детали.	«в уголку», «оставновляет», «припрыжки», «хохотня», «не разойтись», «вечор», «сквозь слез не видя» и др.
	Всего: 22 случая (61%).

2-я группа (фиксация отклонений)

Усвоение содержания	Замеченные отклонения
Весьма слабое. Обозначены лишь некоторые темы отдельных тем отдельных строф.	Те же, что в 1-й группе, но еще и «увлажен», «звездами» и др.
	Всего: 31 (85%).

3-я группа (усвоение содержания)

Усвоение содержания	Замеченные отклонения
Хорошее. Полностью сохранена последовательность, даются цитаты и близкие к тексту пересказы.	«Осклабя взор», «кофий кушал», «в постелю» и др.
	Всего: 11 (30%).

Интересно, что никто из испытуемых не отметил «избранные судьбами», «шелковый», *счастлиное время*, «сквозь тумана», «сельски виды» и др., т.е. всего, что вне усвоения целостного целостного тек-

¹ Имеется в виду такой эллипсис, который «восполняется» не за счет предшествовавшего вербального контекста, а конституативный.

ста отмечалось испытуемыми как несомненное отклонение от норм. Кроме того, при опросе выяснилось, что все испытуемые (30 студентов 1-го курса) не знали значений таких архаизмов, как *вотище*, *вежды*, *перси*, *цевница*, *алкать*, *денница*, *отроковица*, *ланиты*.

В контексте эти слова, по-видимому, не «мешали». Смысл и форма антиципируются и принимаются в значительной мере автономно; все же механизм формальной переработки работает под контролем. Часто вспоминают случай с В. Маяковским, который, проходя по улице, прочитал вывеску «Сказочные материалы», затем, осознав полученное содержание, вернулся и убедился в том, что вывеска гласила «Смазочные материалы». Но если рецепция текста (звукового или графического) не есть то же самое, что рецепция его в узком смысле психологического термина, и если понимание текста не есть просто внутреннее его проговаривание при помощи скрытых (латентных) речедвижений¹, то в чем состоит операция «извлечения» смысла, не совпадающая с операцией дублирования формы, реконструкции формы, контроля над формой?

Проф. Н.И. Жинкину удалось экспериментально показать, что понимание текста при чтении про себя не сопровождается речевой моторикой (способом проговаривания текста про себя [См.: Жинкин 1960]). При чтении текста вслух выполнение ритмического задания невозможно, т.к. ритмика речевой моторики интерферирует с ритмикой руки. Следовательно, внутренняя речь при усвоении текста осуществляется в коде, отличном от кода речедвижений, в коде, имеющем свои собственные временные параметры развертывания. Однако сторонники противоположной точки зрения настаивают на том, что латентные движения, обнаруживаемые при решении любой умственной задачи, включая усвоение содержания текста (способом снятия электромиограмм с языка и губ испытуемых) суть речедвижения («базальный компонент мышления»). Поэтому необходимо в дальнейшем подвергнуть это положение дополнительной экспериментальной проверке, что мы и попытаемся сделать. Предварительно хочется высказать несколько замечаний, подкрепляющих, как нам кажется, иную точку зрения. Если адекватно воспринято может быть только то, что одновременно проговорено во внутренней речи слушающего, а внутренняя речь считается производной от внешней [Баев 1966], то следовательно, усвоено на слух может быть только то, что может реализоваться во внешней речи слушающего. Однако на самом деле период умений в области рецепции чужой речи обязательно предшествует периоду репродукции и, тем более, пе-

¹ Эксперименты с так называемым «быстрочтением» (скорость его превышает обычную в 3-5 раз) отвергают, по-видимому, обязательность внутреннего проговаривания чтения про себя.

риоду самостоятельного порождения речи. Этим характеризуются решительно все процессы, связанные со становлением речи – овладение родным языком, овладение вторым языком, восстановление речи при афазии, обучение речевой деятельности слепоглухонемых. Ребенок начинает адекватно реагировать на речь взрослых задолго до того, как научится артикулировать.

Согласно данным Давида Палермо, многократно подтвержденным, «младенец в определенном возрасте издает звуки (вокализации), богатые разнообразными фонемами. Спустя несколько месяцев его вокализации будут содержать меньший набор звуков – приближение к фонологической системе языка» [Палермо 1966: 66]. Однако, когда на стадии лепета появляется силлабическая продукция, в ней еще нет элементов речи взрослых, напротив, в речи взрослых, обращенной к ребенку, появляются «детские слова», включая те, что вошли в нормативную речь (*баба, папа, мама, тата, дада* и т.п.). Когда позднее ребенок начинает усваивать первые значения первых слов и фраз (что проявляется в однозначных реакциях), он еще не в состоянии воспроизвести их самостоятельно, а часто не может репродуцировать в эхолалиях. Очевидно, работу по отбору наиболее близких к данному языку вокализаций и по закреплению в памяти первых слов и словосочетаний выполняет слуховой анализатор без участия речедвигательного¹. И в дальнейшем возможности речедвигательного аппарата отстают, причем существенно, от возможностей слухового и зрительного; в нашей собственной речи активный запас всегда на много меньше пассивного, рецептивного. В случае необходимости (например, нарушение зрительного, слухового канала и отсутствие речи) знаковое поведение может быть сформировано на базе исключительно тактильных, вибрационных, обонятельных и вкусовых ощущений. Так что в принципе речевая моторика не обязательно участвует в переработке информации.

Возвращаясь к нормальным условиям восприятия речи, мы должны признать, что обсуждаемые противоположные точки зрения имеют свои сильные и слабые стороны. Если доказано, что усвоение текста проходит не в ритме внешней речи, что это усвоение не есть «внутреннее проговаривание», то сторонники речемоторной теории, собственно, и не настаивают на этом. Они утверждают, что внутренней речи (в их понимании) свойственна особая свернутость: латентные движения, фиксируемые способом электромиограмм не идентичны артикуляционным движениям во внешней речи. Ведь если мы вполне хорошо усваиваем текст во время еды, т.е. производя жевательные движения

¹ Поскольку первые слова закрепляются по условнорефлекторной схеме, реакция на них вначале не отличается от реакции, скажем, собак на кличку. Но ведь ни Джим, ни Джек не опознают свои клички способом «внутреннего проговаривания»!

или при раскрытом рте, та мы, не будучи в состоянии нормально артикулировать и порождать внешнюю речь, не мешаем внутренней речи.

Подобное явление наблюдают гидрологи: микроструктурные колебания поверхности воды не нарушаются во время сильного волнения, Большие волны не мешают ряби. Таким образом, теоретически будто бы возможно, что усвоение текста, читаемого про себя (или воспринимаемого на слух) протекает в такие короткие промежутки времени (способом свернутых латентных движений), что более растянутый во времени ритм движений руки не накладывается на моторику речи.

Мы попытались экспериментальным путем получить некоторые количественные характеристики предполагаемых свернутых вербальных схем внутренней речи. С этой целью 30 испытуемых в возрасте от 16 до 22 лет (школьники и студенты) в течение 10 секунд каждый рассматривали одну из репродукций ранее неизвестной картины с установкой на последующее максимально точное и детальное словесное описание. Описание должно было содержать только констатирующие перечисления увиденного, не должно было включать модальных глаголов, вводных слов и др. материала, фиксирующего что-либо, не выводимое из изображения непосредственно. После экспозиции испытуемые составляли письменные отчеты об увиденном, а затем зачитывали их с максимальной скоростью, с минимальными дыхательными паузами. Время зачитывания отчетов фиксировалось секундомером. Затем подсчитывалось среднее количество слов и звуков, чтобы можно было получить данные о количестве возможных речедвижений (слоговых – т.к. слог является минимальной единицей артикуляции – в соответствии с данными Н.И. Жинкина о механизмах звучащей речи) за единицу времени и в дальнейшем сопоставить эти данные внешней речи с возможностями внутренних моделей речедвижений (латентных моторных проявлений). Типичный результат иллюстрируем на отчете одного из испытуемых относительно картины В. Хогарта «Вскоре после свадьбы».

Время чтения отчета вслух	35 сек.
Время экспозиции репродукции	10 –*
Количество слов в отчете	120 –*
Количество слогов	260 –*
Количество звуков	585 –*

Если запечатление картины с усвоением содержания проходит с помощью внутреннего проговаривания, то за 1 секунду экспозиции во внутренней речи должно произойти:

$120/10=12$ речедвижений на уровне слова (во внешней – 3,4);

$260/10=26$ речедвижений на уровне слога (во внешней – 7);

$585/10=58,5$ речедвижений на уровне звука (во внешней – 16).

Согласно экспериментальным данным, на которые опирается Дж. А. Миллер, «наиболее вероятная скорость речевых мышц – 5 слогов в сек.», прием кончик языка (самая подвижная часть артикуляционного аппарата) «может произнести 8,2 слога/секунду [Экспериментальная психология 1963: 353]. Если допустить, что во внутренней речи каждому слову внешней речи соответствует нервная модель одного звука, то 120 словам должны соответствовать 12 латентных движений, что значительно выше разрешающих возможностей органов артикуляции. Кроме того, данные не учитывают процесса поиска слова и актуализации отношения испытуемого к изображаемому, что также требует затрат времени.

Но возникает вопрос, на каком основании данные электромиограмм вообще принимаются за модель речевых движений? То, что мы называем органами артикуляции, генетически раньше предназначалось только для выполнения функций питания, дыхания, вкусовых ощущений, осязания и обоняния, а возможно, и как орудия элементарной обработки предметов, служащих для удовлетворения ближайших потребностей. Органы артикуляции обнаруживают свою активность совсем не только во время речевой деятельности, но и при трудовых и физических усилиях, при умственных напряжениях. Ребенок, рисуя, «моделирует» движением языка направление проводимой карандашом линии. Существуют ли данные электромиограмм, которые свидетельствовали бы о том, что при мысленном повторении одной и той же фразы на одном и том же языке ЭМГ идентичны или, по крайней мере сходны, а при мысленном воспроизведении разных слов (фраз) или одной и той же фразы на разных языках ЭМГ явно отличаются друг от друга? Таких данных нет¹. Но ведь только в этом случае корреляции между ЭМГ и речевыми движениями на определенном национальном языке могут быть окончательно установлены. Ссылки на то, что фразы во внешней речи могут соответствовать речевым двигательным свернутым комплексам, которые в условиях внешней речи были бы по объему равными эквиваленту слога или даже звука, как мы видели, вряд ли обоснованы. Скорее наоборот: в случае естественного двуязычия перевод из внутренней речи во внешнюю такого свернутого комплекса (т.е. развертывание текста из одного звука или слога) приводил бы, вероятно, к постоянным смещениям, порождал бы некоторые двуязычные комплексы во внешней речи, чего не наблюдается.

Поскольку, как утверждается, всякая мыслительная деятельность осуществляется этими речевыми движениями, то следует избрать в экспериментальных целях такие два вида умственной деятельности, которые характеризовались бы микроструктурами одного порядка. При

¹ Мы судим по работам А.Н. Соколова, включая и последнюю его монографию [1968].

совмещении двух видов деятельности, сопровождающихся облигаторными латентными движениями органов артикуляции, будет наблюдаться интерференция – совмещенное осуществление двух действий в этом случае будет невозможным. Правда, А.Н. Соколов отмечает, что «в отдельные моменты, или фазы, решения (особенно при решении наглядных задач) речедвигательная импульсация может быть заторможена. Это, однако, не означает, что в последнем случае имеет место «безъязыковое» мышление. Такой вывод был бы неоправданным допущением, так как основывался бы на изоляции одной фазы мышления от другой, что, по существу, невозможно» [Соколов 1968: 230]. Таким образом, если констатируется наличие разрывности между речевой моторикой и какой-то фазой мыслительной операции, то в эксперименте необходимо предусмотреть такой вид действий, который бы характеризовался явной растянутостью во времени, а не той разрывностью, которая наблюдалась в опытах Н.К. Индик и Р. Мартинеса [Там же: 111-115]. В этих опытах испытуемым троекратно предъявлялись пары рисунков или слов и измерялось время и качество их запоминания при различных артикуляционных помехах. Одномоментность и разрывность предъявлений и могла повлиять на результаты опыта. Иллюстрированный материал запоминался в период, когда речедвигательная импульсация проходило фазу торможения. Поэтому в наших опытах мы предъявляли испытуемым не отдельные рисунки и не пары не связанных между собой рисунков, а серии Х. Бидструпа, Ленгрена и других художников. Серии были разной «длины», т.е. состояли из 2, 3, 4, 5 и 6 рисунков, логически и изобразительно связанных между собой. Синхронно с предъявлением серий, на слух тем же испытуемым предъявлялись связанные тексты¹.

Время находилось фиксацией двух моментов: а) начало просмотра, б) эмоциональный эффект. В среднем просмотр серии из 2 рисунков занимал 6 сек., из 6 рисунков – 45 сек. Испытуемым предлагалось просмотреть максимальное количество серий рисунков при одновременном прослушивании текстов разной длины. Переход от одной серии рисунков к другой сопровождался переходом от одного текста к другому, причем 1-1,5 секунды паузы между просмотрами обычно совпадали с такими же перерывами в прослушивании текстов. Общее время одновременного предъявления рисунков и текстов для каждого испытуемого равнялась 2 минутам. После предъявления текстов и рисунков каждый испытуемый опрашивался по трем параметрам рисунка и текста: 1. Тема. 2. Сюжет. 3. Детали. По-

¹ Тексты тематически резко отличались от серии рисунков. Одновременно переработка изображения и текста одной темы прекрасно осуществляется без всякой интерференции, о чем свидетельствует восприятие звукового кинофильма.

сколько одновременное восприятие текста и рисунка требует распределения внимания, нормальное качество воспроизведения определялось в контрольных опытах (раздельного восприятия текста и рисунка) в условиях умеренных световых (для рисунка) и звуковых (для текста) помех. В первом случае с помощью реостата изменялась освещенность текста лампой, во втором – произвольно изменялась сила звука на записи. Результаты опыта показаны в табл. 2.

Таблица 2

Кол-во серий	Кол-во рисунков в серии	Время, мин	Качество воспроизведения содержания в оценках по 5-балльной системе (числитель – рисунки, знаменатель – текст)		
			тема	сюжет	детали
8	2	1,5	5/5	5/4	5/4
6	3	1,8	5/5	4/3	4/3
5	4	2	5/5	5/4	4/4
3	5	2,5	5/5	4/4	3/3
2	5	1,5	5/5	5/5	4/4
2	6	2,5	5/5	4/5	4/4
2	6	2,4	5/5	5/5	3/4
2	6	2	5/5	4/4	4/3
2	6	2,3	5/5	4/5	4/4
2	6	2	5/5	4/4	4/3
В среднем: 2			5/5	4/3,9	3,9/3,6
Соответствующие показатели качества воспроизведения после раздельного восприятия рисунков и текстов в условиях умеренных световых и звуковых помех.			5/5	4,5/4,2	5,3/4

Разница между показателями качества воспроизведения после совмещенного восприятия и после раздельного восприятия в условиях умеренных звуковых и световых помех не является существенной (до +10%), что позволяет предполагать отсутствие интерференции при переработке разнокодовой (вербальной и изобразительной) информации. Можно предположить также, что либо: 1) и вербальная, и изобразительная информации перерабатываются с самого начала приема в разных корковых зонах без участия речевой моторики, поступая – соответственно – через зрительный и слуховой анализаторы. 2) речевая моторика участвует в переработке, но изобразительная информация отрабатывается быстрее, минуя этап девербализации. Тем же испытуемым предлагается зрительно и на слух воспринимать тексты разного типа – одинаково организованные ритмически (стихотворения одной метрики) и ритмически несовпадающие,

но одинаковые по числу слогов и по общей длине. Как и следовало ожидать, испытуемые не могли успешно справиться с заданием, ни один из них не усваивался (не мог быть впоследствии пересказан). Делались попытки временного отвлечения внимания от одного текста к другому. В таких случаях удавалось усвоить тему того и другого текста, а также запомнить некоторые фрагменты из обоих текстов. Одновременное усвоение одинаковых по ритмике текстов оказалось совершенно невозможным ни в плане темы, ни в деталях. Сюжет, по словам испытуемых, намечался, но «рассыпался» тут же. Предполагается, что если одинаковая информация, проходящая по двум разным каналам одновременно, интерферирует, то отсутствие интерференции свидетельствует о переработке информации в разных системах. Однако остается неясным, происходит ли интерференция сразу же «на входе» (если речедвигательный код контролирует прием в зрительном и слуховом анализаторах) или впоследствии.

По наблюдениям Б.В. Томашевского, подтвержденным и нашими наблюдениями, специфика труда наборщика заключается, в частности, в умении концентрировать внимание на форме выражения, отвлекаясь от содержания текста настолько, что в наборе могут появляться формально корректные словосочетания, совершенно независимые от узкого контекста: «неприступная башня» (вместо «неприступная богиня» — о Татьяне Лариной), «прочные сердца» (вместо «порочные сердца») и т. п. [Томашевский 1959: 34-39]. Переработка формы (и ее воспроизведение) при этом осуществляется с нарушением связи «форма — содержание». Возникают те же вопросы: а) моделируются ли зрительно воспринимаемые тексты во внутренней речи способов речедвижений и б) возможно ли совместить формальную операцию над зрительно поступающей вербальной информацией с адекватным восприятием внешней устной речи.

В первом опыте 8 машинисток высокой квалификации, владеющих так называемым «слепым методом», получили одно за другим два задания. В первом следовало перепечатать возможно быстрее, не заботясь об опечатках, текст, часть которого представляла бессмысленный набор слов, а другая часть — с синтаксическими нарушениями.

Во втором задании следовало перепечатать текст, вполне корректный по форме, но фантастического содержания:

«Недавно орнитологи обнаружили в поведении птиц нечто новое. Оказывается, что некоторые из птиц могут с легкостью освоить игру на музыкальных инструментах, готовить пищу по рецептам из кулинарных книг, обсуждать телеспектакли и прочитанные на многих языках книги».

Результаты опыта следующие:

1. Перепечатка 1-й части первого текста заняла примерно втрое больше времени, чем перепечатка второй части и всего второго текста вместе взятых. В работе над 1-й частью наблюдались паузы после переписки почти каждого слова. Наблюдались попытки переспросить, вызвать объяснения со стороны. Допущено в среднем 4 ошибки. Перепечатка этого текста оценивалась как наиболее трудная, так как отдельные слова были даны в строку, а не в столбик, чем маскировалась их изолированность.

2. 2-я часть первого текста вызвала появление ряда пауз, вдвое менее частых и втрое менее длительных. Некоторые нарушения синтаксиса замечались и исправлялись сознательно, другие не замечались, но автоматически реконструировалась верная форма. Допущены в среднем 2 опечатки, не связанные с исправлением нарушений. Текст оценен как «вполне понятный».

3. Второе задание выполнялось в нормальном темпе, почти без пауз, с одной (в среднем) опечаткой. Из всех испытуемых только двое обратили внимание на содержание, указав на «бессмысленность» или «невероятность» написанного. В повторных контрольных опытах приведенные тексты включались в другие, вполне корректные и по содержанию и по смыслу. Качество интересующей нас обработки экспериментальных частей текстов оставалось, в основном, таким же.

Таким образом, профессиональные умения машинисток в отношении автономной переработки формы идентичны таким же умениям линотипистов (наборщиков). Операции набора (перепечатки) не обязательно сопровождаются аналитическими действиями, касающимися смысла, затрагивают только операции над формой. Зрительно воспринимаемая вербальная форма перекодируется в пальцемоторные движения.

Представляется интересным в ходе указанного эксперимента предложить испытуемым параллельное вербальное задание. Поэтому выполнение вышеупомянутых заданий по перепечатке было совмещено в одном из опытов с прослушиванием радиотрансляции и записей сообщения «Из зала суда» (60 слов). В другом опыте машинистки должны были, не останавливая перепечатки, ответить на ряд вопросов: «Как проехать к кинотеатру?», «Выписываете ли Вы журнал «Огонек»?», «Много ли у Вас сегодня работы?». Машинистки и в этом случае были в состоянии перепечатывать тексты в нормальном темпе с одновременным осмыслением газетного и радиосообщения позволяющим вполне удовлетворительно воспроизвести их содержание. Перепечатка текста, состоявшего из набора бессвязных слов отвлекала от текстов, воспринимаемых на слух.

Выводы:

1. При наличии хорошо автоматизированных навыков оказывается возможным сознательное и корректное восприятие сохранной формы сообщения, ее репродукция и комбинирование отдельных блоков в отрыве от содержательной программы, заключенной в сообщении.

2. Поскольку формальные операции такого рода могут совмещаться с приемом содержания других вербальных же сообщений и конструированием собственной речи, то одна из двух совмещаемых операций должна исключать обязательное использование речевой моторики, так как в противном случае наблюдалась бы интерференция одного из двух заданий. Поэтому:

3. Имеет смысл говорить о проявлениях автономности планов выражения и содержания при одновременном решении двух различных вербальных заданий [См.: Горелов 1970а].

Резюмируем изложенное в главе.

Рецепция речи представляет собой двухсторонний процесс, в котором параллельно и при взаимодействии осуществляется восприятие формы и восприятие содержания сообщения. В самом начале коммуникативного акта¹ имеет место установочная ориентация реципиента, исходящая из прошлого опыта общения, в результате которой реципиент выдвигает некоторые гипотезы относительно содержания будущего сообщения. Рецепция дополнительной авербальной информации (включая и обработку на субсенсорном уровне), получаемой от ситуации общения и от говорящего, может иногда оказаться достаточной для усвоения главного в содержании, еще не реализовавшегося в собственно речи («по глазам вижу, что вы хотите сказать»). В обычном случае учет авербальной информации играет вспомогательную роль и корректирует усвоение содержания.

Рецепция первого звукового отрезка речи, в котором локализуется семантический опорный узел, позволяет антиципировать дальнейшее развертывание содержания сообщения, а также – параллельно – его форму.

Если сообщение достаточно сложно, и гипотеза, выдвинутая в начале акта коммуникации, не подтверждается, то реципиенту необходимо продолжать прием звуковой формы. Однако возможность вероятностного прогнозирования формы позволяет осуществлять ее рецепцию в порядке реконструкции, «узнавания», а поэтому может иметь место игнорирование нарушений формы в определенных пределах. Сохранными должны быть отрезки, в которых локализуются опорные семантические узлы.

¹ Здесь опускаются обязательные этапы формирования установки на а) коммуникацию вообще и б) на речевую коммуникацию, без чего, как показывают наблюдения, речь вообще может не восприниматься, восприниматься как «шум» и т. п.

Усвоение содержания сообщения заключается в соотношении вербальных сигналов с единицами наглядного кода внутренней речи (УПК)¹ и с результатами отражения ситуации в момент общения. Соотнесение это производится либо автоматически («стереотип речи» – «смысловый стереотип»), либо аналитически – при усвоении нового содержания. Последний случай предполагает выбор соответствующей единицы наглядного кода или новую комбинацию из ряда готовых единиц. Момент соотношения вербального сигнала с единицей наглядного кода или с элементом актуальной ситуации есть момент фиксации одного из значений вербального знака.

Второсигнальная система моделирует только форму вербальных знаков и управляет речедвижениями, соответствующими алгоритмам развертывания и сочетания знаков. Внутри этой системы не может производиться выбор единицы наглядного кода, а внутри системы УПК нет вербальных форм и алгоритмов их сочетания. Поэтому следует согласиться с мнением проф. Н.И. Жинкина о существовании «специальной зоны, связывающей блоки интеллекта и языка», семантической зоны.

Экспериментально выясняется, что возможно совмещение двух операций по переработке одновременно поступающей разносмысловой и разнокодовой информации (вербальной и изобразительной, вербальной и музыкальной), а также совмещение двух операций по переработке одновременно поступающей разносмысловой однокодовой (вербальной) информации, если совмещаемые сообщения адресуются разным (зрительному и слуховому) анализаторам. В последнем случае (одновременная переработка однокодовой информации, адресованной разным анализаторам) возможно совместить: а) переработку формы одного сообщения в отрыве от его содержания и б) переработку формы другого сообщения в связи с его содержанием. А это означает, что операции над формой не всегда обязательно индуцируют ее декодирование, т. е. «извлечение смысла». Они могут быть направлены на перевод » другие формальные операции, например, в репродукцию формы ручной моторикой (набор, перепечатка на машинке). Поскольку совмещение указанных операций происходит без интерференции, можно предположить, что они осуществляются в разных системах. Если одна из них обязательно предполагает участие речевой моторики, то другая такого участия не предполагает.

Антиципация содержания при рецепции речи и антиципация формы речевого высказывания не синхронизированы. «Далекое упреждение текста, как правило, происходит без реализации всех слов этого предстоящего текста» (Н.И. Жинкин). Реципиент часто отмечает,

¹ См. об этом коде более подробно в 3-й главе.

что знает, «что именно ему собираются сказать» и – гораздо реже – «как будет сказано». Антиципация формы работает на более близком расстоянии. Это значит, что лингвистически описываемые единицы речи не совпадают с единицами УПК, с единицами, «смысла». Несовпадение подтверждается также тем фактом, что некоторому смысловому инварианту соответствует ряд лингвистических единиц (синонимы) разного уровня, а одной лингвистической единице приписывается ряд «смыслов» (полисемия). Кроме того, практически любая лингвистическая единица может получать в контексте любой смысл («он», «шофер», «бас», «полушубок» могут обозначать один и тот же денотат). Следовательно, осмысление текста (как и любой интеллектуальный акт) не может быть сведено к моделированию внешней речи латентными (речевыми же) движениями: вербальный сигнал не имеет готового значения. Далеко не каждый элемент реальной действительности, учитываемый в интеллектуальном действии, назван в языке или подлежит номинации. Его учет, следовательно, не может осуществляться в коде речедвижений.

Глава 3

ПОРОЖДЕНИЕ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

Согласно одному мнению, «те или иные мысли выражаются во внешней речи только потому, что предварительно они оказываются словесно выраженными во внутренней речи» (разрядка моя. – И.Г.) [Беляев 1962: 92]. «Она есть субъективный образ объективной речи» [Там же: 93]. Но в таком случае «субъективно-психическое представление» объективной речи не может быть до выражения оформлено словесно!

Другое мнение заключается в том, что порождение высказывания является стадийным процессом, причем содержательный аспект будущего высказывания конструируется раньше, чем возникают конкретные формы выражения мысли во внешней речи. Естественно, что здесь имеется в виду не «чистое мышление», а кодовые средства, отличные от средств национального языка.

Субъективно предварение высказывания переживается как осознание некоторой интенции, «...когда возникает намерение что-нибудь сказать, но само высказывание еще не осуществлено. По мере того, как на смену намерению выплывают слова, намерение производит им смотр: подходящие слова отбираются, а неподходящие отметаются в сторону. Можно допустить, что по крайней мере добрая треть нашей психической жизни состоит из этих быстро сменяющихся, еще не высказанных намерений или неоформившихся мыслей» [Джемс 1902: 125].

Приведенное описание полувековой давности сменилось, разумеется, более обоснованными научными моделями. Но и в настоящее время «исследований, посвященных планированию речевых действий в чистом виде, практически не существует ввиду крайней методической сложности и отсутствия сколько-нибудь общепринятой модели такого планирования, которая могла бы быть взята за основу [Общее языкознание 1970: 337]. И все же имеется возможность сопоставить уже достигнутые результаты, выявив степень их надежности и объяснительную силу. Работы зарубежных и отечественных исследователей данной и смежных проблем весьма подробно рассмотрены А.А. Леонтьевым. Мы коснемся лишь некоторых положений исследований Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, Е.М. Верещагина и других советских авторов.

Л.С. Выготский, рассматривая мысль как процесс, а не результат, наметил стадии от «смутного желания», «от чувствования задачи» к выражению [1956].

Попытаемся рассмотреть их на двух литературных фактах, которые типизируют подлинные жизненные наблюдения.

Первый отрывок из рассказа Г.И. Успенского как бы подтверждает, что «нельзя высказать ясно того, что не ясно в мыслях». Описывается диалог между врачом и дяконом, которому прописан препарат железа для восстановления тонуса после запоя.

— Да вступает ли?

— Что «вступает ли»? Что такое «вступает»? Что вы толкуете?

— Да железо-то... Точно ли, мол, вступает в это... как его?

— В кровь, что ли? В организм?

Из диалога явствует, что дякон хочет узнать, будет ли лекарство эффективным, но он некомпетентен, у него есть лишь смутное ощущение задачи. Во внешней речи варьируется лексика с «пустыми» (объективно и субъективно) значениями («корень», «точка», «жила») в составе стереотипных конструкций.

В другом отрывке говорит человек, которого община послала в уездный город для изложения претензий. Крестьянин-Г ходок прекрасно знает суть дела, иначе бы его не выбрали ходоком [Успенский Т.2: 251-261]. В отличие от дякона он не только знает, о чем должен говорить, но и осознает несоответствие между пониманием («по мыслям-то выходит») и выражением («с языка-то не слезает», «все не туды»). Можно предположить, что здесь представлен случай, при котором наличная содержательная программа не может реализоваться, причем не всегда на стадии выражения, так как побочные оценочные суждения реализуются совершенно отчетливо. Что касается отмеченных в тексте многоточиями пауз, то они, веро-

ятно, соответствуют – по Верещагину – «невербальным мыслительным операциям», «поиском формы» [1967: 8-9].

Поскольку в акте речевой деятельности «нельзя не антиципировать и будущих фраз составляемого текста, так как иначе потеряется связность изложения» [Жинкин 1963: 269], можно полагать, что в рассматриваемом случае нарушается порядок реализации антиципируемого содержания. Причиной, мешающей адекватному конструированию содержания или развертывания программы, могут быть отрицательные эмоции.

Эмотивная функция является, по-видимому, наиболее древней в филогенезе и первоначальной – в онтогенезе речи. Реализация этой функции, в сущности, не требует членораздельности речи в строгом смысле слова, и одной из главных форм ее является интонация в соединении с теми фонациями, которые производятся и опознаются как соотносящиеся с эмоциональными инвариантами, не зависящими от конкретного языка. «Существуют специальные, – пишет Н.И. Жинкин, – надъязыковые программы, обязательные для каждого говорящего, – это интонационные коммуникативные формы общения.

Речевые действия выражаются не только лексически и грамматически, но и акустически» [Жинкин 1963: 261]. Мы предполагаем, что на первой стадии порождения высказывания потребность сказать нечто, уточняющаяся («опредмечивающаяся», по выражению А.Н. Леонтьева) в мотиве, материализуется, так сказать, не только в смысловой интенции, не только в преднастройке на содержание, но и в определенном эмоциональном плане, объективно проявляющемся в режиме мышц и дыхания; последние конструируют тип интонационной схемы и ритмические характеристики будущего высказывания. Эти структуры, вероятно, более чем другие, типизированы, заполняясь «ближайшим» лексико-грамматическим материалом. Синтаксически он характерен малой глубиной и включает эхолалии на реплики партнера или на собственный внутренний «диалог».

Этап оформления смысла не обязательно включает вербализацию. Моментальные реакции на показания приборов или на уличную ситуацию (в деятельности шофера или летчика), выходящие за рамки простой рефлекторной деятельности, осуществляются за такое время, которое недостаточно, на наш взгляд, для осмысления в коде речедвижений, как бы ни были свернуты их схемы. В сущности и явное мысленное проговаривание, даже проговаривание вслух, отнюдь не всегда представляет самый процесс мышления: при мысленном перемножении двузначных чисел мы представляем пространственное расположение цифр (два столбика) и оперируем их зрительными образами; экспрессивная речь здесь не главный опера-

тор, а вспомогательное средство удержания в памяти зрительных образов.

Есть еще один интересный вопрос, которого мы коснемся в этом разделе, связанный с разрешающими возможностями языка при описании действительности. Это вопрос о соотношении национального языка с языками изобразительных искусств и музыки.

Богатейшая искусствоведческая литература с ее специальными подъязыками не располагает возможностями заменить непосредственное восприятие произведения искусства описаниями на этих языках. Можно, конечно, с помощью разработанных приемов дать описание стиля Хрупкого и описание стиля Руо или Дали так, чтобы читатель в дальнейшем смог отличать полотна этих художников друг от друга. Но дифференциальные признаки художников или скульпторов или музыкантов одного или близких направлений уже не поддаются эффективным описаниям.

Характерно, что и научные сообщения, построенные на базе специальных формализованных языков, включают чисто изобразительные компоненты (схемы, графики, диаграммы и т.п.), которые призваны облегчить усвоение смысла. Предположить, что график «переводится» во внутренней речи на национальный язык, было бы странным: это означало бы перевод конкретного содержания к обобщенному и многозначному, тогда как понимание языкового сообщения как раз и сводится к обратному: «перевод» обобщенного символа в образ. Следовательно, вербализация наглядно воспринимаемого элемента реальности – бесполезная операция. «Ведь если в процессе мышления применяется тот же язык, что и в экспрессивной речи, то происходит мало понятное удвоение... «мышление реализуется не на каком-либо национальном языке, а на особом языке, в вырабатываемом каждым мыслящим человеком» [Жинкин 1966: 104-105]. Этот особый язык был, как известно, назван автором гипотезы «универсально-предметным кодом» (УПК), который А.А. Леонтьевым называется «субъективным кодом». Видимо, существуют общие для всех людей признаки «субъективного кода», своего рода универсалии, соотносящиеся, вероятно, с универсалиями, вскрытыми в процессе исследования самых различных национальных языков¹. По мнению проф. Н.И. Жинкина, универсально-предметный или схемно-предметный код, обнаруженный у разных испытуемых, может быть охарактеризован некоторыми общими чертами. Во-первых, это код не произносимый. Этот код отличает-

¹ Однажды мы имели возможность высказать следующее гипотетическое положение: «Система универсалий (выявленных на материале всех языков) должна указывать на схему (главные характеристики) того кода, при помощи которого осуществляются мыслительные операции носителями любых языков» [Горелов 1969: 7].

ся от всех других тем, что обозначаемое других языков в этом новом коде является вместе с тем и знаком... Поэтому такой код и может быть назван предметным... Такой предметный код представляет собой универсальный язык, с которого возможны переводы на все другие языки.

Язык внутренней речи свободен от избыточности, свойственной всем натуральным языкам. Во внутренней же речи связи предметны, т.е. содержательны, а не формальны... [См: Жинкин 1964: 35-36]. Вообще говоря, соотносящиеся элементы внутренней речи так же должны быть когерентными – наличие одних фрагментов реальности и их признаков предполагает наличие и других, что должно быть отражено и в представлениях о них. По этой причине носитель данного языка может не знать алгоритма развертывания сообщения на ином языке, но, зная алгоритм некоторой смысловой программы, относительно которой он выдвинул гипотезу, он понимает сообщение на неизвестном ему языке – поскольку оно подтверждает или корректирует выдвинутую гипотезу. По сути дела, он понимает сообщение вместе с ситуацией и в зависимости от последней. Вспомним, что на протяжении онтогенеза человек обучился тому, что всякое сообщение привязано к типовой ситуации и к конкретному обстоятельству, вызвавшему акт общения.

Постижение комического эффекта юмористических рисунков без подписей («Без слов») осуществляется явно не через язык, так как ни наименование рисунка, ни вербальное описание во всех подробностях никак не могут заменить изображаемое.

В связи с обсуждаемым представляет интерес музыковедческий анализ – попытка вербальной интерпретации музыкального образа. Постоянно дискутируемый вопрос о программности музыкального произведения должен быть интерпретирован с точки зрения психолингвистической как проблема перевода системы чувственных представлений на язык музыки, а с последнего – на национальный язык.

Согласно одной из точек зрения, в сознании композитора возникает вначале некоторое вербально оформленное содержание. Это содержание вызывает определенное комплексное эмоциональное состояние, сопровождающееся зрительными и слуховыми впечатлениями. Комплекс ассоциируется с системой музыкальных средств выражения, сформированной в процессе специального музыкального обучения и творческой практики¹. Воспринимающий музыку, если он владеет системой музыкальных средств выражения, понимает ее в том смысле, что умеет декодировать музыкальное сообщение, «переводят

¹ Предполагается также, что «музыка является специфической сигнальной системой, возникающей и существующей наряду со второй сигнальной системой» [Рыжкин 1962: 69].

его в чувственные образы и содержательные идеи. Именно в таком плане можно понять разделяемые Д. Кабалевским суждения Г. Пожидаева, рассказывающего о своих впечатлениях о 2-й части Пятой симфонии Чайковского: «...Смутно зародилась в моем воображении аналогия, которая впоследствии развилась до ясно видимой сцены диалога влюбленных – Ромео и Джульетты» [Пожидаев 1964: 30]. По свидетельству того же автора, опрос слушателей Первой симфонии Калининкова показал, что «почти все они увидели в музыке картины родной русской природы» [Там же: 32]. Априорно можно утверждать, что слушатели, не знавшие картин русской природы или шекспировского текста, не смогут «увидеть» в музыке то же, что Пожидаев и опрошенные им слушатели. Однако есть основания полагать, что вызываемые музыкой, скажем, зрительные представления могут у разных людей оказаться тематически близкими. Г. Нейгауз, рассказывая о том, что Ф. Лист сравнил Аллегretto (2-я часть Лунной симфонии) с «цветком между двумя безднами» (между 1-й и 3-й частями), пишет: «Аллегория эта не случайна (ведь можно было сказать: улыбка среди потоков слез или что-нибудь подобное)... Она удивительно точно передает не только дух, но и форму сочинения» [Нейгауз 1967: 39].

Из 15 испытуемых с высшим музыкальным образованием, которым мы предложили словесно интерпретировать зрительные представления, возникающие под влиянием 4 тактов сонаты, цитированных Г. Нейгаузом, только двое довольно близко (семантически) подошли к вышеупомянутой интерпретации («полет мотылька в солнечном луче» и «танец феи на поляне»). Другие говорили о более общих впечатлениях: «легкое движение», «прозрачные образы», «что-то светлое и нежное» и т. п.

Существует, однако, и другое мнение: «Музыка как таковая находится за пределами словесных разъяснений и словесных описаний... Утверждать, что композитор «пытается выразить» эмоцию, которую потом снабжают словесным описанием, означает унижать достоинство слов и музыки» [Музыка и современность 1969: 271]. Слова эти, принадлежащие Игорю Стравинскому, находятся, впрочем, в резком противоречии с другими его же словами: «В «Весне священной» я хотел выразить светлое воскрешение природы, которая возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное, воскрешение зачатия всемирного» [Стравинский 1913: 88]. Целесообразнее, следовательно, обратиться к самому творческому процессу и к спонтанному, не систематизированному, замечаниям музыканта. В этом случае мы окажемся перед лицом качественно различных явлений, которые и ложатся в основу различных подходов к проблеме программности. Один из подходов основан на фиксации чисто му-

зыкального момента, являющегося исходным при порождении музыкального произведения. Игорь Стравинский пишет, что «предвкушение творческого акта сопровождается предчувствием неизвестного, уже захватывающего нас, но еще непонятного». Идея осознается (имеется в виду музыкальная идея, совершенно не связанная с возможностями ее вербального описания) позже, «когда что-то в моей натуре испытывает удовлетворение от некоторого рода слухового представления». Причем, «если музыкальная идея представляет собой мотив (а не только ритмический комплекс – И.Г.), то он, естественно, возникает одновременно со своим звучанием» [Ярустовский 1963: 202]. Речь идет, видимо, о ритмико-мелодическом единстве. Полагаем, что при всех различиях между порождениями речевого и музыкального высказывания описанные стадии последнего вполне соответствуют моментам «потребность» – «мотив» – «интенция» – «антиципация смысла» – «опосредование смысла формой выражения». Очевидно, что в дальнейшем композитор приступает к поискам более точной формы и, наконец, наступает стадия выражения «готового».

Противоположный подход имеет в виду те случаи, когда композитор исходит из действительно готовой программы, данной ему в виде литературного источника или зрительных впечатлений, или же в качестве более или менее подробно разработанного идейного плана (темы). В этом случае вербальное описание будущего музыкального произведения или его вербальная интерпретация в последующем, как правило, имеют место и считаются как бы «законными». По музыкальный образ и вербальное сообщение конструируются в разных кодах и не сводимы друг к другу. Тем не менее, существуют некоторые корреляции, которые заставляют разных композиторов, пишущих музыку на одну и ту же, узко определенную, тему или конкретный текст, подчиняться некоторым общим закономерностям, которые довольно четко усматриваются, если сравнить ряд романсов, написанных разными композиторами на один и тот же текст, или темы колыбельных, темы бури, осеннего увядания, тишины, торжественных шествий и т. д. Если Игорь Стравинский утверждал, что «предрассудок, что между ощущениями композитора и музыкальной нотацией существует система точных корреляционных зависимостей», то он же довольно уверенно пишет, что «по методу Осгуда весьма возможно придти к выводу, что вступление к «Персифалю» скорее «синее», чем «зеленое». Он писал Андрею Римскому-Корсакову: «Последний акт («Петрушки». – И.Г.) складывается интересно... отдает какой-то русской снедью, шами что ли, потом, сапогами (бутылками), гармошкой» [Ярустовский 1963: 266]. Здесь, как видим, речь может идти о несомненных корреляциях ме-

жду зрительными и даже вкусовыми ощущениями, с одной стороны, и музыкальными средствами выражения – с другой. Особый интерес представляет, конечно, вопрос, являются ли эти корреляции «точными» и объективными.

Общепринятая музыкальная терминология представляет в своей значительной части результат соотнесения звукового ощущения с ощущениями и представлениями иного чувственного происхождения, отчего возникает метафорическое значение самого вербального обозначения; приведем некоторые примеры.

Группа «звуко-зрительное» ощущение: музыкальный колорит, звуковая окраска, чистый, светлый, прозрачный, темный, блестящий звук¹.

Группа «звуковое ощущение – пространственное представление»: высокий звук, низкий звук, широкий звук, узкий звук, тонкий, толстый, глубокий, поверхностный, летучий, парящий, угловатый, сходящийся, расходящийся аккорд (знак «крещендо»).

Группа «звуковое – осязательное ощущение»: мягкий, жесткий, твердый, острый звук; холодный, свежий, прохладный, теплый, горячий, пылкий звук; сухой, влажный звук.

Группа «звуковое – вкусовое ощущение»: горький, сладкий звук (мотив, мелодия).

В музыковедческой литературе широко используется также система определений и сравнений, которая, не будучи общеупотребительной, тем не менее рассчитана на понимание читателя-специалиста и не вызывает, как показывает специально проведенный опрос, никаких недоразумений: «Пряная экспрессия танцевальной мелодии», «Терпкость этого интервала», Стравинский в «Поцелуе феи» несколько **приперчивает** гармонию» «Эта музыка сухая, холодная, ясная и пенистая, как шампанское» [Лурия 1964: 134]. Не останавливаясь на хорошо известных идеях Скрябина и его последователей о цветомузыке, подчеркнем, что цвето-тональные соответствия образуют, вероятно, объективно существующую систему, воз-

¹ Наряду с общеупотребительной «эримой» основой многих музыкальных терминов наблюдаются многочисленные окказиональные интерпретации, которые, тем не менее, нельзя назвать произвольными. Если Титта Руффо в своей книге «Парабола моей жизни», [1966: 302]) писал, что он «создал звук голоса б е л ы й», затем «доводил его до колорита, который назвал «с и н и м» и, затем, «усиливая этот звук и закругляя его, стремился к колориту, который назвал к р а с н ы м, а затем – к ч е р н о м у», то совсем недавно, как сообщает ЮНЕСКО, широкое распространение получил метод обучения музыке, разработанный композитором и педагогом Кандидой Тобин (Англия). Говорится, что «метод К. Тобин основан на предпосылке, что каждый звук имеет присущую ему окраску и что семь нот гаммы соответствуют семи цветам солнечного спектра...

На уроках дети сперва играют красками, потом в игру постепенно вводятся отдельные звуки в сочетании с красками, затем «окрашенные» аккорды».

никновение которой мы склонны приписывать ранее обсуждавшемуся явлению синэстезии (по А.Р. Лурия). По нашим данным, полученным от лиц с музыкальным образованием, определенные тональности и отдельные звуки довольно часто соотносятся с определенными же цветами, хотя неслучайность совпадений еще не доказана:

до мажор – белый или светло- желтый;	до – белый (светлый);
соль мажор – розовый;	ре – красный (оранжевый);
ре мажор – зеленый;	ми – голубой (салатный)
	и т. д.

По свидетельствам любого музыкального словаря, терминология содержит общеэмоциональные оценки: грустный, веселый, тревожный, задумчивый, строгий, нервный, бурный и т. д., но немало и явных синэстезии.

Изложенное позволяет, как нам кажется, предположить, что как бы субъективными ни были представления об отражаемых объектах действительности, тип реальности определяется объективными признаками, адекватно воспринятыми и переработанными средствами социально воспитанного (не без взаимодействия с языком) изобразительного кода. Соединение однозначно переработанных признаков в некоторый содержательный комплекс означает фактически подготовку его к номинации с целью: а) внутреннего маркирования типа и б) для сообщения о нем во внешней речи. Если во внутренней речи возникает синэстетический комплекс, то во внешней речи появляется соответствующее словосочетание (например, «терпкий аккорд»).

«Без изобразительного языка внутренней речи, – пишет Н.И. Жинкин, – был бы невозможен никакой натуральный язык, но и без натурального языка деятельность внутренней речи бессмысленна» [Жинкин 1964: 36]. Нам представляется, что без («до») натурального языка внутренняя речь не бессмысленна: в ней обобщаются сходные явления, образуется типовой образец, что позволяет в дальнейшем, анализируя объекты реальности, «отсекать» несущественное от доминирующего признака. Внутренняя речь решает задачу «отличить тождественное от нетождественного», формирует «протопонятия». Все это охватывает те «два дореческих в строгом смысле этапа речевого действия», которые А.А. Леонтьев и Т.В. Рябова характеризуют как «1) вероятностное прогнозирование и 2) достижение обусловленного структурой деятельности в целом «образа результата», т. е. задачи действия» [Леонтьев, Рябова 1970: 29], а также следующий этап – внутренней программы речевого действия, соответствующий конструированию «замысла речи» (Н.И. Жинкин). Будущее высказывание (текст) «расчленяется на иерархическую сеть тем, подтем, субподтем и микротем», причем «далекое упреждение текста

(антиципация. – И.Г.), как правило, происходит без реализации всех слов этого предстоящего текста».

Предполагается, что вначале антиципируется наиболее общая тема, соответствующая наиболее общему по значению 1 знаку языка (который ее может позднее маркировать), например, «грусть», «тревога», «радость», «равнодушие» и т. п. Затем, в процессе разработки и конкретизации, может появиться подтема, которую в дальнейшем знак определит как «тревога за собственную жизнь» или «радость предстоящей встречи». В дальнейшем порождаются собственно тексты, отражающие конкретную ситуацию в той или иной мере полноты. Тот факт, что «далекое упреждение текста, как правило, (мы бы сказали, всегда. – И.Г.) происходит без реализации всех слов этого предстоящего текста»¹, подтверждается на материале сравнения набросков и тезисов будущих статей и выступлений В.И. Ленина с текстами этих статей и выступлений. Ознакомимся коротко с результатами таких сравнений.

План статьи В.И. Ленина «Допарламентский кретинизм» в дальнейшем лег в основу статьи под названием «Игра в парламентаризм» [См: Агаев 1968], написанную в сентябре 1905 года в связи со статьей меньшевика-Парвуса «Социал-демократия и Государственная дума» (№ 110 «Искры» от 23 сентября 1905 г.). Вот план статьи Ленина:

- 1) «Парламентский кретинизм». Маркс в 1848 г.
- 2) «Старые шляпки». «Вперед» № 1, «Две тактики» – Парвус.
- 3) Эволюция Парвуса: подавал надежды на исправление.

Фраза.

После 9/1 – правительство рабочее!! без царя.

После 6/УП1 – Государственная дума без восстания!!

4) Фома и Ерема у Парвуса.

Активный бойкот или сделка?

5) «Соглашение либералов, демократов и социал-демократов».

6) Восстание для защиты Милюкова!!!

7) «Наши избирательные комитеты»!

8) «Законная база политических партий».

9) «Кандидаты – гороховые шуты или «знаменосцы»?

10) «Заставить» освобожденца быть революционером!!!

11) «Чем хуже, тем лучше» или «чем путанное, тем лучше».

12) Тактика немецкой социал-демократии 1905- и 1848. 57 лет. «Поумнели».

13) «Обязать на определенные политические требования».

Соп резолюция конференции.

14) Агитация и организация.

¹ Здесь и на предыдущей странице цитируются отрывки из тезисов сообщения Н.И. Жинкина «Замысел речи» [1970].

- не за восстание?
 - Центральный лозунг?
- NB Восстание.

15) «Восстание – конкретный лозунг».

Если сравнить план статьи с текстом [Агаев 1968: 131], то по объему (кол-во лексических единиц) план намного меньше статьи: 115 слов плана соответствуют 6720 словам статьи.

По структуре плана и статьи видны следующие различия:

Структура плана	Структура статьи
1. Заголовок	1. Заголовок (измененный)
2. Первый пункт	2. Первая часть статьи (с.249-258)
3. Три подпункта	3. 21 абзац
4. 11 подпунктов	4. 2-я часть статьи (с. 258-265)
5. 12-й пункт (2 подпункта)	5. и 6. 26 абзацев
6. 13-15-й подпункты	

Поскольку результат отражения действительности в сознании является собой вначале только самую общую картину с некоторыми опорными семантическими узлами, но еще без необходимых частных, первоначальная форма экстерииоризации есть план, фиксирующий архитектуру будущей статьи. Такой план – не окончательный план экстерииоризации; узлы маркируются единицами, подходящими для самого автора, а не для сообщения. В процессе работы над текстом будет меняться и композиция [См.: Карасев 1968]. Можно сказать, что план статьи представляет собой эллиптический конструктор, наличные элементы которого представлены в тексте плана, а отсутствующие – во внутренней речи. Считаем нужным обратить внимание на большую эмоциональную выразительность пунктов плана по сравнению с текстом статьи.

Подтверждается положение Н.И. Жинкина о том, что «при помощи метаязыковой абстракции... часть натурального языка может быть выделена и представлена как особый язык, один и тот же во всех натуральных языках – это логика» [Жинкин 1964: 37]. Логические суждения, выводимые читателем, из полного текста, созданного также путем осуществления предварительно разработанной логической программы, применялись также и в конструировании плана. Однако они так же переводились отчасти во внутреннюю речь, как и антиципированное содержание будущей статьи. Поэтому по наличному тексту плана нельзя в полной мере судить о логическом развертывании содержания. Воссоздать текст статьи может только сам автор плана.

Как отмечает Н.И. Жинкин, «в механизме языка нет устройства для отбора слов... Но и интеллект не может производить отбор слов, так как в его распоряжении нет памяти слов (словаря)» [1970: 14].

Отсюда делается вывод: «Следует допустить существование специальной зоны, связывающей блоки интеллекта и языка. Это семантическая зона». Надо сказать, что до сих пор не установлено, в каком виде существуют единицы языка в устройстве, называемом «памятью слов».

У журналиста, героя новеллы «Эксперимент профессора Роуса» К. Чапека, память хранила ограниченное число газетных клише на уровне словосочетаний (синтагм), которыми он реагировал немедленно на любой вербальный стимул профессора Роуса.

Умение стереотипно выражать реакции на стереотипные стимулы действительно реальны, и они являются результатом наличия в памяти действительно готовых словосочетаний не только у профессиональных работников прессы, но и у постоянных читателей. Однако обычное школьное упражнение на составление предложения с заданным словом или группой слов осуществляется путем обдуманного конструирования и не порождается совершенно автоматически. Правда, существует, по-видимому, какой-то механизм, позволяющий мгновенно и подсознательно конструировать весьма сложные и крупные мысленные диалоги и монологи; описаны случаи весьма значительных по «смысловому объему» выступлений и разговоров во сне, продолжавшемся всего несколько секунд.

Неизвестно, однако, не является ли такой «разговор» во сне результатом предварительного произвольного запоминания больших текстов.

В обычном случае порождаемый текст корректируется, паузируется и т. п. Он не конструируется из изолированных звуков, так как в зависимости от позиции используется именно необходимый вариант, антиципированный ранее: нарушений на уровне звуков бывает меньше всего (практически не бывает), исключая редкие оговорки¹.

Последнее обстоятельство, по-видимому, говорит также в пользу того, что в «памяти слов» существуют и готовые синтагмы. Но должны существовать и отдельные слова: учащиеся легко решают задачу на придумывание слов с заданными параметрами – начальной, средней или конечной буквой (звуком).

Мы не утверждаем, что слова хранятся в словарной форме. Речь может идти, видимо, о морфемах разного рода, а также о словоформах.

Ученики младших классов также принимают синтагмы (особенно предлогные сочетания) за «слова».

Проблема психолингвистических единиц речи, отличающихся от единиц языка, подробно и перспективно обсуждена А.А. Леонтьевым [1969], который исходит из того, что во внутренней речи имеют

¹ Произнесение ребенком «тартошка» вместо «картошка», равно как и любые другие случаи регрессивной ассимиляции, представляется нам результатом антиципации звукового ряда.

место «два относительно независимых процесса – семантическая реализация и грамматическая реализация» программы будущего высказывания [Леонтьев, Рябова 1970: 30]. Подтверждение правильности этого положения мы находим не только в том, что усвоение смысла высказывания и развертывание нового высказывания с тем же смыслом не зависят от конкретных слов, но и в том, что грамматическая и семантическая программы обладают своими собственными синтаксическими характеристиками.

Обратимся к следующему опыту.

Носителям русского, тюркских (туркменский и киргизский), немецкого, английского, армянского и корейского языков мы предложили с помощью жестов передать смысл ряда предложений. Пары «беседующих» распределялись в первой серии так, что «говорящий» и «слушающий» владели одним и тем же языком, а во второй серии – владели разными языками. Поскольку в обеих сериях были получены, в основном, одинаковые результаты, опишем их однократно.

Предложение «**Ты умеешь играть на скрипке?**» составляется из следующих жестовых смысловых компонентов: «ты» (жест в сторону слушающего) + «играть на скрипке» (движения, имитирующие игру) + вопросительное выражение лица («умеешь?», «играть?», м. б. «слышал, как играли?»). За недостатком места не приводим примеров всех интерпретаций всех десяти предложений.

Как и последующий опрос, опыты показали что случаев непонимания не было, хотя для уточнения реципиент иногда просил жестом или мимикой повторить сообщение или его часть. Общая тенденция смыслового синтаксирования (если, разумеется, жест передает именно эту схему) заключается, видимо, в том, что субъект и объект действия размещаются контактно. Жестовые определения находятся в постпозиции. Язык жестов кажется менее избыточным, чем естественный язык. Дело, конечно, не в отсутствии в нем знаков на уровне флексий или приставок, но модальность, например, выражается одновременно – через мимику и движение; предложные конструкции изображаются «предметно», без различия «основного» и «служебного». Мы предполагаем, что порождение всякого рода эллиптических высказываний опирается (как и их восприятие) на основные семантические узлы программы, часть которых обозначена в речи (жесте), а другая не обозначена, так как учитывается их наличие и непосредственное «участие» в ситуации общения. Однако и полное высказывание также представляет собой наложение внутренней программы на схему внешней речи и на ситуацию, в результате чего происходит выявление конкретного значения любого знака, который вне речевой деятельности остается «вещью в себе». При восстановлении речи у страдающих афазией обнаруживается противопостав-

ленность синтаксиса национального языка синтаксису содержательной программы. По данным А.Р. Лурия [1968] и Т.В. Рябовой [1967], подтвержденным и нашими наблюдениями, внешнеречевое высказывание может более успешно осуществляться больным при условии, что он получает внешние (предметные) опоры, соответствующие некоторым Целостным компонентам предложения. Нам кажется, однако, что каждый опорный элемент соответствует не отдельному слову во всех опытах, а семантическим группам на уровне синтагмы. На вопрос (по картине) «Где стоит лошадь?» больной отвечает: «Лошадь (указывает пальцем на первый элемент предметной схемы) стоит (указывает на второй элемент)... около стога» (указывает третий элемент). Если поправить ответ (показав четыре «опоры») – больной соглашается, однако в дальнейшем могут быть проявлены те же тенденции. Впрочем, многое зависит, видимо, и от умений вычленять слова в предложении вообще, так как ранее говорилось о том, что такое умение и в норме имеется отнюдь не у всех.

Вопрос, каким образом происходит грамматическое оформление высказывания в момент порождения, а также вопрос об овладении структурными правилами данного национального языка, остается невыясненным.

Ясно, что речь не строится по линейному принципу «слева направо», элемент за элементом. Как убедительно показали Д. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам, «для того, чтобы ребенок обучился всем правилам этой последовательности... он должен был бы выслушать приблизительно 30²⁰ предложений в секунду, для того чтобы (при обучении. – И.Г.) воспринять всю информацию, необходимую планирующему для формирования предложения» [Миллер и др. 1965: 158-159]. Кроме того, в различных языках приняты, как известно, дистантные расположения таких компонентов, которые не могут планироваться во внутренней речи раздельно, так как составляют смысловое единство в самом узком значении этого слова. Ясно также, что модель порождающей грамматики Н. Хомского. (весьма, впрочем, удобная для других целей) также не выдерживает испытания (хотя ее одобряет Д. Миллер) [См.: Ревзин 1967: 269], если приложить ее к процессу овладения языком и к отдельному речевому акту [Леонтьев 1969]: «ядерные конструкции» не всегда усваиваются прежде трансформ, высказывание не всегда строится алгоритмически.

В своей критике А.А. Леонтьев весьма конструктивен, предлагая собственную модель, основные черты которой были им обрисованы еще в 1967 году, а подробная характеристика дана двумя годами позднее [Леонтьев 1967, 1969]. На некоторых положениях, ранее не рассматривавшихся и не упоминавшихся, мы остановимся, чтобы в дальнейшем сравнить их с гипотезами Е.М. Верещагина и с нашими

предположениями. Прежде всего отметим, что в предлагаемой А.А. Леонтьевым модели «мы имеем дело не с исследованием протекания речевых процессов, а с исследованием предпосылок такого протекания или, если угодно, – системы существенных факторов этих процессов» [Леонтьев 1969: 263].

Среди других пяти принципов, составляющих методологическую основу предполагаемой модели, А.А. Леонтьев называет эвристический, интерпретируемый в том смысле, что «в зависимости от конкретной реальной ситуации» говорящий «может избрать тот путь психолингвистического порождения высказывания, который в данных обстоятельствах является оптимальным. Именно этим объясняется парадоксальный факт, что находят одинаково убедительное экспериментальное подтверждение психолингвистические модели, заведомо противоречащие друг другу» (имеются в виду модели НС и ТМ – трансформационная модель. – И.Г.) [Там же: 264]. Считая эвристический принцип весьма важным и ценным «в себе», а не только в качестве объяснения упомянутого парадоксального факта, подчеркнем, что обе модели (НС и ТМ) не находят никакого убедительного подтверждения при попытке приложить их к исследованию процесса становления речи.

А. А. Леонтьев констатирует «принципиальное различие механизмов, обеспечивающих порождение синтаксической конструкции, с одной стороны, и ее лексическое «наполнение» – с другой. Если первый из этих механизмов носит конструктивный характер... то другой, по-видимому, скорее является в своей основе вероятностным» [Леонтьев 1969: 267].

Касаясь далее механизма выбора слов, автор предлагает для характеристики этапа поиска слова три группы критериев: «ассоциативные (семантические)», «звуковые» и «субъективно-вероятные» признаки [Там же: 268].

Речевая деятельность не ограничивается программированием и выражением некоторого содержания в вербальной форме, появляется одновременно частью паралингвистического поведения¹. Проиллюстрируем сказанное. В повести А. П. Чехова «Бабье царство» есть эпизод, в котором описывается беседа персонажей – Жужелицы и Анны Акимовны – в присутствии Варварушки:

«В ответ на эти намеки Варварушка только вздохнула и посмотрела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение. – Есть у меня одна знакомая Девушка такая, врагиня моя лютая, – продолжала Жужелица, оглядывая всех с торжеством. – Тоже все вздыхает да на образа смотрит дьяволица» [Чехов Т.2: 376].

¹ Повторяем, что «паралингвистический» понимается нами как авербальный.

Ясно, что Жужелица высказалась именно так и высказала именно то, что показано в тексте, только после того, как заметила, что Варварушка «вздыхнула и посмотрела на образ». Факт, зрительно воспринятый, является стимулом данного сообщения, необходимым ситуативным условием (СУ), а результат учета СУ – паралингвистический компонент речи (ПК). Учел сложившихся между персонажами отношений – это также СУ, а результат такого учета – ПК.

Несомненно имело бы смысл дать типологию СУ и ПК, без чего не может быть полно описано доречевое, собственно речевое и послеречевое в коммуникативном акте.

Переходя к обсуждению весьма важной для исследуемого вопроса работы Е.М. Верещагина, начнем с той ее части, где рассматриваются результаты экспериментов А.Н. Соколова. «Внутренняя речь, – пишет автор, – будучи ценна сама по себе (ранее говорилось, что она «может быть целью порождения». – И.Г.), может не переходить во внешнюю (или звучащую) речь». И далее: «Видимо, не следует думать, что внутренняя речь имеет своим субстратом именно моторику и поэтому проявляет себя в речедвижениях или импульсации речедвижений». Во всяком случае, Л.С. Выготский не предполагал, что внутренняя речь проявляет себя именно так [Верещагин 1969: 21, 84]. Ссылаясь далее на ряд исследований, автор приходит к выводу, что они «ставят под сомнение ценность работ А.Н. Соколова», так как регистрируемые с помощью ЭМГ активные колебания языка и губ «однозначно не связаны с внутренней речью» и не являются «скрытой артикуляцией» [Там же: 86].

Е.М. Верещагин предлагает (вслед за Х. Джексоном, А.Р. Лурия и др.) «принять в качестве исходного допущения, что порождение речи – это вербализация» [Там же: 12], т.е. процесс от мыслимого содержания, выраженного средствами какого-то кода внутренней речи, к внешней речи. Процесс этот растянутый, разумеется, во времени, не поддается непосредственному наблюдению и поэтому называется латентным. Автор считает далее, что с началом произнесения первого звука (во внешней речи) латентный процесс не прекращается, а напротив, продолжается, манифестируясь на протяжении всей фразы (следует, очевидно, уточнить, что понимается под «фразой» – то же, что составляет понятие «предложение», или то, что определяется как «фонетическая единица»). Мы думаем, что в каждом конкретном случае вербализация осуществляется по-разному в зависимости от уровня знака языка, от субъективной готовности к речи вообще и к данному речевому акту в частности. Так, поскольку различные формы хезитации проявляются чаще внутри относительно свободного словосочетания, чем внутри устойчивого, то в общем случае вербализация протекает, видимо, тем быстрее, чем тривиальнее способ

оформления данного смысла. Следовательно, говоря «тривиальный способ оформления», можно и нужно подразумевать либо «нормативную тривиальность» (или «узкую тривиальность»), либо «субъективную тривиальность», связанную с индивидуальными особенностями речи. Для Е.М. Верещагина удобнее оперировать термином «детерминация», понимаемым как «вероятность совместного появления двух и более единиц выражения, равную единице» [Там же: 56], и термином «поиск», при котором «одна актуализировавшаяся единица выражения приводит к актуализации вполне определенной другой с вероятностью, меньшей единицы». В нашем понимании «тривиальность» объединяет и детерминацию и поиск, если последний характеризуется вероятностью, достаточно близкой к единице. Собственно «поиском» мы предпочитаем называть операцию, которая более радикально противопоставляется детерминации. Предложение типа «зеленые идеи бешено спят» порождается, на наш взгляд, способом поиска в сфере семантической сочетаемости, хотя и здесь очевидно осуществление принципа детерминации: «-ые» детерминирует появление «-и», «-ы», или «-а», или других показателей множественного числа имени существительного. Но «зеленые листья редко опадают» – это пример тривиального оформления соответствующего содержания, тогда как «юные дети ветвей крепко держатся за своих матерей» – пример нетривиального оформления той же мысли, пример применения «поиска». Совершенно очевидно, что принцип детерминации осуществляется неосознанно, а контроль за выражением в плане грамматическом протекает «пост фактум» (оговорка исправляется, а не предупреждается). Селекция определяется автором как явление, сопровождающееся «сознательным и волевым усилием говорящего». Этим самым селекция отличается «от иных этапов поиска формы выражения при движении от мысли к тексту» [Верещагин 1969: 29]. Отсюда, видимо, следует, что поиск формы, выражения включает этап и неосознаваемых действий. При амнезии слова этап селекции хорошо прослеживается либо в формах хезитации, либо в форме перебора близких (по «семантическому полю») единиц. Так, автор приводит пример селекции в речевом акте афатика: «Это к обеду... не ложка, не вилка... Это нож». Селекцией, очевидно, можно считать также и выбор выразительных возможностей из ряда приблизительных семантических эквивалентов выражения одного и того же смысла. Имеет смысл, видимо, предполагать, что этап селекции распадается на ряд стадий, охватывающих различные уровни общей семантической программы. В обычном случае вряд ли имеет смысл говорить об осознанности этапа селекции, ибо селекция заканчивается до исполнения артикуляторной программы, осуществление которой уже подлежит друго-

му этапу – контролю. Последний возможен только благодаря наличию слухо-моторного анализатора (в норме). Если афатик отвергает вариант номинации «ложка или «вилка», то только потому, что он осуществляет слухо-моторный контроль. Таким образом, компоненты селекции и контроля функционируют попеременно. Если бы контроль всякий раз опережал бы селекцию, то ничего, кроме зияний в речевом акте (в случае поиска, конечно) не обнаружилось бы. По неверный вариант выражается во внешней речи именно потому, что селекция проводится до контроля, причем неосознанно, тогда как акт контроля всегда следует за селекцией (иначе нечего было бы контролировать) и всегда в той или иной мере осознан.

В ряде случаев (предварительное обдумывание, предварительное проговаривание, высказывания) можно выявить ярко выраженные этапы селекции и контроля, которые следуют друг за другом всегда в одной и той же последовательности. Но эта селекция качественно иная по сравнению с той, которая производится в процессе вербализации. Переход от смысловой единицы предметного кода в речевую единицу латентен, неосознан и подлежит осознанному контролю через слуховой анализатор уже после того, как он совершен в исполнительной (артикуляторной) части. Поэтому нам трудно согласиться с мнением Е.М. Верещагина, что «нет оснований представлять себе отношение этапа контроля к этапу селекции в виде следования (однократного или многократного). Видимо, они оба не отделены друг от друга во времени, т. е. проходят параллельно» [Там же: 31].

Соглашаясь с возможностью «интерпретировать процессы селекции и контроля в терминах обратной афферентации или обратной связи», Е.М. Верещагин должен признать именно определенный порядок следования разнородных по функции процессов селекции и контроля: любая коррективная импульсация есть ответ на сигнал относительно уже достигнутого результата на пути к цели. Н. Винер пишет: «Во избежание опасностей... каждый эффектор... соединяется с контрольными приборами на сигнальном посту, которые сообщают сигнаlistsу о действительном состоянии и работе эффектора... Заметим, что в этой системе человек участвует в цепи прямой и обратной передачи информации, в цепи, которую мы далее будем называть цепью обратной связи» [Винер 1968: 159]. Существует также особый вид обратной связи, которую Н. Винер называет «упреждающей», а П.К. Анохин – «опережающей афферентацией». Она формируется в системах, в которых «эффектор имеет существенно запаздывающую характеристику» и, следовательно, «компенсатор должен быть упреждающим» [Там же: 178]. Если, ссылаясь на Н. Винера и П.К. Анохина, Е.М. Верещагин имеет в виду именно этот тип, связанный не с достигнутым результатом, а

с образом «конечной цели», то тогда следует признать, что компоненты селекции и контроля осуществляются либо в рамках установки, протекающей бессознательно, либо – бессознательно же – на основе генетически наследуемого механизма. Любая иная интерпретация окажется логически несостоятельной, добавим, впрочем, что порождение нарушенных (по форме) высказываний (как следствие пропуска этапов контроля и селекции) «не может считаться обычным» и «наблюдаются при отвлечении внимания говорящего, при быстром темпе речи, при утомленности говорящего, при его соматическом нездоровье» а также «при спонтанной речи во время «гонки идеи» [Верецагин 1969: 32]. Однако круг названных причин настолько широк, а их диагностика так затруднительна, что, на наш взгляд, порождение высказывания с различного рода нарушениями формы – обычное явление, систематически проявляющееся при любом более или менее продолжительном сообщении. В пользу этого утверждения свидетельствуют не только наблюдения, но и ряд обоснованных предположений, среди которых мы хотели бы назвать следующие:

1. Говорящий озабочен более всего информацией в содержательном аспекте. Его высказывание должно в первую очередь обеспечить коммуникативную цель. Поскольку такая цель достигается – при соблюдении правильной формы или с нарушениями последней в определенных пределах – он считает свою задачу выполненной.

2. Значение нормы не обеспечивает ее соблюдения. Речевой навык формируется на основе микроузуса семьи, возрастной, профессиональной и др. групп. Дальнейшее совершенствование речи, приближение ее к норме или превращение в нормативную достигается опять-таки в процессе употребления, а не на основе знаний.

- 3 В речевой деятельности, как и во всякой другой, соблюдается принцип экономии усилия. При соблюдении указанного принципа усилия экономятся – по причинам, отмеченным в 1 и 2 – именно на отвлечении внимания к форме высказывания.

4. В повседневной речи ощущение автоматизированности речевого навыка в плане грамматическом (вследствие детерминации) переносится субъективно практически на любое порождаемое высказывание в целом, включая и его содержательный аспект. Поэтому оценка говорящим собственной речи (положительно подкрепляемой пониманием ее окружающими) далеко не всегда критична: носитель языка чаще высказывается с уверенностью в правильности того, что и как он говорит. В патологических случаях (речевые расстройства) чувство неуверенности, неконтактность, комплекс неполноценности – все это выявляется как раз в качестве признака патологии речи, противостоящему свойствам нормального речевого поведения.

Исследуя речь билингвов в качестве лингвистического показателя, помогающего изучению латентного процесса, Е.М. Верещагин отмечает явление языковой мены. Последнее характеризуется как мена плана содержания и плана выражения; «поскольку оба плана связаны между собой отношением коммутации – не может быть плана мены содержания без мены плана выражения, как не может быть мены плана выражения, которая не сопровождалась бы меной плана содержания» [Там же: 36]. Автор при этом исходит из бесспорного положения о кодовой двусторонней сущности знака языка. Однако это общее положение, верное для статической системы, в динамике речевой деятельности сплошь и рядом не подтверждается. Во-первых, один и тот же денотат может быть в реальном одноязычном тексте назван самыми различными (в абсолютном значении) контекстуальными синонимами. Во-вторых, многие отрезки речи на уровне отдельных слов или словосочетаний могут решительно ничего не обозначать (слова-паразиты, экспрессивные включения), т. е. не проявлять своей двусторонней сущности. В-третьих, знак любого уровня может быть фонетически или грамматически искажен (детская речь, речь иноязычных), оставаясь обозначением избранного денотата, достаточно понятным для окружающих благол\даря контексту или речевой ситуации. В-четвертых, естественное для каждого языка явление изменения значения знака при сохранении формы, а также явления омонимии и синонимии, деэтимологизации и – обратной ему – вторичной этимологизации («Кочевник мне ответил: Коч! И это означало «прочь!») – все эти явления свидетельствуют как раз об автономности планов выражения и содержания, а не об их неразрывности. В результате язык, с одной стороны, поддерживается в состоянии коммуникативной пригодности, а с другой – непрерывно развивается и видоизменяется, причем изменение планов содержания происходит гораздо скорее, чем изменение планов выражения.

Первая из трех гипотез, выдвигаемых Е.М. Верещагиным, гласит: «Некоторые языковые единицы, содержащиеся в лингвистических описаниях, психически реальны» [Там же: 43].

При этом под психической реальностью понимается «возможность предсказать с ее помощью наблюдаемое на практике речевое поведение» [Там же: 44]. Психически реальные единицы могут быть осознаваемыми и неосознаваемыми. Автор считает, что осознаваемая единица психически реальна, «если любой носитель данного языка безусловно может их повторить». Отметим, что повторить вслед за экспериментатором какую-либо единицу языка (звук, слог, слово, синтагму, предложение). любой носитель языка может и без осознания данного отрезка в качестве более или менее самостоя-

тельной единицы. Это подтверждается, в частности, тем, что дети и взрослые малограмотные носители языка далеко не всегда могут правильно членить предложения на слова, а слова — на слоги или отдельные звуки¹.

С другой стороны, значение словообразующих элементов интуитивно ясно любому носителю данного языка, включая детей, которые производят самостоятельно слова типа «самее», «лошада» (К. Чуковский).

Иными словами, ребенок не сможет интерпретировать значение -е, -а, -ище, -ик и т.п., но активно различает «лошадка— лошадa», «сам — самее», «дом — домик». Таким образом, следовало бы, на наш взгляд, говорить о безусловной психической реальности некоторых лингвистических единиц лишь на уровне слова (не всегда!), синтагмы, предложения и сообщения, если мы непременно хотим связать понятия психической реальности и осознанности. В противном случае оба критерия коррелируют не всегда. Что касается психической реальности синтаксических моделей свертывания, разворачивания и трансформационных моделей, то она весьма обстоятельно изучалась и подтверждена. Е.М. Верещагин приводит соответствующие данные. Главным доказательством психической реальности (но не осознанности в строгом смысле слова) является умение носителей языка (независимо от образовательного уровня) образовывать соответствующие конструкции той или иной модели, предложенной в качестве образца в реальном предложении, т.е. по аналогии.

Вторая гипотеза Е.М. Верещагина: «В неосознаваемый период латентного процесса актуализируются наиболее устойчивые единицы выражения» [1969: 46]. Автор называет «единицами выражения» такой «психический коррелят языковой единицы... психическая реальность которой доказана» [Там же: 46], а «под устойчивостью» понимается прочность связи (зависящей от давности возникновения и частотности актуализации) между понятием и лексемой [Там же: 48-49]. Сравнивая сочетания «семантическая протяженность» и

¹ Вне контекста слог для детей лишен семантической информации, и без специального обучения слово из слогов не строится. Это хорошо иллюстрируется в детском стихотворении:

Что за — «ли»?
Что за — «мон»?
В звуках нету смысла.
Но едва шепнут: «Ли-мон...»,
Сразу станет кисло.

Шестилетним детям мы предлагали вопросы типа «Есть ли слова «диваном», «бублике», «шара»?» — и неизменно получали отрицательные ответы с пояснениями: «Такого слова нет, есть «диван». Еще есть слово «под диваном». Следовательно, словоформа, не употребляемая в изолированном виде, не осознается как психически реальная единица, но может быть преобразована и приведена к последней.

«доброе утро», автор, естественно, полагает, что первое обладает меньшей устойчивостью, чем второе, в силу чего актуализация первого сочетания во внешней речи требует волевых и осознанных усилий (на этапах контроля и селекции), а второе производится автоматизирование. Далее автор говорит, что поскольку творческая мысль уникальна, она по логике вещей никак не оказывается заранее привязанной к какой-то определенной форме выражения [Там же: 47].

Это не совсем так. Уникальность мысли (т.е. качество содержания) не предполагает уникальности формы, как уникальность формы не предполагает уникальности мысли. Уникальная мысль, отражающая научно подтвержденный факт, и ложное суждение могут укладываться в одну и ту же модель с одним и тем же лексическим составом: 1. «Земля вращается вокруг солнца» и 2. «Солнце вращается вокруг земли».

Выражение любой мысли (включая самый уникальный парадокс) именно заранее привязано к определенной форме. Вспомним концовку прекрасного стихотворения Леонида Мартынова:

Примерзло яблоко к поверхности лотка,
В киосках не осталось ни цветка.

.....
Все это значит, что весна близка.

Неожиданность последней строчки объясняется исключительно только контекстом и достигается через композиционный эффект, а не через уникальную форму. Однако положение о том, что «мысль способная иметь ряд выражений, проходит этап поисков формы выражения» [Там же: 47], совершенно правильно.

Мнение Е.М. Верещагина о неосознанности этапа поиска (этап селекции, как мы видели раньше, квалифицируется автором как осознанный) не совсем ясно, так как момент поиска нужной формы выражения манифестируется во внешней речи наиболее явно. Другое дело, что никто пока не может знать, как осуществляется поиск. Внешне этот процесс показан Е.М. Верещагиным в ходе экспериментов, во время которые билингам предъявлялись различные изображения, стимулирующие высказывания. Поскольку изображались хорошо известные предметы, время (пауза) между моментом предъявления и моментом высказывания могло объективировать этап поиска формы выражения. Верно и то, что «обычно (т.е. не всегда. — И.Г.) узнавание, т.е. актуализация понятия, сопровождается номинацией предмета; обычно этапы узнавания (актуализации мысли) и номинации (актуализации единицы выражения) следуют друг за другом» (разрядка моя. — И.Г.) [Верещагин 1969: 50]. Следует, однако, заметить, что вообще узнавание не всегда есть актуализация понятия (могут быть узнаны объекты неизвестного назначения, быв-

шие ранее в опыте) и не всегда узнавание сопровождается номинацией (даже в отношении объектов, знакомых по назначению). В зависимости от того, какую единицу выражения (соответствующую единице первого или второго языка билингвов) включали информанты Е.М. Верещагина в свои высказывания в связи с предъявленным изображением, автор мог судить о степени устойчивости соответствующей единицы. Он делает вывод, что «устойчивость и только она определяет единицу выражения в неосознаваемом процессе латентного периода. Устойчивость оказывается сильнее как установки, так и границ динамического стереотипа» [Там же: 52]. Заметим, что установки на высказывания в рамках определенного языка (русского или немецкого) экспериментатором создавались через инструкцию и что в группе монолингвов номинация не вызывала никаких трудностей. Можно предположить, что если бы установка создавалась предварительным, достаточно длинным, периодом общения на русском языке, то информанты (советские немцы) успешнее справлялись бы с задачами номинации типа («обезьяна», «часы», «самолет»). Однако цитированное выше положение несколько не теряет своей ценности. Жаль только, что примеры высказываний информантов иллюстрировались только на уровне слов родного (немецкого) языка, а не на уровне целых предложений. Впрочем, как нам кажется, речь двуязычных, живущих в условиях постоянных языковых контактов с носителями второго языка, составляющих большинство (как в указанном случае), характеризуется особой системой смешанных стереотипов, пронизывающих, как показал неоднократно автор в других работах, все сферы языка: фонетику, лексику, грамматику.

Третья гипотеза формулируется автором следующим образом: «В неосознаваемый период латентного процесса порождения речи поиск единицы выражения (по правилу устойчивости) осуществляется только в узлах (т.е. на уровне модели или морфа), а в ветвях (т.е. в операциях развертывания высшей или промежуточной модели) действует детерминация» [Там же: 56]

Например, актуализация «дедушка и бабушка» предполагает облигаторно появление «-ят» после морфа «люб-», а «-ят» – появление «-го» при «маленьк» и «-а» при «внук-».

В качестве важнейших следствий из третьей гипотезы назовем два:

1. «Порождение речи не сводится к семантическому принципу, поскольку детерминация автоматически расчленяет мысль на ряд смыслов, т. е. модифицирует ее» [Там же: 74]

2. «Латентный процесс и звучащая речь не исключают друг друга, латентный процесс опережает звучащую речь, но не прекращается с

ее началом». Ясно, что при этом «не устанавливается лишь двоякого следования осознаваемого и неосознаваемого периодов: они чередуются большое число раз» [Там же: 75]. И, наконец, «контроль и возможная селекция сопровождают актуализацию каждого грамматически оформленного слова» [Там же: 75].

Если первое следствие представляется нам хорошо обоснованным, как и главная часть второго, то заключающая мысль верна только для тех случаев порождения речи, в которых мы наблюдаем исправление говорящим допускаемых им нарушений формы выражения, если мы знаем, что он компетентен в исправлениях.

Но из первого из изложенных следствий вытекает, на наш взгляд, опровержение ранее приведенного автором тезиса: «уникальная мысль по логике вещей никак не оказывает заранее привязанной к какой-то определенной форме выражения», поскольку при ее выражении действует детерминант «автоматически расчленяющая мысль» и «модифицирующая ее». Творческий характер речи, таким образом, констатируете не на уровне операции развертывания формы, пригодной для внешнего выражения, а на уровне семантического развертывания, замысла, т.е. во внутренней речи, до начала поиска единиц выражения.

Из словаря, зафиксированного в вербальной памяти, извлекаются либо готовые единицы, либо конструируются относительно новые (путем комбинации элементов готовых единиц). Ими заполняется готовая схема программы. Новая мысль (в строгом значении слова) есть новая семантическая программа, ранее не бывшая известной. Новизна мысли проявляется во внешней речи не путем создания новой синтаксической модели и не способом нового лексемного сочетания, а через новую композицию ранее известных семантических узлов в рамках ранее известной конструкции (синтаксической модели); примером тому могут служить парадоксы Уайльда.

Физиологически программирование высказывания осуществляется, как показал Н.И. Жинкин, корковой импульсацией сигнализирующей речедвигательному аппарату о предстоящем высказывании. «Задолго до установки языка и фонации» глотка «уже становится в определенное положение, упреждая произнесение» [Жинкин 1956: 56].

Отсюда следует, что замысел речи конструируется в коре раньше подачи сигналов на речедвигательный анализатор гораздо раньше начала работы языка, до появления речедвижений, которые фиксируются по методике А.Н. Соколова. Было бы очень заманчиво получить возможность фиксации речевых движений глотки и дыхательных органов («Механизм речевого дыхания, — пишет Н.И. Жинкин, — резко отличается от механизма спокойного дыхания») в момент решения интеллектуальных задач. Если бы это удалось сделать (или, напротив, речевые движения не были бы обна-

ружены), вопрос о роли речевых кинестезии в процессе мышления был бы решен более определенно, хотя и не до конца. Дело в том, что в условиях опытов фиксации латентных речедвижений испытуемые знают (или предполагают), что их будут опрашивать по результатам решения задач. У них создается установка на речевое общение с экспериментатором, чем и может объясняться латентная активность речедвигательного устройства. Мы предполагаем поэтому, что то, что интерпретируется в качестве латентных речедвижений, может быть зафиксировано и у страдающих афазией, а возможно, и у глухонемых (если, например, органы речи активизируются не только в собственно речевом акте, но и в состоянии эмоциональной реакции), которые не способны в данный момент к речевой артикуляции. Мы склонны предполагать, что ЭМГ, снимаемые по методике А.Н. Соколова, указывают не на собственно речедвижения, а на общую активизацию речедвигательного анализатора, ибо «потребность что-либо сказать другому, определенность ситуации разговора и соответственно этому эмоциональные приспособления внутренней среды организма возникают раньше, чем начинается реплика... все это тянет, увлекает за собой речевой поток и накладывает на него свой особый, интонационный отпечаток. Здесь и вступает в действие произвольно неуправляемая речевая интонация» [Жинкин 1956: 267]. Но неуправляемыми (произвольно) являются и модуляции глотки. Они «не подчиняются словесной инструкции» [Там же: 256].

Собственно речевые движения, напротив, произвольны, хотя и не первичны, а поэтому эксперименты, призванные выявить механизмы внутренней речи, должны ставиться или в условиях возможного общения, или в условиях, исключающих общение.

Весьма интересные данные о взаимодействии гладких мышц (не управляемых произвольно) с поперечно-полосатыми (выполняющими произвольные движения) содержатся в работе В.П. Морозова [1967]. Возможно, что эти данные помогут объяснить непроизвольную (а не речевую, т.е. произвольную) активность, принимаемую за латентные речедвижения.

Резюмируя рассмотрение проблемы порождения высказывания, можно прийти к следующим выводам, большая часть которых совпадает с гипотезами Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева и Е.М. Верещагина.

1. Содержание будущего высказывания конструируется раньше формы его выражения в речи.

2. Программа смыслового развертывания по своей структуре не является зависимой от синтаксиса конкретного национального языка, а единицы «смыслов» — от единиц национального языка.

3. Конструирование формы выражения заключается в использовании уже имеющихся в памяти готовых знаков разных уровней или в комбинации их.

4. Конструирование формы проходит этап поиска через этапы селекции и контроля.

5. Селекция и контроль осуществляются непрерывно в продолжение всего процесса высказывания – с разной степенью эффективности.

6. Существует не наблюдаемый во внешней речи процесс поиска формы, включая селекцию и контроль. Об этом процессе можно судить по выходу речевой продукции, не требующей коррекции.

7. Существует наблюдаемый во внешней речи процесс поиска формы, манифестирующий в исправляемых нарушениях, зияниях, сатияциях, гезитациях и пр.

8. Говорящий антиципирует содержание будущего высказывания, а также – «на более близкое расстояние» – форму его выражения. Антиципация содержания не зависит от антиципации формы. Оба процесса антиципации не синхронизированы, реализуются по взаимодействию, но автономно.

9. Речевая моторика не является базальным компонентом мыслительного акта, предваряющим порождение речи или обязательно участвующим в рецепции речи.

10. Базальным компонентом речевой деятельности является паралингвистический компонент, обеспечивающий мотивационный момент, момент интенции, антиципацию содержания, изменения семантического и формального планов выражения, оценку ситуативных условий общения, личностных особенностей партнера, осмысление всего, что дается в собственно тексте и вне его.

11. Паралингвистические компоненты выявляются в тексте высказывания.

Глава 4

О ПРОЦЕССАХ НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РЕЧИ

Раздел 1. О речевых расстройствах

Расстройства темпа речи (тахилалия и брадилалия) интересны для нас тем, что при них нормально воспринимается чужая речь на слух (другие интеллектуальные характеристики также в пределах нормы). Если бы усвоение чужой речи страдающим брадилалией (замедленный темп) проходило в коде речедвижений, то больной не успевал бы обрабатывать поступающую информацию. При ускоренной и неразборчивой речи (тахилалия) понимание чужой речи также должно было бы вызвать затруднения, чего на деле нет. Значит, слу-

ховой анализатор самостоятельно, без обязательного участия речедвигательного обеспечивает понимание.

При **заикании** (логоневрозе) понимание чужой речи также не нарушается и не приспособляется к режиму страдающего логоневрозом. Следовательно, восприятие речи на слух осуществляется не в коде обычной речевой моторики. Интеллект при этом сохраняется.

Расстройства произношения. При функциональной дислалии, наблюдаемой у детей 2-6 лет, бывает резко нарушен фонематический слух, одни звуки часто заменяются другими (согласные), отсутствуют противопоставления по звонкости – глухости, твердости – мягкости и др. Восприятие чужой речи на слух при этом не страдает, т.е. понимание чужой речи не зависит от возможного качества проговаривания. Интеллект сохраняется.

При механической дислалии, в частности, при ринолалии страдает произношение как согласных, так и гласных звуков. Речь ринолаликов может быть совсем непонятной для других; т.е. не выполняет коммуникативной функции. Однако восприятие чужой речи не нарушено, а наблюдающаяся задержка в интеллектуальном развитии не говорит о грубых нарушениях и объясняется тем, что ринолалики вообще избегают контактов.

Близка к ринолалии (по внешнему типу) дизартрия, при которой также резко нарушена коммуникативная функция речи. Точнее, коммуникативная функция, как и при ринолалии, сохраняется как односторонне-направленная (к больному). Однако, как отмечают специалисты [Ляпидевский, Гриншпун 1969: 46], «интеллект детей дизартрией иногда бывает снижен», **понимание чужой речи** (в соответствующих пределах) сохраняется – т.е. осуществляется не собственно моторикой больного.

При **алалии**, относящейся (как и афазия) к полиморфным речевым расстройствам, «нарушена как номинативная, так и коммуникативная функция речи, хотя потребности в общении у таких детей часто сохранена» [Там же: 47]. Следовательно, несмотря на огромные трудности интеллектуального развития в условиях данного заболевания сохраняются не только потребности, но и способности к знаковому поведению. Восприятие чужой речи вполне доступно. Чрезвычайно интересно, что, как указывают авторы рассматриваемой работы, «у детей с алалией отмечается спонтанное речевое развитие... в первую очередь развивается номинативная функция речи за счет слов – названий окружающих предметов, но коммуникативная функция речи без специального обучения фактически не развивается». Этот факт – еще одно свидетельство в пользу того, что не все функции могли (или даже должны были) выявляться в языке наших предков. Авторы не указывают на эмотивную функ-

цию звуковой продукции алаликов, которая, конечно же, развивается еще ранее номинативной.

Афазия. Обобщая различные виды афазий, авторы пишут «При афазии полностью распадается коммуникативная функция речи, нарушается внутренняя и письменная речь, вряд случаев страдает интеллект» (разрядка моя. – И.Г.) [Там же]. Иными словами, расстройства речи при афазиях далеко не всегда связаны с интеллектуальными. Но поскольку при моторной афазии сохраняется восприятие чужой речи, а при сенсорной – речевая моторика самого больного (при отсутствии понимания чужой речи), то мы еще раз решаемся утверждать на основании изложенного, что речевая моторика не является ни универсальным, ни обязательным базальным компонентом «специфически человеческой» умственной деятельности.

Предпринятый выше краткий обзор речевых расстройств представляется полезным с той точки зрения, что он позволяет провести некоторые параллели между двумя различными по временным параметрам и по другим характеристикам процессами – процессом становления речи в онтогенезе (включая развитие паталогических состояний), с одной стороны, и процессом порождения речи (при кратковременном, обычно, акте отдельного высказывания) – с другой.

Все указанные процессы характеризуются общностью движения от мысли (результат интеллектуальной деятельности) к речевому способу ее выражения.

Все указанные процессы характеризуются фазовостью или стадийностью, причем фаза формирования мысли или интеллектуальной способности в широком смысле предшествует фазе или стадии речевой деятельности, подготавливает внешне выражаемую знаковую деятельность вообще.

Стадийность процесса порождения высказывания и речи в целом хорошо подтверждается наблюдениями над афазией, обучением речи глухонемых и обучением второму языку. Некоторые афазиологи допускают, на наш взгляд, существенную ошибку, пытаясь по степени сохранности речи судить о степени сохранности интеллекта. Эта ошибка аналогична, по существу, другой – попыткам определять уровень интеллекта по речевым тестам (для квалификации способностей профессиональной ориентации и пр.). То же самое наблюдается в непрекращающейся дискуссии относительно интеллектуального развития глухонемых: обедненность средств выражения принимают за примитивность замысла. Впрочем, здесь наблюдаются и недоразумения. Ж.И. Шиф, полемизируя с американскими исследователями Г. Майкелбастом и Г. Фуртом, считает, что, с одной стороны, Г. Майкелбаст «не принимает в достаточной мере во внимание ни длительного развития мышления без влияния

речи, ни компенсаторного воздействия обучения языку», а с другой – что «Г. Фурт противопоставляет речевой символической «символы мышления», не учитывая того, что «символы мышления» вырабатываются на речевой основе» (разрядка моя. – И.Г.) [Шиф 1968: 6-8]. Но ведь если возможно «длительное развитие мышления без влияния речи», то нельзя же приписывать речи роль единственного конструктора «символов мышления»!

Говоря обобщенно, состояние афазии, глухонемой и необученности второму языку может быть сравнимо с фазой готовности замысла при невозможности его реализации в акте речевой деятельности. Другой вопрос состоит в том, почему именно невозможна речь в каждом конкретном случае. Необученный языку глухонемой лишен языковой компетенции вообще, у афатика (в случае тотальной афазии) полное нарушение может быть временным, у лица, приступающего к овладению вторым языком, нет лишь соответствующей модификации второй сигнальной системы. Разумеется, отсутствие слуха у глухонемого не может не отражаться на деятельности сенсорной сферы, а через нее на интеллекте.

Поэтому глухонемой, обучившийся языку, не сможет в полной мере понять блоковские, например, строки:

Заглушить рокотание моря
Соловиная песнь не вольна!

как слепой не усвоит до конца «Есть демон утра. Дымно-светел он. Золотокудрый и счастливый...» К сожалению, в школах для слепых и для глухонемых учащимся предлагают для «проработки» те же литературные произведения, что и учащимся обычных школ. Но нельзя думать, что доступный код не может быть переработан при нарушениях собственной речевой функции. Когда афатик называет белую стену «простыня» или понимает слово «простыня» как «стена» – это еще не смысловое смешение. Последнее выявилось бы, если бы больной функционально неправильно воспринимал бы предмет «простыня» или предмет «стена».

К сожалению, методики исследования интеллектуального уровня по речи часто и в норме построены на вербальных тестах. Например, выясняя, различают ли дети правое и левое, исследователи, ссылаясь на работы Б.Г. Ананьева, прямо отождествляют наличие или отсутствие в языке ребенка слов «справа» и «слева» с фактами фиксации правшества у детей 8-9 лет [Румянцева 1968: 20-21]. Но ведь и 2-летний ребенок практически различает обе стороны, когда говорит: «Елка – тут, а домик – там, а на этой картинке домик – тут, а елка – там».

Неумение афатика рассказать о своих действиях или описать картину далеко не всегда означает непонимание изображенного или совершенного. Кстати, дети до 4-5 лет, а иногда и позднее, с большим тру-

дом рассказывают об увиденном. При этом они могут наглядно представить (изобразить) то, о чем не могли рассказать. Здесь, при полной сохранности моторики налицо недоразвитость механизма перевода кода (УПК) в систему естественного языка, что и напоминает нарушение этого механизма при динамической (моторной) афазии.

Так называемый «телеграфный стиль» речи при некоторых формах афазии выявляет, на наш взгляд, существенные характеристики внутренней программы, свободной не только от лингвистической избыточности (при «телеграфном стиле» манифестируются часто только корневые морфемы, опускаются служебные слова), но и от обозначения деталей содержания.

У глухонемых, начинающих овладевать речью, слово «картошка» может обозначать целое предложение «пойдем чистить картошку», а жест «стакан» – «хочу пить» или «мне нужен стакан» [Боскис 1939]. То же самое наблюдается и в норме, особенно часто – в детской речи, причем в соединении с жестом. Образ. конечного результата, вызванного потребностью, формируется раньше возможностей выражения. С этим образом связана, очевидно, основная линия выражения, которую мы называем темой высказывания, тогда как подтема, субподтема и микротема отражают пути достижения этого конечного результата, его характеристики.

Раздел 2. Методика направленного восстановления речи при афазии и методика обучения иноязычной речи. Опыт сопоставительной характеристики¹

Обращение к указанной теме объясняется тем фактом, что лингвистика, психология, психолингвистика и методика обучения языку (по крайней мере теория обучения родному и второму языкам) все чаще и чаще используют данные, полученные медицинской наукой, точнее той областью, которая стала уже общей для всех указанных отраслей науки – афазиологией.

Несмотря на вполне очевидные различия между процессами овладения родным и вторым языками, наблюдающиеся черты сходства или прямых совпадений, постоянно отмечавшиеся создателями и сторонниками «прямого метода» на протяжении более ста лет, побуждают снова и снова к сопоставлению обоих процессов. Практика обучения иностранным языкам заставляет констатировать, что успех более ожидаем в тех случаях, когда организация обучения и способы его оптимально приближены к естественным условиям овладения речью на родном языке. Если процесс овладения языком в естественных условиях признать нормальным, соответствующим обычным условиям возникновения и развития речевой деятельности человека,

¹ Раздел представляет собой в переработке изложение нашего доклада [Горелов 1967].

то процесс, протекающий в условиях искусственных и сопровождающийся ломкой ранее сложившихся навыков, видимо, имеет смысл сравнить с патологиями речи и с восстановительной методикой.

Первые попытки обучения иноязычной речи с восстановительной методикой при афазии были предприняты в самом начале этого века в России известным в то время практиком и теоретиком «натурального (прямого)» метода обучения иностранным языкам Л. Леше [1909, 1910]. Опираясь на современные ему представления о механизмах речи и их нарушениях (включая теорию локализации), Л. Леше впервые, насколько нам известно, предположил, что 1) образование представлений и обобщений осуществляется в системе, отличной от речемоторной; 2) понимание речи не зависит от умения воспроизводить чужую или порождать собственную речь; 3) в зависимости от способа обучения системы родной и иноязычной речи могут функционировать либо автономно, либо «в пересечении».

В работах Л. Леше в имплицитной форме содержится также мысль, что сходство восстановительной методики при афазии методики обучения иностранным языкам (в системе «прямого метода») не случайно, но обусловлено общностью механизма становления и восстановления любого языка в аппарате мозга.

Мы постараемся рассмотреть некоторые факты, которыми не мог располагать Л. Леше, и которые в нашей интерпретации подтверждают его идеи и некоторые наши собственные предположения. Не останавливаясь на вопросе о правомерности сопоставления рассматриваемых процессов, сошлемся здесь лишь на мнение Вяч. Вс. Иванова, что «развитие при афазии сопоставимо с нормальным развитием», так как доказано, что «патологические явления могут продолжать тенденцию, отмечаемую в норме» [1962: 83], а тем более – при искусственном процессе обучения, нарушающем естественный процесс овладения речью.

С определенными ограничениями, в которые мы сейчас не имеем возможности вдаваться, примем ряд допущений. Первое из них заключается в том, что фазу, называемую обычно «тотальной афазией», мы можем сравнить с тем нормальным состоянием обучаемого, при котором отмечается «нуль-владение» новым языком. Естественно, что имеются в виду те случаи тотальной афазии, при которых сохраняются сознание, слух и интеллект. Специфика обоих состояний для нас будет заключаться в том, что и для учащегося, и для больного речь на иностранном или родном языке в исследуемый период не является «сигналом сигналов», не может быть с пониманием воспринята и произведена и что эти факты вполне осознаются и учащимися, и больными. Вместе с тем, и тот, и другой умеют ориентироваться в окружающей обстановке.

Оба в состоянии понимать указательные жесты, выразительную мимику, распознавать изображения и предметные средства наглядности. В этих случаях, как известно, коммуникативные цели достигаются с помощью перечисленных средств. Однако восстановительная методика, как и методика обучения второму языку (а также обучение родителями родному языку своего ребенка), ставит своей задачей становление (восстановление) речевой деятельности, которая должна вытеснить (если не заменить полностью) уже имеющиеся средства достижения взаимопонимания на «второсигнальные»¹. Во всех случаях, когда обучаемый или больной «заторможены», неконтактны и не испытывают потребности в коммуникации, первый этап обучения или лечения характеризуется усилиями преподавателя или логопеда, направленными на изменение указанного состояния, на пробуждение интереса и потребности к коммуникации, на демонстрацию доступности предлагаемого способа контактирования, на побуждение к активной деятельности по аналогии с деятельностью учителя (логопеда). Только по достижении этой задачи возможен переход к следующему этапу — к началу обучения собственно речи. Методика обучения иностранным языкам в системе «прямого метода» хорошо знает и всячески рекомендует для начального этапа обучения так называемый подготовительный «пассивный» (а на деле весьма активный) период, весьма различно растянутый во времени (от нескольких до 40-50 часов). В это время больные или учащиеся, не приступающие еще к собственно говорению, начинают понимать смысл обращенной к ним речи через предметные действия или создаваемые ситуации, которые становятся дешифраторами смысла высказывания.

Если вначале речь воспринимается одновременно с наглядным действием в комплексе с единой темой и конкретным содержанием, то звуковой сигнал закрепляется условно-рефлекторно с обозначаемым, подобно тому, как «освоение слова как сигнала до 3 лет (у детей. — И.Г.) проходит путь, характерный для образования обычных условных рефлексов» [Салмина 1960: 12]. Затем, по мере накопления опыта совмещения результатов зрительной и слуховой рецепции, в общем потоке речи вычленяются отрезки, соответствующие различным единицам содержания. Обычно прекращение операции с предметом (изображением) совпадает с паузой в речевом потоке (если логопед и преподаватель достаточно опытные), а центральная часть операции совпадает по времени со смысловым ударением в

¹ Вообще говоря, любое знаковое поведение, основанное на биологически нейтральном сигнале о биологически нейтральном объекте, есть результат использования «второсигнальной системы», поэтому звуковую речь или любую форму ее модификации с большим правом следовало бы назвать «третьесигнальной».

отрезке речи и с характерным выделяющим интонированием¹. После некоторого числа повторений в сознании (и в подсознании) учащегося или больного возникают (восстанавливаются) связи между, например, субъектом действия, действием и объектом, с одной стороны, и соответствующими отрезками речи – с другой. Вариативность речевого материала и предметных операций позволяет вычленять все более мелкие (короткие) линейные участки речи и уточнять их значение. На данном этапе обучения ни больной, ни учащийся еще не умеют говорить и не понимают речи, изолированной от предметной ситуации. Но, не осознавая этого в полной мере, учащиеся (особенно дети младшего возраста) получают иллюзорное представление о понятности самой речи, о доступности, а также вполне реальное представление о полезности и интересности данного вида деятельности. Этот компонент, включающий положительные эмоциональные переживания и стимулирующий произвольное и непроизвольное внимание, имеет большое педагогическое и лечебное значение, формирует установку на обучение. Как практика обучения иностранным языкам, так и восстановительная методика доказали необходимость и эффективность организации рациональной системы рецепции речи как базы для умения порождать собственную речь. Клиницисты единодушно отмечают, что восстановление речи в афазии начинается именно с восстановления понимания, хотя хорошо известны типы расстройств, при которых словесная инструкция не принимается, а собственная речь (произносительный навык) в определенных пределах сохранена (эхолалия, «словесная крошка»).

Второе допущение, принимаемое нами, заключается в том, что мы, отвлекаясь от различных типов и форм афазии, сочтем возможным рассматривать их в единой линии развития. Сопоставляя их с последовательными этапами обучения языку, мы будем рассматривать интересующие нас явления в ряду «тотальная афазия» – «остаточные явления». Соответственно процесс обучения второму языку рассматривается в реальном ряду: «нуль-владение» – «вполне удовлетворительное владение». Итак, после более или менее длительного периода обучения рецепции устной речи начинается этап обучения продуктивной речи. В самой общей форме это обучение «может (на наш взгляд, должно – И.Г.) начинаться с усвоения языковых аксиом, соотносящихся с элементарными ситуациями» [Иванов 1962: 85]. Восстановительная методика, как и методика обучения иностранному языку, не едина. Э.С. Бейн, характеризуя различные восстановительные методики, отмечает между прочим две большие группы, называемые ею «прямым» и «косвенным» («обходным») методами (весьма знаменательное терминологическое

¹ Подробнее см. наши статьи в [Обучение немецкому языку... 1964].

совпадение!), из которых она отдает явное предпочтение именно «прямому», успешно разработанному ею и ее сотрудниками в ходе лечения более чем 400 больных. Книга Э.С. Бейн [1964], на которую мы ссылаемся, содержит исключительно интересные для лингвиста, психолога и методиста наблюдения и рекомендации, и могла бы без принципиальных переделок служить пособием по методике обучения иностранным языкам. Эффективность рекомендуемой ею методики подтверждается также и работами других авторов. Один из них, характеризуя «косвенный» метод, пишет: «Это направление представляется нам наименее перспективным, крайне трудным для больного... Оно ведет... по очень трудному пути построения новой речевой системы, исходящей не из смысловых, словесных единиц, а из отдельных звуков» [Оппель 1963: 10]. И далее: «В результате больной остается с несколькими, тяжело артикулируемыми словами, которые практически не могут заменить ему речь» [Там же: 16].

Характеризуя далее начальный период обучения речи, В.В. Оппель пишет (и это весьма важно!), что под «словесными единицами», только что упомянутыми в цитате, следует понимать не изолированные слова, а «целостные речевые структуры», которые следует предлагать больному с первых же занятий для воспроизведения по образцу, памятуя, что эти образцы и самостоятельно – по аналогии – образованные конструкции «чрезвычайно прочно фиксируются в памяти больного и в дальнейшем с трудом изживаются», а поэтому должны быть нормативными [Там же].

В течение всего начального периода восстановления речи. как и в подготовительный период, рекомендуется систематически использовать наглядные средства семантизации, закрепления и повторения всего вводимого лексико-грамматического материала, что подтверждается практикой большинства других клиницистов, например, В.М. Когана. Опыт показывает, что логико-грамматические правила усваиваются не в процессе изучения грамматики (понимаемой как свод правил. – И.Г.), а в развитии «наиболее близких для больного собственных суждений и их выражений» [Коган 1963: 13].

Следует отметить, что в системе упражнений, рекомендуемой В.М. Коганом и другими авторами, установление предметной отнесенности слова предусматривается только как первый шаг в работе над данной единицей речи (новой лексемой), вводимой, как правило, либо в составе предложения, либо синтагмы. Затем соотносительность данного слова с данным предметом (изображением) переходит в многократное соотношение данного слова с рядом других, тождественных по главным признакам предметов (изображений), и поэтому можно и нужно говорить о соотношении вводимой единицы с понятийным содержанием.

Нет смысла перечислять и иллюстрировать примерами все типы упражнений в речи, содержащиеся в названных и подобных работах. Скажем только, что в совокупности (и даже в деталях, например, в последовательности вводимых типов конструкций) они образуют хорошо знакомую каждому методисту и преподавателю иностранных языков систему обучения речи по прямому методу.

Третье из наших допущений состоит в том, что мы считаем ошибки в речи афатика идентичными ошибкам в речи изучающих второй язык, отвлекаясь от ошибок, вызванных интерференцией двух речевых систем, а также от причин заболевания афазией. Природа некоторых из ошибок представляется нам довольно ясной и отчасти общей для здоровых и для страдающих афазией. Мы имеем в виду, во-первых, фонетические нарушения, связанные в норме с ломкой привычной артикуляционной базы, а в патологии – с трудностями восстановления ее.

Во-вторых, изучение аграмматизма при афазии, «телеграфного стиля» показывает, что при нем часто сохранены корневые морфемы и общие схемы высказывания при утрате объективно (или субъективно) избыточных элементов или части их. Упрощая, можно сказать, что при таком стиле лексика предпочитается грамматике.

Чрезвычайно характерно – как для афатиков, так и для новичков в иностранном языке – использование функциональных описаний при амнезии слова, а также произвольных словообразовательных моделей:

«дай, на чем сяду», «где, чем писать?».

Сопоставление речи постафазийного периода с остаточными явлениями с речью на иностранном языке среднего студента покажет следующее сходство в нарушениях: а) амнезия слова, б) замена забытого слова неким описательным эквивалентом, в) упрощение синтаксической структуры в ущерб норме, г) окказиональные словообразования и словосочетания при произвольном сужении или расширении значения и функции слов или словообразовательных элементов, д) замедленный темп речи, е) гезитации, парафазии, частое паузирование (поиск формы или слова), ж) ложные интерпретации или словоупотребления на базе акустического сходства).

В обоих случаях на начальной стадии (тотальная афазия или «нуль-владение» иностранным языком) наблюдается очевидное, хотя и совершенно различное по онтологии «единое комплексное нарушение, в основе которого лежит полный разрыв (а в норме – отсутствие связи. – И.Г.) между миром наглядных представлений и речевой системой» [Коган 1963: 11]. Но так как сохранность интеллекта (включая способность к обучению и адекватное поведение) в ряде случаев афазии не подлежит сомнению, то здесь наблюдается факт, при котором «две стороны языкового знака – означаемое и

означающее – относительно независимы; нарушение одной из них может сопровождаться сохранением другой» [Иванов 1963: 80].

Рассмотрим феномен, поразивший в свое время Л. Леше – возможность функционирования системы изученного языка при разрушении системы родного. Именно это обстоятельство позволило ему высказать мысль, что возможно и целесообразно обучать второму языку так, чтобы он образовал автономную систему, непосредственно связанную с миром представлений и понятий, а не опосредованно – через систему родного языка, оказывающую интерферирующее влияние при изучении иностранного. Леше полагал, что в мозгу человека, владеющего рядом языков, образуются локально различающиеся зоны, соответствующие системе, каждого языка. Но нас в данном случае интересует тот факт, что, как отмечается и в работе И. Вальда, и подтверждается нашими собственными наблюдениями и данными, полученными от опытейшего специалиста¹, сохраняться при афазии и восстанавливаться в первую очередь может и система изученного, второго языка, а не родного. Одна из больных, описанных И. Вальдом, 48 лет, русская, владевшая английским языком, в состоянии спутанного сознания (после инсульта) «русскую речь понимала, но говорила только по-английски», а другой больной, изучивший русский язык только на 29 году жизни (родной язык армянский), обнаружил после инсульта более сохранным именно русский язык [Вальд 1956]. Отмечая возможности как синергических, так и антагонистических взаимовлияний восстанавливаемых речевых систем (т.е. одновременное улучшение в двух направлениях или противоположные изменения), И. Вальд признает также возможность «временных замен» при использовании больным разных речевых систем. Один из наблюдавшихся нами больных сохранил остатки второго (русского) языка, которым владел недостаточно, при полной утрате родного (татарского) языка, который был главным в его коммуникативной деятельности. Выписан этот больной был с очень плохо восстановленными навыками в родной речи при полном почти восстановлении прежнего навыка в речи на русском языке. О.В. Ландкоф сообщает: «Не во всех случаях сначала восстанавливается родной язык.

Больной (33 года, афазия после тяжелой травмы челюсти и левой сонной артерии) одинаково хорошо владел тремя языками, обучался также четвертому (латышский – родной, немецкий, русский, французский), спустя 24 года после травмы довольно хорошо говорил по-русски, но не восстановился родной язык, который был главным в семье, и немецкий, на котором он говорил свободно со старшими родственниками со стороны матери».

¹ Ниже будут приведены данные, любезно предоставленные нам О.В. Ландкоф, сотрудницей Центральной психоневрологической больницы МПС в г. Харькове.

Интересующие нас случаи не указывают, конечно, на то, что при этническом (естественном) или учебном (искусственном) двуязычии разноязычные системы могут функционировать совершенно независимо друг от друга в любом случае, независимо от уровня владения тем или иным языком. Исследователи интерференции (как этнического, так и искусственного происхождения) свидетельствуют как раз об обратном: две системы тем больше пересекаются друг с другом, чем больше разница в уровнях владения каждой из них (в пределах, позволяющих говорить о владении речью вообще) и чем чаще практикуется сознательное или бессознательное смешение, сопоставление и анализ используемых в коммуникации разноязычных средств выражения (последнее касается искусственного двуязычия при обучении).

Но если в патологии обнаруживается возможность автономной сохранности одной из речевых систем би- или полиглота, то нет никаких оснований считать, что второй язык может функционировать только опосредованно – через первый. Мы предполагаем, что в патологии (в рассмотренных случаях) разнонаправленные связи (между предметным кодом и системами разных языковых систем) сохраняются и восстанавливаются в неодинаковой мере под влиянием случайных факторов. В одном случае речь логопеда, врачей и больных вокруг могут возродить одну из установок, бывших ранее, вследствие чего на систему родного языка может распространиться длительное или необратимое торможение, т.к. в психической сфере при заболевании может недоставать ресурсов на восстановление всех связей, бывших в норме. В другом случае установка на ту или иную систему может возродиться эндогенно, так как восстановление речи при афазии вообще может протекать без специального обучения. Думается, что в норме разнонаправленные связи весьма гибки, лабильны, а высокий уровень автоматизмов может ослаблять контрольные механизмы, в результате чего более сильная и давняя связь вмешивается в работу более поздней. В патологии же речь дается больному с большим трудом, требует больших волевых усилий и сознательного контроля. С трудом восстановленная одна из связей продолжает в дальнейшем закрепляться, тогда как другая – затухает и может вообще исчезнуть. Можно допустить также, что некоторый механизм «переключения» в сторону одной или другой системы (этим механизмом может быть установка) при афазии у полиглотов теряет свою гибкость, становится жестко-направленным. Следует, видимо, учесть, что потребность в нормальном способе общения у больных афазией (если эта потребность пробуждена) удовлетворяется при использовании любой из доступных систем. Этот результат вначале глубоко эмоционально переживается больным как возвращение к нормальному состоянию. Это не может не способствовать

закреплению тех связей, которые восстановились первыми. Вероятность восстановления родного (первого или основного) языка, конечно, гораздо выше, чем вероятность восстановления систем, сформировавшихся позднее, в силу устойчивости (Е.М. Верещагин) сложившегося или динамического стереотипа.

Одной из задач при обучении иностранному языку является необходимость «запереть канал родного языка» (Н.И. Жинкин) при использовании изучаемого. Такому требованию удовлетворяет система принципов обучения, известная под названием «прямой» (ранее – «натуральный») метод, в значительно большей степени, чем противоположная система «грамматико-переводного» или «сознательно-сопоставительного» метода. Понятны поэтому усилия Л. Леше, направленные на практическое внедрение и теоретическое обоснование «натурального метода».

Явление обучаемости языку как таковое заслуживает, на наш взгляд, исключительно пристального внимания, так как оно свидетельствует, что не язык является базой интеллектуальных действий, указывает на то, что существует некоторый базис интеллектуальных действий, обеспечивающий переход от невербальной знаковой деятельности к вербальной.

По-видимому, повторяем, следует говорить о наличии в аппарате мозга человека некоторой системы, занимающей промежуточное положение между «первосигнальной» и вербальной системами. Это предположение согласуется, на наш взгляд, с гипотезой Н.И. Жинкина и А.А. Леонтьева о предметном или субъективном коде мышления.

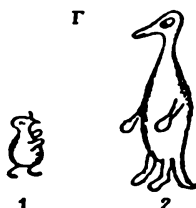
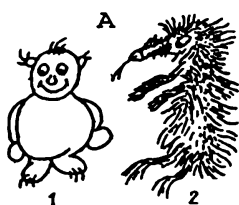
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы подошли к концу рассмотрения проблемы в надежде, что нам удалось показать правомерность выбора направления и методики исследования, найти новые подтверждения для одних гипотез и новые доказательства неполноты или необоснованности – для других.

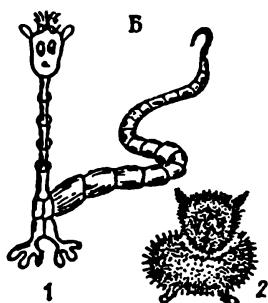
Мы надеемся также, что нам удалось придти к некоторым собственным результатам, которым соответствуют выводы и заключения по каждой из представленных глав. Не повторяя их, позволим себе сформулировать заключительный вывод: представляется обоснованным признать наличие в психическом аппарате человека функционального базиса речи – системы, лежащей в основе языковой способности и выполняющей задачу довербального осмысления объективной реальности и ориентировочной деятельности, подготавливающей через обобщение представлений понятийные образования к номинации и проявляющейся в коммуникативных актах в виде паралингвистических компонентов, определяющих содержание и форму речевого высказывания.

Приложение 1

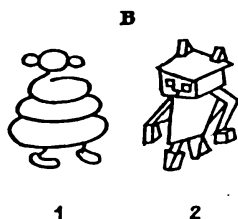
Читателем предлагается ответить на вопросы: какое квазинаименование больше подходит каждому из квазиживотных? какое слово больше соответствует изображенным фигурам?



а) ЖАВАРУГА б) МАМЛЫНА а) ПЛЮК б) ЛИАР



а) МУРХ б) МУОРА а) МАНУХА б) КУЗДРА



а) ОЛОФ б) ГБАРГ

1. Луома-куома-муома
2. Бого-того-мога
3. Тупи-рипи-дрипи

А вот ключ к заданию с рисунками:

А Б В Г Д Е

а2 а2 а1 а1 а2 а2

б1 б1 б2 б2 б1 б1

с3

СТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ¹

Всем известно, что в раннем онтогенезе сначала формируются и наблюдаются элементарные мыслительные возможности (узнавание знакомых лиц, предметов и ситуаций, понимание обращенной к ребенку речи взрослых, простейшие оценки происходящего), а затем – элементарная собственная речь. Возникает, естественно, вопрос о внутренних информационных средствах обеспечения мыслительных (пусть даже весьма простых) процессов в психическом аппарате ребенка. Ведь, как постоянно и справедливо утверждается, внутренняя речь ребенка есть производное от его же внешней речи. Но если внешней речи еще нет, то, следовательно, элементарные мыслительные операции ребенка реализуются не с помощью «внутренней речи» (понимаемой как трансформацию внешней), а другими, не национально-языковыми, средствами. Крупнейший отечественный психолог и психолингвист Н.И. Жинкин еще 30 с лишним лет тому назад экспериментально доказал (и его многочисленные ученики подтвердили на другом экспериментальном материале), что мышление человека любого возраста вообще протекает не в языковом коде, а в универсально-предметном коде (УПК) особой природы. Здесь хранятся и функционируют «следы-образы» внешней реальности, значимые для формирующегося человека: «следы» знакомых лиц, игрушек, лакомств. Первыми запечатлеваются только конкретные «следы-образы», создающие базовый комплексный образ микросреды обитания. Во вторую очередь формируются обобщенные образы многих знакомых лиц, предметов и пр. На этом уровне есть уже «след-образ» «кроватки вообще» (а не только «этой кроватки», как на первом уровне). Оба уровня следует называть протопонятийными (предпонятийными), способными обеспечивать вообще любое образное невербальное мышление, каким обладал, например, глухонемой Герасим из тургеневского «Муму» и обладают все реальные глухонемые на земле до периода их обучения языку. Но только с помощью языка можно сформировать в УПК понятия типа «мебель», «одежда», «посуда» и др.: этим понятиям соответствуют не «след-образы», а «след-схемы» абстрактных родовидовых отношений. Н.И. Жинкин называл свой код на высшем уровне «УПСК», т.е. «универсальным предметно-схемным кодом». Ясно, что ни у высших животных, ни у человеческих детей в раннем онтогенезе нет УПСК, но есть УПК. Важно также учесть, что любая новая единица языка может быть усвоена семантически только через

¹ По изданию: Горелов И.Н. Становление функционального базиса речи в онтогенезе // Становление детской речи. Саратов, 1996. Вып.3. С.3-5.

приведение ее к нижнему уровню УПК (к образцовому «след-образу»). Поэтому со времен Яна Коменского, т.е. с 17-го века, дидактика защищает принцип наглядности в обучении. По этой же причине рисунки, схемы, чертежи и другие средства наглядности неизбежно поддерживают наши вербальные описания. Как говорил Н.И. Жинкин, «наглядный образ дешифрует смысл вербального действия». Таким образом, в аппарате мозга человека образуются со временем две системы – мышления (УПК с УПСК) и коммуникация на основе какого-либо национального языка. Но ведь известно, что в среднем ребенку необходимо два-три и более года для становления собственной внешней речи. Выяснилась, что коммуникативная система ребенка претерпевает сложную эволюцию. Первый год жизни – это, видимо, латентный (скрытый) период усвоения некоторых типов высказываний из речи взрослых, обращенной к ребенку. Кроме того, ребенок овладевает (как имитативно, так и следуя инстинкту) богатым арсеналом невербальных средств общения – неязыковыми фонациями, жестами, мимикой. Эта внешняя моторика является обязательной базой, на которой в дальнейшем развернется полноценная коммуникация. Соответствуя по уровню внутренним «след-образным» протопонятиям УПК, единицы внешней коммуникативной моторики ребенка следует считать протоязыковыми. Известно, например, что примарно мотивированные знаки детского протоязыка (и нормального языка в дальнейшем) типа «ква-ква», «хрю-хрю», «ав-ав», «би-би» и др. усваиваются детьми практически сразу – как семантически, так и формально, чего не скажешь о номинативных единицах с формой-конвенцией. Есть основания считать, что примарно мотивированная форма знаков (особенно в облике дублетов) отличается не только свойством особой доступности в онтогенезе, но и особой распространенностью в коммуникативных системах так называемых «примитивных сообществ», составляет обязательный слой во всех развитых языках. Кроме того, имитация речевых и неречевых звуков наблюдается в животном мире. Отсюда понятно, почему так привлекательна гипотеза о звуко-имитативном происхождении человеческого языка вообще.

Мы считаем, что протоязыковая система коммуникации занимает промежуточное положение между 1-й сигнальной системой (ощущения, восприятия) и той «чрезвычайной прибавкой» (как ее называл И.П. Павлов), какой является 2-я сигнальная система, т.е. любой из национальных языков. Поскольку функционирование зрелой человеческой психики характеризуется взаимодействием развитых систем мышления (УПК + УПСК) и языковых средств выражения, то основы таких зрелых систем образуют УПК и протоязык.

Они-то в их совокупности и взаимодействии составляют то, что мы называем функциональным базисом речи.

В конкретном онтогенезе может действовать бедный УПК, могут порождаться убогие тексты. Но филогенетические достижения в целом поразительны, являя и гениальные литературы, и гениальные невербальные творения – музыку, скульптуру, балет, живопись. Есть обоснованное мнение: самые крупные научные результаты возникают в процессе параллельного – интуитивно-образного и рационального постижения сущности. А корни такого параллелизма закладываются еще в раннем онтогенезе.

ПАРАЛИНГВИСТИКА: ПРИКЛАДНОЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ¹

«Каждому слову и каждому предложению в нашей современной речи может быть подобран лингвистический эквивалент – будь то слово, фраза, обширный текст, или лингвистический знак» [Поршнев 1974: 474]. Приведенное суждение Б.Ф. Поршнева – не простая дань уважения и не только обещание обсудить в предлагаемом разделе некоторые другие мысли, выраженные в оригинальнейшей и, к несчастью, посмертной публикации. Цитированное суждение – одно из тех «каждых предложений», которым не может быть подобран паралингвистический знак в качестве эквивалента: ни фонация, ни мимическое или пантомимическое, ни комплексное (фонационно-пантомимическое) образование не может стать эквивалентом сформулированной мысли Б.Ф. Поршнева. Думается, что нет необходимости прибегать к экспериментальному доказательству правильности нашей точки зрения: она основана на «ясно-смутном знании» (но Гумбольдту) того, что мы назовем «опытом коммуникации». Этот же опыт подсказывает, что возможности паралингвистического знака ограничены, как, скажем, ограничены и возможности знака лингвистического. Мы не указываем при этом на степень ограниченности (ни на абсолютную, ни на относительную), а просто констатируем то, что предстоит – если удастся – показать.

Обратимся вначале к умозрительным заключениям. Ограниченные возможности знака естественного языка подтверждаются знанием того, что, во-первых, цивилизованные общества постоянно разрабатывают и целях научного познания разнообразнейшие подъязыки наук; в данном случае нас не интересует, первичны или вторичны они относительно естественного языка, переводимы ли они на естественный язык или нет: возникновение символических систем современной математики или химии объясняется вполне определенными преимуществами последних перед системой естественного языка, иначе в них не было бы нужды. Во-вторых, как показывают процесс литературного творчества и данные самоанализа, «мысль изреченная есть ложь». Ф. Тютчев имел в виду, несомненно, несоответствие между богатством оттенков конкретного восприятия или представления, с одной стороны, и возможностями вербального выражения, – с другой. В-третьих, сфера изобразительного искусства,

¹ По изданию: Горелов И.Н. Паралингвистика: прикладной и концептуальный аспекты // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. С.96-114.

искусство музыки или балетной пластики – все эти сферы, рассматриваемые, кстати, как особые формы познания и отражения (и выражения) действительности, обслуживаются своими собственными, только им присущими семиотическими системами, причем авторски индивидуализированными.

Как известно, ни музыкальное произведение, ни художественное полотно, ни пластический рисунок балерины не могут быть принципиально переведены в код естественного языка: искусствоведческие тексты – при всей их специфичности и явной «подъязыковости» – ни в какой мере не заменяют непосредственного восприятия самого произведения искусства.

Паралингвистический знак интуитивно (на основе «опыта коммуникации») представляется более ограниченным, чем знак лингвистический, если иметь в виду денотаты, являющиеся конструктами абстрактного (в достаточной степени) мышления. Д.И. Рамишвили склонен, как и многие другие исследователи, считать, что «язык жестов не может выразить даже такие простые, но не носящие конкретный характер, содержания, которые обозначаются словами *пока, только, кроме, еще, когда* и т.п. И далее: «Глобальный характер... жестов, невозможность создания словоформ... отсутствие в нем действительной грамматической структуры исключают условия, необходимые для языка как средства общения» [Рамишвили 1956: 41]. Итак, с одной стороны, «глобальный характер» паралингвистического знака, а с другой – его неспособность обозначать «простые, но не носящие конкретный характер, содержания». Нет ли здесь противоречия? Обратимся к фактам, достоверно, по-видимому, описанным Н.Н. Миклухо-Маклаем: «Между тем приходил мой доброжелатель Туи и своей выразительной мимикой старался объяснить, что когда корвет уйдет (при этом он указал на корвет и далекий горизонт) и мы останемся втроем (он указал на меня, Ульсона и Боя и на землю), придут из соседних деревень туземцы (указывая на лес и как бы называя деревни), разрушат хижину (тут он подошел к сваям, делая вид, как бы рубит их) и убьют нас копьями (тут он выпрямился, отставил одну ногу назад и, закинув правую руку над головой, имел вид человека, бросающего копье; затем подошел ко мне, толкнул меня несколько раз в грудь пальцем и, наконец, полузакрыв глаза, открыв немного рот и высунув кончик языка, принял положение человека, падающего на землю; то же мимические движения он проделал, указывая поочередно на Ульсона и Боя)» [Миклухо-Маклай 1956: 18-19].

Мы не случайно подчеркнули слово *когда*, взятое Д.И. Рамишвили в качестве знака, который не может быть передан с помощью жеста.

Н.Н. Миклухо-Маклай мог бы интерпретировать пантомиму Туи в данном случае не с помощью слова *когда*, а с помощью *если*, или

после того, как. С таким же успехом в интерпретации (т. е. в «переводе» на русский язык) соответствующих пантомимических эпизодов могли бы использоваться *еще* или *не только, но и* («убьют не только меня, но еще и Ульсона и Боя»), Аргументация Д.И. Рамишвили не может быть принята, на наш взгляд, так как он сопоставляет изолированное слово с мыслимым (но так же изолированным) жестом, тогда как в реальной ситуации общения, описанной выше, пантомима обозначала цепь событий в их логической и временной связи. Соотношение элементов пантомимы и сама последовательность их манифестаций отражают абстрактные понятия отношений. Далеко не во всех языках (тем более – не по всем языкам идентично или просто близко) мы можем найти то, что наш оппонент называет «словоформой» или тот элемент ряда, которым он оперирует.

Поэтому неоднократно отмечающийся в различных работах «аграмматизм» паралингвистического знака, будучи, вообще говоря, верной констатацией, не лишает последний возможностей для выполнения любой из определяемых языкознанием функций естественного языкового знака. Проиллюстрируем это наше утверждение примерами:

1. Социативная (контактоустанавливающая) функция. «... а затем я понял, что мой собеседник хочет сказать что-то еще. И он действительно, принес лампу, не ушел сразу, а сел на стул и начал им поскрипывать, чтоб я проснулся, потому что хотел спросить нечто. И спросил он меня, зачем я приехал» [Мартынов 1974: 179].

2. Эмотивная функция.

«– Ну, как международная обстановка? – полюбопытствовал Митенька Малышня, растапливавший печку. Лихачев грохнул дверью» [Абрамов 1964: 40].

3. Волюнтативная функция.

«Адмирал снисходительным, по повелевающим взором просек готовую было сорваться, готовую бесноваться у его ног восторженную бурю» [Малышкин 1965: 260].

4. Коммуникативная функция.

«– Это вы выменяли свои комнаты на Мытной?

Надя кивнула.

.....
– А тут однокомнатная?

– Надя кивнула» [Трифонов 1971: 33].

5. Апеллятивная функция.

«...Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти» [Пушкин 1949: 507].

6. Репрезентативная функция.

«Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегаю письмо, глаза его сверкали» [Там же].

Авербальные действия (поскрипывание стулом, громохание дверью, кивок, взгляд, жест и пр.), как мы видели в первых пяти примерах, включены в коммуникативный акт, полностью замещая вербальный стимул или вербальную реакцию. В шестом примере произвольная эмоциональная реакция на письмо однозначно истолкована («с видом величайшего нетерпения»), как и возможная в этом случае вербальная реакция; поэтому мы и приписали данному паралингвистическому знаку репрезентативную функцию [Ахманова 1966: 507-508].

Рассмотрим возможности паралингвистического знака в рамках его взаимодействия с такими же или иными знаками, составляющими диалогическую речь. Обозначив через «С» — реплику-стимул, через «Р» — реплику-реакцию, лингвистический знак — через индекс «л», а паралингвистический — через индекс «п», комплексный знак — через «л + п», мы можем предложить гипотетический ряд бинарных комбинаций, один член которых представляет собой либо паралингвистический знак, либо указанный комплекс с паралингвистическим компонентом (ПК). Бином $C - P_l$ из ряда исключается как не соответствующий объекту рассмотрения. Оговоримся, что бинарная схема избрана лишь для упрощения, так как в нашем распоряжении имеется достаточное количество случаев, в которых реплика-реакция является одновременно и стимулом для последующей реакции. В дальнейшем такая реплика (при специальном рассмотрении) будет обозначена через «Р/С». Предлагается ряд:

$$\begin{aligned} C_l &— P_{l+p} \\ C_l &— P_p \\ C_{l+p} &— P_l \\ C_{l+p} &— P_{l+p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{l+p} &— P_p \\ C_p &— P_l \\ C_p &— P_{l+p} \\ C_p &— P_p \end{aligned}$$

В этом ряду можно заметить попеременное (то в «С», то в «Р») повышение удельного веса паралингвистического компонента в реплике; замыкает ряд бином, указывающий на возможность, при которой «фактически разрушается словесная коммуникация» [Колшанский 1974: 7].

Для того чтобы выяснить действительные возможности ПК в тексте художественной литературы (а мы исходим из допущения, что эти тексты отчасти могут рассматриваться в качестве моделей реального диалога), было предпринято обследование около 5000 строк диалогических отрезков, 1201 из которых сопровождалась автор-

скими ремарками, заменяющими ПК. Предлагаемая таблица иллюстрирует полную реальность ранее представленного гиллетического ряда. Знакомые нам бинарные комбинации размещаются в порядке убывания частотности.

Таблица 1

№	Бинарный тип с ПК	Пример употребления в тексте	Кол-во
1.	$C_{л+п} — P_{л+п}$	«— Вы туда? — спросил Козырев, кивнув на прокурорскую дверь. — А куда же еще! — с вызовом отозвалась рыжеволосая» [Нагибин 1973: 129].	296
2.	$C_{л+п} — P_{л}$	«— А тебе какое дело? — ответил Ленька высокомерно, и его тонкие синеватые губы повела гримаса отвращения. — Просто интересно...» [Там же].	201
3.	$C_{л} — P_{л+п}$	«— А куда — на попутной? — Да! — Девушка засмеялась, как бы признавая смехом, что от Тютчева ничего не скроешь» [Солоухин 1974: 9].	164
4.	$C_{п} — P_{л}$	«Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой: — Ну, ничего, не горюй, как-нибудь переживем» [Нагибин 1973: 315].	135
5.	$C_{п} — P_{л+п}$	«Мы чокнулись, я выпил до конца, он только пригубил. — Нельзя, — сказал он, перехватив мой взгляд» [Там же].	120
6.	$C_{л+п} — P_{п}$	«— Ладно, вставай, — сказал он, тронув Сашку костылем. Сашка замолк, неуклюже поднялся, подобрал ружье» [Там же: 239].	111
7.	$C_{л} — P_{п}$	«—Что же нас держит? — Горин нахмурил густые брови и кивнул головой куда-то вправо» [Там же: 290]	92
8.	$C_{п} — P_{п}$	«Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу» [Пушкин 1949: 199].	82
		ВСЕГО	1201

Представляется, что данная таблица указывает на реальные возможности ПК, во-первых, дополнять лингвистическую информацию, а, во-вторых, замещать лингвистический знак, «разрушая» тем самым «словесную коммуникацию», как показал Г.Л. Колшанский. Мы не случайно обошли стороной вопрос о возможности ПК сопровождать вербальный компонент, хотя можно констатировать множе-

ство ПК, значение которых истолковывается нами как дубликаты вербальных компонентов. Например, в тексте «Нечто заставило обоих оборвать слова, прислушаться. За бортом пронесся неясный гул... Опанасенко, тревожно вертя головой, пытался к двери: – Шо это?» [Малышкин 1965: 364] паралингвистический знак «тревожно вертя головой» в сочетании с действием «пытался к двери» представляется, на первый взгляд, избыточным элементом, сопровождающим вербальную часть «Шо это?», тем более что в данном контексте объяснительна интонационная акцентуация, не обозначенная автором. И, наоборот, вербальная часть представляется факультативной при наличии ПК и общей реакции на «неясный гул».

Вот еще один пример: «Ну, ну, – заторопился Афонька, махая успокоительно ладонью, – будет, будет!» [Там же]. И здесь, по-видимому, ПК и вербальная часть дублируют друг друга в плане содержания («успокоительная» интонация и «успокоительный» жест), тем более, что в контексте сами вербальные единицы («ну, ну» и «будет, будет») без авторской ремарки также воспринимались бы в значении «успокоения». Но, если мы признаем «функцию сопровождения», то, тем самым, мы опровергнем известное положение, согласно которому ПК есть средство снятия избыточности: «...возможная избыточность языка при полном вербальном раскрытии какого-либо содержания в естественных условиях снимается, но разным причинам путем элиминирования чисто языковых средств и одновременного включения в коммуникацию экстралингвистических средств, подкрепляющих абсолютную однозначность конкретного речевого акта» [Колшанский 1974: 7].

И далее: «Можно поэтому говорить об «экономном» построении речевого акта с использованием паралингвистических средств» [Там же: 16]. Но дело-то в том, что, если ПК вводятся для «подкрепления абсолютной однозначности конкретного речевого акта», то это уже не функция сопровождения, а функция подкрепления, т. е. дополнения; если же экономия вербальной части достигается через включение ПК, то в целом экономии не достигается, если считать, что «экономия» есть частный случай принципа экономии усилий, который, вообще говоря, действует и в процессе коммуникации как одного из видов деятельности. Сопоставим в связи со сказанным два примера:

1. «Увидев нас, папа только сказал: – Погодите, сейчас. – И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее» [Толстой 1973: 14].

Здесь кивок в сторону двери, несомненно, такой ПК, который экономит вербальную часть и, возможно, определенную нервную энергию, необходимую, чтобы прервать разговор с Яковом и словесно отдать соответствующее приказание. Сомнительно, однако, что кивок требует меньше физических усилий, чем произнесение краткой фразы.

2. «Лихачев крикнул в знак одобрения» [Абрамов 1964: 10].

Данный ПК фонационного типа, по-видимому, экономнее эквивалентного высказывания. Можно, однако, показать ситуации, в которых замещение вербальной части с помощью ПК диктуется по подсознательным учетом возможности такой экономии (мы полагаем, что принцип экономии усилий и, в частности, всякого рода компрессии вербальных чистой коммуникации реализуется подсознательно), а вполне осознанными и социально значимыми условиями коммуникации, например:

1. «— Что это у тебя за шляпа? — спросила Аглаида Васильевна, всматриваясь. Монахини переглянулись между собой и усмехнулись» [Гарин-Михайловский 1972: 267].

2. «— А вы воротились с дороги? Вы ездили за город? — Ездил, господа, за сорок верст ездил, а вы не знали?

Прокурор и Николай Парфенович переглянулись» [Достоевский 1973: 483]. В первом случае монахини переглядываются, считая, что не вправе вмешаться в разговор (различен социальный статус их и Аглаиды Васильевны). Во втором случае тактика вопроса не позволяет преждевременного высказывания прокурору и Николаю Парфеновичу. Таким образом, следует говорить о полифункциональности ПК и о различной обусловленности их появления в коммуникативном акте. Последнее еще более сближает их с вербальными средствами коммуникации, выбор которых, как известно, является социально и ситуативно обусловленным.

Вышеизложенное можно было бы дополнить подробным описанием того, каким образом ПК, разрушая вербальную часть коммуникации, приводят к образованию эллиптических конструкций, отличных от тех, которые «восполняются» за счет вербальной предшествующей реплики; есть материал, показывающий, что ПК может практически заменить любой член предложения¹. Предварительно рассмотрена и физическая природа ПК, причем показано, как ПК определенного физического типа соотносится с вербальной структурой — также определенной типологии [Горелов 1973: 41-48].

Отметим лишь, что имеющаяся литература по прикладной паралингвистике (т.е. исследования конкретных взаимодействий вербальных и невербальных компонентов в речевой деятельности) совершенно недостаточна.

Об этом свидетельствует и неоднократно упомянутая нами монография Г.В. Колшанского, содержащая наиболее полный, хотя, к сожалению, довольно беглый, ограниченный весьма скромным объ-

¹ Имеется в виду дипломная работа, выполненная под нашим руководством Н.М. Малышевой по теме «Экстралингвистические условия порождения эллиптических конструкций современного немецкого языка» (МПИ, 1974).

ею книги, обзор имеющейся зарубежной и отечественной литературы. Тем не менее эта монография, как и статья Т.М. Николаевой и Б.А. Успенского, которую мы ниже рассмотрим подробнее, позволяют, как нам кажется, затронуть некоторые фундаментальные проблемы, включая проблему генезиса естественного языка человека.

Попробуем приступить к рассмотрению некоторых аспектов этой проблематики.

Наиболее отчетливо, на наш взгляд, выдвигаются вопросы а) генезиса паралингвистического знака, б) генезиса лингвистического знака, рассматриваемого, естественно, в связи с генезисом первого объекта, в) функционирование ПК в синхроническом срезе.

Относительно в) высказываются, например, следующее соображения: «В принципе языковая система сама по себе всегда достаточна для того, чтобы внутренними средствами (т. е. «внутренними») по отношению к «внешним», например, паралингвистическим. – И.Г.) выразить любое мыслительное содержание, включая чувства, волеизъявления и различного рода эмоции» [Колшанский 1974: 7]. «Язык функционирует в качестве полноценной коммуникативной системы, возникшей и развившейся как средство, структурно независимое от других форм общения» [Там же: 77]. «Все сопровождающие речевой акт формы общения, включая прежде всего паралингвистические, являются факультативными. Языковое общение без этих форм вполне возможно, как возможно и полное развертывание в чистую языковую форму любого коммуникативного акта» [Там же].

Прибегнем к способу доказательства: если сказанное выше верно, то почему а) факультативные и вспомогательные средства общения (ПК) регулярно сосуществуют с вербальными средствами; б) только письменная речь (нехудожественный текст) и «телефонная коммуникация» (если абстрагироваться от «красноречивых пауз», вполне значимых интонационных рисунков, а также своеобразных «параграфом», избобличающих, скажем, небрежность или манерность пишущего) свободны от ПК; в) «использование фонационных и кинстических форм сопровождения звуковой речи», которое «является простым следствием антропологического характера языка» и которое связано «с развитием ранее нечленораздельных форм общения в животном мире» [Там же: 78], так стойко сохраняется не только на уровне индивида с бедным словарем, но и на уровне высокообразованного оратора или гениального актера; г) «...несмотря на самостоятельный характер структуры языка... полное (его – И.Г.) изучение может быть достигнуто только при учете всех конкретных особенностей его функционирования, включая прежде всего использование паралингвистических средств» [Там же: 80].

Думается, что все ответы на поставленные вопросы в пунктах а) – г) лежат за рамками аксиоматических по форме положений, процитированных ранее; последние нуждаются либо в дополнительном подтверждении, либо не допускают вообще «существования» с предполагаемыми ответами, поставленными в порядке *ad absurdum*. Резюмируя предлагаемые сопоставления, приходится согласиться с утверждением, что наличие ПК, способных дополнять и даже замещать лингвистический знак, не согласуется с исходным положением относительно универсальности и полной самостоятельности языковой системы во всех функциональных ее проявлениях, ибо «абстрагирующий характер языка потребовал совершенно новой структуры, но он не устранил тех примитивных биологических форм общения, которые были свойственны предкам» [Там же: 78].

Это положение Г.В. Колшанского мы считаем чрезвычайно важным, правильным и единственным, способным снять противоречия, проиллюстрированные нами выше.

Признание того, что человек унаследовал паралингвистическую форму коммуникации, что «паралингвистические свойства языка... в принципе составляют неотъемлемую часть коммуникации», что они «являются биологически детерминированными» [Там же] есть одновременно признание эволюционистского подхода к проблеме генезиса лингвистического и паралингвистического знака и всей системы человеческой коммуникации в целом, этот подход, правда, совершенно по-своему реализуемый, обнаруживает Б.Ф. Поршнев: «Недостаток, ограничивающий продвижение... научных усилий, состоит в том, что само явление речи рассматривается как некая константа, без попытки расчленить ее на разные уровни становления (особенно в филогенезе) и тем самым вне идеи развития. Между тем... вопрос не имеет решения, пока мы не выделим тот низший генетический функциональный этап второй сигнальной системы, который должен быть прямо выведен из общих биологических и физиологических основ высшей перинной деятельности» [Поршнев 1974: 124–125]. Б.Ф. Поршнев, книгу которого мы здесь, конечно, не можем рассматривать более или менее подробно, одновременно не соглашается с тем, что современному уровню логического и абстрактного мышления предшествовал уровень чувственного и образного познания, не зависящего от речевой коммуникации, как полагал Б.Г. Ананьев [1960, 1969] и другие психологи, как считают многие и сегодня, обращая внимание на необходимость исследований палеолингвистического характера. По мнению Б.Ф. Поршнева, заслуга антрополога проф. В.И. Бунака и проф. Н.И. Жинкина состоит в «обосновании тезиса, что между сигнализационной деятельностью всех известных нам высших животных до антропоидов включительно и всякой из-

вестной нам речевой деятельностью человека лежит эволюционный интервал – *hiatis*. «Но, – как пишет далее автор, – ни В.В. Бунак, ни Н.И. Жинкин не ограничились отнюдь констатацией такого рода», просто Б.Ф. Поршнев полагает, что гипотетические положения В.В. Бунака и Н.И. Жинкина, стремящиеся восполнить «зияние», «лишь возвращают к старому количественному эволюционизму» [Поршнев 1974: 128-129].

Что предлагает Б.Ф. Поршнев? Он пишет: «Я излагаю альтернативный путь: углубление и расширение этого интервала настолько, чтобы между его краями уложилась целая система, противоположная обоим его краям и тем их связывающая» [Там же: 414]. Предлагаемая система заслуживает, несомненно, очень серьезного и особого изучения, но мы склонны, познакомившись с ней основательно, обратить внимание все же на тот факт, что сама идея развития, которой следует Б.Ф. Поршнев, предполагает учет не только различий между уровнями, но и факт зарождения нового качества в старом. Авторы предисловия к книге, о которой сейчас идет речь, правильно отмечают: «Как это нередко бывает в научном творчестве, автор, увлекшись новой и чрезвычайно важной гипотезой, проявляет порой склонность к абсолютизации той или иной идеи, к превращению ее в исходную, решающую в понимании рассматриваемого круга вопросов. Такой абсолютизации подверглась в книге идея о речи-сознании в процессе происхождения человека» [Там же: 5].

Справедливости ради необходимо отметить, что Б.Ф. Поршнев неоднократно сам «прорывает» ту систему связи, «противоположной обоим краям», которую он предложил, и признает факт накопления нового качества: «Долго, очень долго, – пишет он, – вторая сигнальная система была всего лишь таким фактором, управляющим некоторыми действиями, целыми цепями действий, вторгаясь там и тут в поведение ранних людей... А неизмеримо позже она приобрела знаковую функцию, слова и системы слов стали нечто означать и значить, в том числе «заменять» первосигнальные раздражители» [Там же: 414]. А ранее мы цитировали положение о том, что и внутри второй сигнальной системы Б.Ф. Поршнев предлагает выделить «низший генетический уровень», «прямо выводимый из общих биологических основ высшей нервной деятельности нести». Здесь, как нам кажется, и следует особенно четко поддержать Б.Ф. Поршнева; тем более, что имитативную деятельность, включая и эхологические компоненты, автор рассматривает – и кто, на наш взгляд, единственно возможная гипотеза! – как «необходимую эволюционную предпосылку» [Там же: 331] второй сигнальной системы, которой на этой стадии «еще и не могло быть», как пишет сам Б.Ф. Поршнев. Невозможно только согласиться с таким крайним противопоставлением

сигнала знаку, ибо, если изюбрь для уссурийского тигра – первосигнальный раздражитель одного порядка, то имитативный сигнал самого тигра (подражающего реву изюбря с целью приманки) для изюбря – сигнал более высокого порядка, как, скажем, тревожный крик сороки является также сигналом тревоги для других зверей: это тоже своеобразный «сигнал сигнала», так как ни изюбрь не воспринимает первосигнального раздражителя непосредственно, ни лиса или волк не воспринимают «очага опасности» без опосредствующего сигнала сороки.

Мимические сигналы животных, имитирующие движение обезьян, призывающие другую особь или человека к определенному действию (например, к движению в желаемом направлении) – это, на наш взгляд, и есть эволюционный предшественник знакового поведения человека. Антропоиды и гоминиды не могли, живя в стаде или в первобытном сообществе, организуя сложные совместные действия, включая трудовые (вместе с изготовлением орудий труда), отказаться от механизмов сигнализации, которые уже имелись в среде их эволюционных предшественников. Система сигнализации, чем она примитивнее, тем и мотивированнее должна быть по форме, если она «рассчитана» на соответствующий уровень понимания адресата и если она является результатом деятельности также соответствующего уровня. Конвенциональность формы сигнала или знака – результат гораздо более высокого уровня развития мышления по сравнению с сигналом мотивированным, т.е. таким, который воспроизводит означаемое в каких-то его признаках и только тем самым делает сигнал понятным для адресата. На уровне тревожного стрекотания сороки нет мотивированного знака: здесь непосредственная эмоциональная реакция в форме, присущей виду. Но ведь сорока и не адресует свой сигнал никому! Тигр же, «адресуясь» к своему «первосигнальному раздражителю» (изюбрю), прибегает к имитации, т.е. к мотивированному (не в человеческом, конечно, смысле) сигналу, так как опыт подсказал ему, что только этот сигнал приведет к цели. Уместно вспомнить, что «говорящие» птицы (и сорока в том числе) способны, как хорошо известно, к рефлекторному замыканию связи «сигнал – предмет», отчего, как писал Ф. Энгельс, «в пределах своего круга представлений он (попугай – И.Г.) может научиться также и понимать то, что он говорит» [Маркс, Энгельс Т.20: 490]. Естественно, оговорка «в пределах своего круга представлений» прямо указывает и на то, что попугай «понимает» то, что он произносит, не так, как человек; здесь не должно быть никаких «антропоморфических иллюзий», против которых так подчеркнуто восстает Б.Ф. Поршнев. Но ведь логично предположить, что с восхождением по эволюционной лестнице, вместе с расширением

«круга представлений» расширяются и углубляются возможности понимания произнесенного. Во всяком случае, нет никаких исследований, опровергающих такое предположение, а, напротив, имеется богатейший материал, его подтверждающий.

Неадресованный эмоциональный сигнал, как мы знаем, становится для окружающих однозначным сигналом (на уровне животного). Следовательно, особь, испустившая, скажем, крик опасности, не может не зафиксировать в своей памяти результата воздействия крика на других. Именно поэтому вожак стада уже явно адресует свой сигнал окружающим, иначе бы он не повторял его, если результат не достигается. Точно также угрожающая сигнализация, адресованная, например, старым самцом-волком молодому самцу, не прекращается именно до момента результативности, а в случае необходимости усиливается или подкрепляется другим действием, «расшифровывающим» значение ранее поданного сигнала. В данном случае важно не то, какой механизм (генетически унаследованный или приобретенный) лежит в основе такого рода сигнализации. Важно то, что каждый сигнал есть одновременно «сигнал последствий». Именно поэтому, очевидно, унаследованный фундамент порождения сигнализации, свойственной данному виду, остается только фундаментом до тех пор, пока иерархически обусловленный фактор тормозит «пуск». Уже на уровне стада или стаи мы имеем дело с подавлением «недозволенных» реакций. Этот факт также представляет особый интерес в плане исследования того, как непосредственная эмоциональная реакция должна была в соответствующих условиях уступить место другим способам общения.

Весьма важной представляется мысль Б.Ф. Поршнева о том, что существует механизм, «восходящий к ранней поре – к финалу чисто суггестивной стадии эволюции второй сигнальной системы. Это – ответ молчанием» [Поршнева 1974: 438]. Б.Ф. Поршнева предлагает различать молчание «доречевого уровня» («животное молчание») и молчание как отказ от гипотетического – но Б.Ф. Поршневу – механизма эхоталического повторения в пользу паузации, которая привела к образованию словесных (в древнейшем понимании) сигналов, сменивших «неопределенно длительное звучание». Нам же здесь хотелось обратить внимание на возможность использования «в момент молчания» других средств коммуникации: ведь они существовали и существуют наряду с фонациями – мимические и иные выразительные движения. Чрезвычайно интересен тот факт, что существуют универсалии паралингвистического типа не только в человеческом обществе в целом, но и общие для животных всех эволюционных ступеней развития: мы понимаем «тревожное» метание рыб, «угрожающие» стойки петуха или кошки, «стремление уклониться»

от столкновения со стороны змеи или птицы, «удовлетворенность» – выражение собачей морды и т.д. и т.п.

Совершенно очевидно, что и животные «считывают» необходимую им информацию паралингвистического типа при общении с человеком. Контактность участников коммуникации определяет возможность использования паралингвистической сигнализации: домашнее животное «фонирует» хозяину, когда видит его и когда, не видя, зовет; но выразительное движение типа «я покажу тебе, что мне надо» или «возьми это и дай мне» или «приласкай меня» никогда не манифестируется в отсутствии адресата. То же самое мы наблюдаем у человека (если это не патология), который «аукает», заблудившись в лесу, но не использует в таком случае ни мимической сигнализации, ни призывных жестов. Если фонация не расшифровывается адресатом (например, эмоциональное «мычание» глухонемого), начинаются поиски иных средств коммуникации: описательные жесты, рисунок, указательные жесты. Мы видели выше, что в сходной ситуации Туи нашел способ пантомимы. По ведь все мы, затрудняясь объяснить что-либо нашему одноязычному собеседнику, также прибегаем к жестикуляции или рисунку, «чтобы было понятнее». Не парадоксально ли это при развитой и якобы универсальной системе вербальной коммуникации?

«В вопросе о паралингвистических явлениях, – пишут Т.М. Николаева и Б.А. Успенский, – существуют две крайние точки зрения. Одна (ее можно назвать «натуралистической») исходит из естественности паралингвистических явлений и стремится вывести их из определенных биологических процессов; отсюда следует универсальное распространение тех или иных явлений в разных обществах. Другая точка зрения – «конвенционалистская» ... зависит от культуры, традиций. Представляется целесообразным совместить оба подхода при рассмотрении паралингвистических явлений. Но, думается, что первая точка зрения более оправдана во многих случаях применительно к диахроническому, а не синхронному рассмотрению» [Николаева, Успенский 1966: 73].

Разумеется, это нужно (и делается) – исследовать культурно-традиционные, специфические для каждого общества носители данных языков, паралингвистические компоненты речевой коммуникации. Но сам факт наличия даже различных, скажем, жестикуляционных ПК в разных социумах есть одновременно универсальное явление. Впрочем, на наш взгляд, различия подчас подчеркиваются в ущерб установлению общих по форме и по значению ПК. Проф. д-р Карл Леонхард, известный своими исследованиями в области медицинской психологии, предлагает в своей книге [Leonhard K. 1968], опираясь на богатейший фактический материал, собранный за мно-

гие годы, ряд выводов, которые мы предлагаем в собственном переводе и нами избранной последовательности.

1. «Теоретически можно было бы предположить, что средства эмоциональной выразительности различны не только у представителей разных народов, но и у разных представителей внутри одной и той же нации, ибо лица у разных людей чрезвычайно разнообразны. С помощью измерительных приборов очень легко показать, например, явные различия в выражениях лица..., но для всех представителей человеческого рода указанные выразительные движения будут однозначными в силу способности (т.е. психологической способности наблюдателя – И.Г.) отвлекаться от математически обнаруживаемых различий и пользу доминирующего признака, отражающего сущность» [Там же: 51].

2. «Звуковые выразительные средства (имеются в виду произвольные фонации, сопровождающие выразительные движения или вообще эмоциональные состояния. – И.Г.), воспринимаются и интерпретируются с той же уверенностью и определенностью (что и мимические средства. – И.Г.) всеми людьми, будь то женщины или мужчины, старики или дети, людьми с низкими и сильными или с высокими и слабыми голосами» [Там же: 51-52].

3. Отмечая большое разнообразие фонации и трудность (или невозможность) их буквенного или даже транскрипционного фиксирования, К. Леонхард предлагает классифицировать их по многочисленным семантическим группам: «недоверие», «согласие», «ирония», «нетерпение», «радость», «грусть», «гнев» и т.д. [Там же: 296-308].

Таким образом, универсальные для всех людей ПК фонационной или иной природы, а также часть из них, универсальная для всего животного мира, – наблюдаемый и очевидный поэтому факт – могут представлять интерес не только в диахроническом плане, если мы хотим исследовать реальный процесс коммуникации. По универсальность ПК, а также «глобальный характер» (на который правильно указывал Д.П. Рамишвили – см. выше) выразительной фонации или мимического проявления представляют собой, на наш взгляд, сильное доказательство примарности авербального способа коммуникации: жест (указательный, описательный или имитирующий) или фонация (эмоциональная или имитирующая) – эти средства легли в основу человеческой коммуникативной деятельности. Именно они обладают в ситуации конкретностью, но могут быть сами по себе достаточно глобальными, что необходимо и для образования протопонятий через обобщение, и для целей номинации в отсутствии объекта номинации: имитация рычания вызовет образ «того, что рычит», описательный жест – «внешний облик или направление движения того, о чем сообщается». Фонация естественна и универсальна.

на, может быть имитирующей; жест нагляден. То и другое мотивировано и не требует ни внешних (по отношению к субъекту) средств, ни высокой (относительно современного уровня) степени абстрактности мышления. Сложившаяся веками техника использования ПК, как можно полагать, сохранилась в основных своих (универсальных) проявлениях без особых изменений, а, возможно, и передается генетическим кодом. Она представляет собой – по нашей гипотезе – функциональный базис речи [См: Горелов 1974], включающий, разумеется, и механизмы образования протопонятий; на этот базис с течением времени «наложился» качественно иной знаковый конструктор – второсигнальная система в ее нынешнем понимании, но изменился – не в меньшей мере – и механизм мышления. И все же «рудименты» древнейшего состояния коммуникации настолько сильны и активны, что современная деятельность человека не только использует их в коммуникативном аспекте, но и развивается дальше с помощью самых различных «неязыковых» (в смысле естественного языка) систем. Отсюда, как нам кажется, и проистекает «противоречие между представлением о четких границах лингвистического объекта и неопределенностью фактических границ между лингвистическим и экстралингвистическим» [Скребнев 1973: 136].

АВЕРБАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ В ТЕКСТЕ¹

«Во всяком случае невозможно понять, что такое язык и как он развивается, если не исходить постоянно и прежде всего из процесса говорения и слушания» [Есперсен 1958: 15]

Раздел 1. О некоторых деформациях нормативного текста

Ниже будут приведены примеры, свидетельствующие о том, что паралингвистические компоненты общения в ситуации вербального общения могут в отдельных случаях выполнять все основные функции языка, т.е. фактически заменять отдельные вербальные части высказывания. Такого рода замены, естественно, ведут к определенным деформациям семантико-синтаксического текстового целого: если не воспринимать одновременно с вербальной частью сообщения его авербальный компонент, обнаруживается семантическое «зияние», нарушающее сверхфразовое единство, сверхфразовые синтаксические связи. Хорошо известно, что существуют и всевозможные синтаксические и иные нарушения внутри одного предложения, если оно представляет собой разговорную реплику. «Традиционная грамматика, – писал О. Есперсен, – устанавливает правила и всяческие отступления от этих правил расценивает как грубые ошибки... Лингвист-психолог устанавливает причины нарушения правил в том или ином случае: может быть, дело в том, что глагол отделен от подлежащего и не хватает умственного усилия помнить, в каком числе стояло подлежащее; или глагол стоит до подлежащего, а говорящий еще не решил, каким оно будет и т.п.» [Есперсен 1958: 328].

Как видим, О. Есперсен пришел через интроспекцию к верному предположению относительно механизма порождения речи и причин различных нарушений нормы – это было задолго до возникновения теории внутреннего программирования и до появления работ В. Ингве о связи глубины предложения с объемом оперативной памяти говорящего. О. Есперсен, несомненно, имеет в виду возможность глобальных языковых изменений внутри уровней, ведущих к радикальным же изменениям системы в целом) под влиянием индивидуальных (первоначально) нарушений нормы. Поэтому он в этом смысле продолжает концепцию Г. Пауля, хотя ни Г. Пауль, ни О. Есперсен не могли до возникновения социолингвистики предложить конкретных примеров, иллюстрирующих весь процесс становления

¹ По изданию: Горелов И.Н. Авербальные «следы» в тексте // Виды и функции речевой деятельности. М., 1977. С.166-204.

новой нормы от возникновения индивидуальных нарушений прежней нормы до конечного результата [См.: Новое в лингвистике VII].

В настоящем разделе мы не ставим своей задачей рассмотреть сколько-нибудь широкий круг нарушений нормы и дать им всем какую-либо типологическую характеристику. Нас интересуют лишь те из них, которые имеют в своей основе причины, действующие на этапе вербализации, становления формы экспрессивной речи и проявляющиеся в текстах в качестве «следов» внутренних этапов этапа довербального конструирования мысли. В частности, мы не будем рассматривать ни случаев намеренных нарушений (как это имеет место, например, при пародировании: «Я вылезаю ванны из»), ни эллипсов, «восстанавливаемых» по предыдущим репликам, ни говорных, диалектных или возрастных отклонений от нормы.

Рассмотрению подлежат четыре основных типа:

а) Нарушения, связанные с тем, что в процессе вербализации некоторой готовой содержательной программы высказывания эксплицитно осуществляется поиск формы (т.е. слова или словосочетания). Назовем этот тип «НПФ» (нарушения в связи с поиском формы).

б) Нарушения, связанные с тем, что мысленное содержание может быть готовым лишь в какой-то части, тогда как остальные конструируются «по ходу высказывания». При этом текст меняется не только формально, но и содержательно: уже выраженная часть высказывания не просто уточняется, а, например, радикально исправляется» Этот тип назовем сокращенно «ИСП» (исправление содержания реплики)»

в) Нарушения, близкие по характеру к б), но отличающиеся тем, что реплика не исправляется радикально по содержанию, а дополняется различным образом, отклоняясь от основного содержания. Назовем их «ОС» (отклонения от содержания).

г) Нарушения, связанные с тем, что один из вербальных компонентов реплики заменяется авербальными (паралингвистическими) средствами. Этот тип обозначим через «АЗВК» (авербальная замена вербального компонента).

А. НПФ – тип

«Парадигматическая и синтагматическая организация речевого процесса, – пишет А.Р. Лурия, – обеспечивается различными мозговыми системами» [Лурия 1975: 15]. Ввиду того, что эти системы, как показывают исследования в области афазиологии, локализируются различно, процесс вербализации уже сформированного содержания будущего высказывания неизбежно и явно растягивается во време-

ни. Момент выбора подходящей единицы речи заметно отстоит от момента помещения её в синтаксическую структуру внешней речи, а так как операция поиска и структурирования проходит в общем случае вне поля сознания, направленного на содержание, создаются условия для различных ошибок, увеличивающихся при эмоциональных переживаниях. Поиски формы манифестируются тогда ненормативной паузацией, гезитациями фонационной и др. природы. Например: «И вот, когда пришло время пересмотреть наши позиции и ... гм..., изучить. Клеветники стараются ...» [Троепольский 1975: 322].

К этому же типу мы относим различные исправления формы типа оговорок, которые столь же часты в повседневной речи, сколь редко фиксируются в художественном тексте. Авторы, видимо, из эстетических соображений не моделируют случайные ошибки в сфере парадигматики, управления, согласования и пр., если не ставят специальных задач (описание речи пьяного, больного, ребенка и др.).

Приведем, поэтому, нашу собственную запись «живых» реплик: «—А вы как думали, думаете? Что они, что он сами захотят уйти из комнаты?» Конечно, потому что она моложе и более энергичная, энергичнее чем его, чем он».

Б. ИСР – тип

Этот тип включает не менее многочисленные и не менее разнообразные случаи, чем предыдущий. Есть, однако, существенная черта, специфичная именно для этого типа: при факультативных формальных нарушениях содержательные «сбои» являются главной чертой. Например:

«— Ich habe gthört, dab man Sie ...

– Gewib doch ... *Viclleicht*. Aber im Vertrauen gesagt: *Die Verwitung war nicht immer mit mir einverstan – den*» [Malamud 1970: 125].

В ответной реплике мы видим три варианта содержания: категорическое утверждение, выражающее сомнения и, наконец, разъясняющую констатацию

В. ОС – тип

Этот тип обнаруживается чаще всего в парентезах: «*Mein lieber Freund, – ich kann Sie nicht anders nennen, wenn Sie auch meinen Namen wohl nie gehört haben – also, ich bin ein sehr alter Diener Gottes*» [Kisch 1966: 112].

«Он испокон века жизнью занимается. Землю пашет, скотину пашет, ребятешек родит. Ему – какая ни есть политика – *жизнь надобна...* Урожай, приплод» [Залыгин 1973: 387].

Но отклонение от основного содержания может проявляться и не в форме парентезы:

– *А теперь иди.*

Куда? – Страх, растерянность и робкая надежда мелькнули в мокрых зеленых глазах Лизы.

Ох, девка, девка... Меня, бывало, муженек покойничек редкий божий день не бивал. Как разминку себе делал. Все не так, все не эдак... – Тут Александра сама коротко всплакнула, потом притянула к себе Лизу, обняла.

Иди, иди! Домой иди...» [Там же].

«– *Спрашивали?* – *обращается она к Теме.* – *Сколько?*

– Тебе какое дело?

– А мне пять, – говорит Зина» [Гарин-Михайловский 1972: 110].

Г. АЗВК – тип

Рассмотрим случаи замены различных членов предложения авербальными компонентами, опуская случаи замены целой реплики.

а) замена сказуемого

«– Мне тайга не самый страх...

– Ну не скажи-и... Тайга – она у-у-у...» [Ежов, Михалков-Кончаловский 1976: 13].

«– Ну что, не цепляется? – спросил он мастера.

Тот покачал головой: мол, нет» [Там же: 104].

«*Sind angekommen? Der Leut ant nickte müde*» [Welz 1970: 88].

б) замена прямого дополнения

«Во дворе Николай поднялся к лабазам, *кивнул на пудовый замок*:

– Отопри!» [Ежов, Михалков-Кончаловский 1976: 104].

«*Wen denn? Beide zeigten mit ihren Augen dorthin, wo die Gefangenen kauerten*» [Welz 1970: 121].

в) замена косвенного дополнения

«*Wem? Mir? Er nickte langsam und bedächtig*» [Там же: 132].

«– Для кого это ты? Яков подмигнул и *посмотрел на сестру*» [Абрамов 1974: 575].

г) замена обстоятельства образа действия

«*Цыган шел сзади, пел не переставая одну песню за другой.*

– Хорошо поет? – спросил Алексей Соломина.

Тот кивнул» [Ежов, Михалков-Кончаловский 1976: 107].

д) замена обстоятельства места

«Поп посмотрел на Ерофея и, подмигнув, склонил голову направо, как бы спрашивая – *там?*

Ерофей, тоже молча, *утвердительно склонил голову*» [Там же: 14].

е) замена обстоятельства времени

«— *Um wieviel* sollen wir denn? Er sah mich an, und ich verstend, daß die Aeit aus war» [Welz 1970: 79].

«— *Когда же*, дед? — спросил я. Дед задумчиво посмотрел в окно, как бы говоря: *с рассветом*» [Козлов 1962: 14].

ж) замена обстоятельств причины и следствия

«*Warum* wollen sie eigentlich nach Bochum?

Er deutete auf seine Linke. — *Verwundet?* — *Jawohl*» [Bloom 1961: 70].

«*Und wenn nicht?* Er zeigte mir mit seinen Zeigefingern einen Galgen» [Там же].

з) замена подлежащего

«*Это ты меня* нашла?

Она улыбнулась и отрицательно покачала головой» [Козлов 1962: 109].

и) замена обоих главных членов предложения

«*Hierher!* Er *zeigte auf einen flachen Tisch*. Wir Hoben die Beine hinauf» [Remarque 1963: 380].

«Отсутствие обоих главных членов предложения, — отмечает Ю.А. Скребнев, — представляет собой широко распространенную синтаксическую черту разговорного подъязыка, использующего в качестве законченных коммуникативных сегментов потенциальные второстепенные члены предложения, в частности — обстоятельства» [Скребнев 1971: 3]. Определение «потенциальные» здесь весьма примечательно: так как в предложении как в таковом (т.е. в вербальной части высказывания) нет вербально выраженных главных членов, Ю.А. Скребнев логично определяет оставшиеся «коммуникативные сегменты» как «потенциально второстепенные». Иными словами, они были бы второстепенными, если бы наличествовали главные. Не следует ли, пересмотрев традиционную оппозицию «главные / второстепенные», предложить другой подход к описанию интересующих нас типов коммуникативных единиц? На наш взгляд, возможны следующие точки зрения.

1. Предложением (единицей какого-либо языка) считается слово или словосочетание, представляющее собой семантико-синтаксическое единство, несущее информацию, как правило, адекватно воспринимаемую адресатом. В этом случае законченным коммуникативным сегментом (предложения) может считаться лишь вербальный сегмент, выполнимый лишь с помощью другого, вербального же, сегмента. Один из сегментов может представлять главные, другой — второстепенные члены предложения. Говорящие при этом либо удерживают в памяти уже выраженную от начала до

конца синтаксическую структуру, либо конструируют её в ходе общения совместно. Например:

«— Er furchtete sich ein bißchen, — Vor der Dunkelheit? — Vor Gespenstern» [Malamud 1970: 24].

«— Ich möchte zur Abwechslung mal den offenen Himmel.

Über den Kopf haben. — Und den sanften Regen?» [Там же: 23].

«Вот девушку-то мы в одну комнату, а тебя с товарищем...

— Марком.

— С товарищем Марком — в ту, где ты жил» [Казаков 1969: 130].

2. Предложением считается любой знак или сочетание любых знаков, представляющие собой семантико-синтаксическое единство, несущее информацию, как правило, адекватно воспринимаемую адресатом. В таком случае законченным коммуникативным сегментом (предложением) может считаться любой — вербальный или паралингвистический — сегмент или актуальный компонент ситуации, учитываемый говорящими имплицитно. Один из сегментов (любой материальной природы) может представлять главные, другой — второстепенные члены. Говорящие при этом не имеют в виду какую-либо нормативную (в системе данного языка) синтаксическую структуру: сообщение (реплика) конструируется из фрагментов различных знаковых систем. Но авербальному сегменту может быть приписана роль какого-либо члена предложения (см. выше примеры замен различных членов предложения). Термин «предложение» является в таком случае условным.

3. Если коммуникативный акт строится с помощью различных знаков различной природы, то не имеет смысла внутри коммуникативной единицы различать главные и второстепенные члены предложения (как единицы национального языка): «главным» членом «предложения» может быть любой, несущий основную информацию, компонент; будучи, например, авербальным, он не обладает никакими признаками единицы национального языка. Само «предложение» выступает здесь также не в нормативной форме или отсутствует вовсе (в качестве единицы национального языка). Например:

«You set here and discuss your sports and your young ladies and your, — He supplies an imaginary noun with another wave of his hand» [Fitzgerald 1973: 72]

«Holt rief die Treppe hinauf: Nach drei wieder an der Brücke, ja? Sie nickte» [Noll 1966: 28].

«Er tat erstaunt und verlegen. Sie lächelte, beruhigend» [Malamud 1970: 79]. Если и сохранять для таких случаев термин «предложение», то целесообразно предусматривать и соответствующую его-

ворку. Рассмотрим типичный фрагмент диалога: «Gilley schnitt ein aus der Zeitschrift aus, beschnitt es an allen Seiten und heftete es in einen dicken Deckel.

– «Für ein Buch» – informierte er Levin.

– «Illustrationen?» [Malamud 1970: 16].

Первый говорящий, учитывая присутствие собеседника, не обозначает вербально ничего, кроме цели действий. По выраженному эллипсису можно, конечно, «восстановить» полное предложение типа «Ich schneide Bilder für ein Buch aus», но оно было бы явно избыточным. Второй говорящий, уточняя цель наблюдаемых действий, формирует вопрос-эллипсис с учетом, во-первых, наблюдаемых действий, не нуждающихся в обозначении, и, во-вторых, вербальной реплики. Полное предложение можно, очевидно, восстановить в виде «Schneiden Sie Bilder für Ihr Buch als Illustrationen aus», что также было бы избыточным; такого рода реплики характерны для плохих учебных текстов по иностранным языкам, но не для живого диалога, для разговорной речи вообще.

Текст, квалифицируемый как «разговорная речь», отличается, следовательно, определенными типами деформации относительно нормы. Эти деформации мы называем «авербальными следами», т.к. последние локализуются в тех местах, где вербальные компоненты как бы замещаются авербальными. «Как бы» – так как процесс выражения мысли можно рассматривать принципиально иначе: авербальная внутренняя программа эксплицируется так, что вербальные средства замещают всякие иные средства общения только в случае, если последние оказываются менее эффективными и экономными при достижении коммуникативных целей.

Таким образом, не существует никакого готового нормативного текста, который деформируется «со стороны», из-за «вмешательства» паралингвистических средств. Напротив, говорящий бессознательно, как правило, оценивает актуальную ситуацию общения и реализует (вполне материально, разумеется) некоторую коммуникативную программу, «накладывая» на нее вербальную форму. Говорящий приспособливает ее к общей схеме коммуникации, «убирая» все вербально-избыточное, дублирующее иные, авербальные средства понимания. Если надо, синтаксическая структура текста переконструируется вопреки нормам. В таких случаях, весьма редко моделируемых в художественных литературе, исследователи говорят об «окказиональных синтагмах», «случайных перестройках», неоправданных нарушениях» и т.п. Если сравнить, например, текст рассказа А.П. Чехова «Хирургия» со зрительным рядом и текстом экра-

низации, то можно легко убедиться в значительной разнице: актерский текст, накладываемый на актерские действия, оказывается несравненно более деформированным по сравнению с авторским. Синтаксические нормы в тексте актеров практически отсутствуют. Не только в реакциях дядьки Вонмигласова (что вполне понятно), но и в репликах фельдшера Курятина чеховский текст («Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! Сейчас... Вот, вот...») актерами переконструируется почти полностью: он становится понятным в самом общем смысле и только на фоне зрительно воспринимаемой ситуации.

Конечно, актеры вначале имели готовый текст, а затем деформировали его в соответствии с изобразительными задачами и в связи с явно импровизационным подходом (хотя и после несомненно тщательных репетиций). В обычном же случае участники коммуникативного акта, как правило, не имеют готового текста, они порождают его в процессе деятельности; как было указано выше, «деформации» детерминированы авербальными средствами и экстралингвистическими условиями; в сущности, то, что мы называем «деформацией» есть просто пригодная для данных условий общения вербальная структура, дополняющая авербальную форму общения.

Раздел 2. Нарушения норм синтаксирования при отсутствии «внешних» авербальных компонентов

Так называемые «контекстуальные» эллипсы «восполняются» с помощью выраженных в диалоге предшествующих эллипсу а) с сохранением норм синтаксирования, б) с нарушением этих норм.

Пример к а):

– Wer war der letzte Regierungschef in Österreich? –
 – Bundeskanzler Seyss-Inquart. – Ein Nationalsozialist?
 – Ein österreichischer Nationalsozialist. – Der den früheren Bundeskanzler Schuschnigg zum Rücktritt gezwungen hatte [Schneider 1970: 138].

Пример к б):

– Wann geschah es? – Oktober zweiundzwanzig [Там же: 120]. В ответной реплике нет «нормативного» предлога. Нет его и в вопросе. Следует напомнить, что такого рода «нарушения» давно стали нормой для военного – устного и письменного – подъязыка [См.: Курс военного перевода 1966.]. Требования особой лаконичности к средствам выражения в данном подъязыке несомненно целесообразны. Однако, во-первых, тенденция к экономии явно прослеживается и в разговорной речи вне влияния кодифицирующих факторов, а, во-вторых, из вербальной части могут быть «убраны» лишь такие фрагменты, которые не мешают эффективной коммуникации. Сле-

довательно, наличие или отсутствие предусмотренного нормой элемента предложения определяется фактически не самой нормой, а реальными условиями коммуникации.

Показательно, что и в публичной официальной речи мы находим такие, например, нарушения позиционных норм, которые, в сущности, не диктуются и соображениями экономии; чрезвычайно распространены (70%!) вопросительные конструкции, формально строящиеся как повествовательные. Их «вопросительность» оформляется интонационно (устно) и пунктуационно (на письме): *Die Anklagebehörde ist bereit?* – *Die Stärke Ihrer Fraktion im Reichstag resultierte woraus?* – *Sie brauchen dieses Instrument wozu?* – *Ruslandzug, Herr Teuge, stützen Sie worauf?* – *Diese Begründung hat sie überzeugt?* – *Ihre Kenntnis beziehen Sie woher?* [Schneider 1970: 113, 121, 124, 150, 153].

Нормативный порядок слов в репликах того же лица *Gab es direkte Beziehungen zu Hitlers Partei?* [Там же: 134] свидетельствует о том, что большинство позиционных нарушений – не индивидуальная особенность, а соответствие «антинорме», узуальности.

Большая группа эллипсов-вопросов адекватно семантизируется вие формальной синтаксической связи с предшествующими репликами. Здесь имеет место семантико-ситуативная связь: – *Die Grunde dafür?* – *Danach?* – *Ihr Eindruck?* *Die Umstände?* [Там же: 168]. И т.п.

Наконец, нарушения нормативных синтаксических конструкций могут быть объяснены тем, что в момент эмоционального возбуждения говорящего утрачивается эффективность механизма контроля: вербализуются фрагменты содержания по мере их готовности и выражению, причем готовность здесь не означает окончательной формально-нормативной готовности. Речь идет о готовности слова, части синтагмы, а не синтаксического целого:

«– Опять ... тебе говорить. Куда поедет, издыхать? Чтоб я бросил... бросил все вещи... Тут за бесценком! Их никогда... Теперь никогда... Куда мы там... нищие!

– Твои вещи-и-и! А это вот лучше? Вера Адамовна грозно повела рукой на окно. – Так надо?

.....

– Я... сейчас.... посмотреть... окно.

– Ах... все... вы....» [Малышкин 1965: 14-15].

Афазнолог мог бы квалифицировать многие предложения из цитируемого отрывка диалога как продукцию, типичную для «телеграфного стиля» в патологии речи. В смягченном виде, без особых признаков эмоционального возбуждения, можно наблюдать нормальное синтаксирование, однако со «следами» внутреннего программирования: «– *Herr von Seeckt hat Verfassungsgemäß die Regierung von Weimar unterstützt. In logischer Weise. Ja. Sowohl nach*

rechts wie nach links. Gegen den Kapp-Putsch, wie gegen die kommunistische Ruhr-Armee» [Schneider 1970: 135].

Или: – Seine Ideologie? Ich habe sie abgelehnt. Ich bin Christ. Dinge wie Herrenrasse: lieber Himmel! [Там же: 136].

Таким образом, «деформации норм текста» могут с самого начала (т.е. до готовности текста) определяться правилами внутреннего синтаксирования, отличными от норм конструирования экспрессивной речи. Сам нормативный текст является в таком случае вторичным образованием, результатом своеобразной микродиахронии. В реальной (общезыковой) диахронии мы прослеживаем этапы, близкие по характеру и этой микродиахронии: вначале синтаксис текста «свободен» от строгих норм, затем он все более отдается в направлении кодификации (для письменных текстов), оставаясь, разумеется, «свободным» для разговорной речи, не зафиксированной древними литературными памятниками как «речь персонажа», как «диалог». Относительную «свободу» синтаксирования мы можем наблюдать лишь по письменной фиксации авторской речи в памятниках, например, древневерхненемецкого языка или даже в новеверхненемецком («Застольные речи» М. Лютера). В современной художественной литературе, моделирующей естественную разговорную речь, можно проследить обратную тенденцию – приближение к правилам внутреннего программирования в ущерб нормам построения текста.

Систематические для разговорной речи нарушения, включая и такие, которые редко или вовсе не моделируются в литературе – при всем желании авторов сделать диалог оптимально естественным – поддаются классификации. Можно предположить, что типология нарушений представляет собой одновременно типологическую нормативную систему «внутреннего синтаксиса», «синтаксиса глубинных структур», «глубинных программ». Это «внутреннее синтаксирование» представляет собой систему универсального типа, не зависящую от норм любого национального языка. В пользу такой гипотезы говорит, в частности, однотипное синтаксирование в жестовом языке глухонемых (построенном не на базе национального языка), «аграмматическое» синтаксирование при афазии, синтаксис детской речи (2-2,5 года), а также полученные нами экспериментальные результаты (от носителей разных языков) по перекодировке вербального сообщения в жестовое [См.: Горелов 1974: 76-78].

Важнейшими универсальными типами такого рода являются, на наш взгляд, следующие:

«Нулевое обозначение» субъекта действия (говорящего).

Постпозиция определения.

Постпозиция предлога, т.е. конструирование предложного сочетания по типу тюркских языков.

Неразрывность блока «действие-объект», «действие-обстоятельство» при первоначальном обозначении.

Раздел 3. О контекстных значениях паралингвистических средств коммуникации

Паралингвистические средства коммуникации, как уже отмечалось, лишь недавно стали предметом рассмотрения, хотя междометия, называемые также «звуковыми жестами», давно и систематически описываются. Исследователи рассматривают исключительно (если говорить об отечественных лингвистах) словарные, т.е. орфографически кодифицированные единицы, не отражающие ни в отдельности, ни в совокупности ни действительной звуковой субстанции, ни всего разнообразия фонаций. При этом указывается обычно на «морфологическую неоформленность» и на «синтаксическую изолированность» междометий. Пожалуй, только Н.Ю. Шведова занимает здесь иную позицию [1957]. Тем не менее, господствующим остается мнение, что семантическая характеристика междометий может быть только глобальной или «фоновой»: междометия выражают эмоции говорящего, а не смысл сообщения, т.е. представляют собой группу «незнаменательной лексики». Естественно, что и жестовые, мимические, пантомимические компоненты сообщения при таком подходе также наделяются такими же характеристиками. Правда, О.Б. Сиротинина отмечает, что «не всегда легко разграничивать их (т.е. единиц «незнаменательной лексики». – И.Г.) значимое и незначимое употребление» [Сиротинина 1974: 71]. Априорное деление единиц языка на «знаменательные» и «незнаменательные», на наш взгляд, неплодотворно в принципе, поскольку значение любой единицы реализуется только в речи; мы «знаем» значение единицы словаря только потому, что она извлечена из контекста, смысл которого нам был ясен из прошлого опыта, или который иллюстрируется в словарной статье через употребление слова в понятном нам контекстном окружении.

Любое «знаменательное» слово может быть, например, при хезитациях, «заполнителем паузы», т.е. стать «незнаменательным», хотя в принципе и такое употребление значимо. Словосочетание «чистое дело – марш!», состоящее из вполне знаменательных слов, приобретает в устах старого князя из «Войны и мира» эмоциональное (причем глобальное) значение, тогда как пометки «гм-гм!» на полях ленинских конспектов совершенно недвусмысленны и выражают оценочное (ироническое) суждение относительно данного текста.

До рассмотрения контекстных значений интересующих нас средств коммуникации обратимся предварительно к некоторым результатам более общей классификации. Паралингвистические средства коммуникации обнаруживают себя в двух функциях: а) сопровождения вербальной части сообщения. Например: «Пивоваров помолчал минуту, что-то прикидывая про себя, потом со вздохом ответил: – Что ж, я схожу...» [Быков 1973: 136].

б) автономного (т.е. не зависящего от вербальной части сообщения) выражения смысла сообщения. Например: «В этот раз он не смог или не захотел подавить в себе *стон*, и Пивоваров обернулся на бруствере, *метнув в его сторону испуганный вопрошающий взгляд*. – Ничего. Все в порядке» [Там же: 85]. Или: «Dann winkten sie alle: Frau Wolff, Herr Paschke und Herr Epp» [De Bruyn 1968: 242].

Как известно, вербальная часть сообщения может в ряде случаев интерпретироваться совершенно по-разному, в том числе и с результатом, который можно назвать опровергающим. Весьма часто интерпретация такого рода оказывается возможной только потому, что авербальные сопровождающие компоненты сигнализируют противоположный смысл. В таких случаях мы говорим об «ироническом замечании» или о «фальшивом тоне», о том, что «по глазам было видно, что это не так» и т.п. Такие интеграции свидетельствуют о неограниченно-автономных возможностях авербальных средств коммуникации. По своей физической природе последние распадаются на три группы:

- а) фонационные;
- б) мимико-жестовые и пантомимические;
- в) смешанные (т.е. включающие средства а и б).

Возможны и полезны подробные классификации авербальных знаков по различным субстанционным критериям (характер движения, участие тех или иных частей тела или лица в этих движениях, силовые и тоновые характеристики фонаций и пр.). Это не входит в нашу задачу. Отметим, однако, что интересующая нас семантическая характеристика прямо связана с физической природой знаков. На основании накопленного нами материала можно утверждать, например, что: 1) указательные значения реализуются, как правило, с помощью жестов; 2) описательные значения – жестами, в пантомиме; 3) значения побуждения, опроса, утверждения и отрицания – различными знаками, включая смешанные; 4) модальные значения фонационными средствами, но и некоторыми жестами и мимическими комплексами; 5) сложные значения, включающие указания и (или) описания совместно с выражением модальности – смешанными средствами.

Внутри любой из перечисленных групп можно обнаружить многочисленные и разнообразные подгруппы. Для иллюстрации покажем подробнее группу «Модальные значения»:

а) одобрение / неодобрение

«— Die besten Schweinerippchen meines Lebens, erklärte die Dame kühn. Alfons *nickte befriedigt*» [Remarque 1963: 86].

«Veronika schüttelte mißbilligend den Kopf» [Noll 1966: 25].

б) согласие / несогласие

«*Eine energische Handbewegung.* — Also, bist einverstanden. — bestätigte Valentin» [Kahn 1967: 44].

«— Und Sie? *Er machte eine müde wegwischende Bewegung*» [Remarque 1963: 352].

в) решительность / нерешительность

«*Sie stand plötzlich auf.* — Schin? — fragte Pauline leise» [Kahn 1967: 51].

«Und das von Hasses? *Sie zuckte die Achseln*» [Remarque 1963: 254].

г) сочувствие / равнодушие

«Um vier kommt er wieder. *Gottfried sah mich mitleidig an*» [Там же: 203].

«— Du kannst ja etwas... *Aber er schwieg und blätterte gähmend in der Zeitschrift. Ich will nicht — sagte seine Positur — klar...*» [Там же: 111].

д) восторг / отчаяние

«— Wie? — Na, gewiß doch! Und *das Gesicht überglänzt, triumphierend ließ Guste das ganze los*» [Mann 1957: 314].

е) терпеливость / нетерпеливость

«— Sag mal schon! Du schaust mich an, wie Pfarer Schlucke!» [Kahn 1967: 119].

«*Er unterbrach, mit Ungeduld hob seine Hand*» [Там же: 92].

Известны символические однозначные движения, включая пантомимические, которые могут выражать, например, крайнюю степень неодобрения слов собеседника, его или своих действий (с намеком на умственную неполноценность), а также реальную или шутовую угрозу, подтверждение искренности и т.д.: «*Guido deutete an seine Stirn und gab es auf*» [Remarque 1963: 145]. «*Jupp legte die Hand auf die Brust — Mein Ehrenwort*» [Там же: 248]. «*Fritz spuckte spaßeshalber in die Hände und krepelte die Ärmel auf*» [Gotsche 1954: 280].

Авербальные знаки, сигнализирующие эмоции, адресуют их, конечно, в контексте совершенно определенным денотатам. Иными словами, выражают, скажем, не просто «восхищение», а восхищение чем-то определенным.

Посмотрим на конкретных примерах конкретные денотативные возможности авербальных средств.

«Но он не был мертв, и как только Рязанцев остановился в изголовье, показал на стул.

Рязанцев сел.

– Что, Александр Александрович?

Что-то нужно было подать с тумбочки.

.....
Головин ... снова *показал на тумбочку*.

Рязанцев подал *карандаш*.

Острием карандаша Головин *покалывая себя*: лицо, левую руку, грудь, а едва *заметным шевелением правой стороны лица* *показывал, чувствовал он уколы или не чувствовал*.

.....
Рязанцев догадался и подал *часы*.

Правым ухом Головин услышал ход: раз-два, раз-два, раз-два! – *удары отражались в очертаниях его приоткрытых век*. Одним глазом он видел время – Рязанцев и это понял» [Залыгин 1973: 167-168].

«Молитесь как? – повторил солдат и *показал на образ*. Черномазый виновато улыбнулся и перекрестился.

.....
Австрийцы поднялись, надели шинели, а черномазый растерянно оглядывался во все стороны. – Аль потерял что? Тот *похлопал себя по голове*. – *Шапку?*» [Малышкин 1965: 93-94].

Примеры иллюстрируют экспериментальные условия общения, при которых вербальная коммуникация невозможна: в первом случае Рязанцев общается с парализованным Головиным, во втором – старуха Акимовна с военнопленными австрийцами. Но главное сейчас для нас заключается в том, чтобы показать, что паралингвистические знаки используются не просто в общих своих «значениях указания», «значениях вопроса» и т.п., а в конкретном акте означают: «подать», «фотография», «Рязанцев ли Вы?», «карандаш», «чувствую укол», «вижу время», «слышу тиканье часов», «исповедую христианство», «ищу шапку» и т.д.

Легко показать, что авербальные средства естественным образом в нормальных условиях общения также выполняют совершенно конкретные или конситуативные значения (включая абстрактные) единиц, входящих практически в любой класс, в любую часть речи: «Guido zwimkerte mir und hob vier Finger hoch» [Remarque 1963: 248] (означает: 400 марок).

«Hier soll ein Schuster wohnen. Ich hab den Namen vergessen. Der Bauer *wies mit dem Finger auf das kleine Haus*» [Gotsche 1954: 127] (означает: «дом сапожника»).

«Афонька выбросил ему карту и, делая беспечное лицо, взял себе. Все вопросительно поглядели на него» [Малышкин 1965: 28] (означает: «Сколько?» (очков)).

«Ер из-за этой же проклятой застенчивости неожиданно для себя *мотнул головой на кашу*: – Вот этого. Другая курсистка положила тарелку каши, тоненькая подала ему ложку» [Там же: 204].

«– Дай-ка вот этого! – приказал он, нагло ткнув пальцем в бутерброды» [Там же: 206].

В последней паре примеров авербальные знаки могут показаться сопровождающими. На самом деле один и тот же вербальный компонент «это» или «дай это» дешифруется именно авербальным знаком каждый раз в разных значениях и с различными коннотациями.

«– Вашскородь, разрешите перекур кончать?

Левитин молча кивнул головой [Соболев 1972: 358] (означает: «можно»).

«Дай-ка мне, Белоконь, – сказал вдруг Юрий, *протягивая* руку за листком» [Там же: 91] (означает: «листок»).

«– Ваш? – *кивнул я на дом с террасой*» [Солоухин 1974:28] (означает: «дом»).

«– Ого! – воскликнул он, с восхищением разглядывая трубку» [Нагибин 1975: 82] (означает: «прекрасная»).

«Чего вы усталились на меня? – сказала она резко. Это же пустой номер» [Там же: 316] (взгляд означал: «нравится»).

«Мы чокнулись, я выпил до дна, он только пригубил.

– Нельзя, – сказал он, перехватив мой взгляд» [Там же: 315] (взгляд означал: «почему»).

Приведенных примеров, думается, достаточно для иллюстрации выдвигаемых нами положений. Ниже будет представлена сводная таблица, характеризующая результаты рассмотрения 10000 интересующих нас фактов.

Попытаемся – также с помощью литературных примеров – показать, что вербальная часть сообщения обычно «накладывается» на предварительно развернутую авербальную схему коммуникации, так что и так называемые «сопровождающие авербальные компоненты» на деле реализуются в акте коммуникации раньше вербальных.

«Дверь открылась, и в купе с коридорного света *глянуло рассерженное лицо зеленоглазой проводницы*:

– Чего вам еще?» [Там же: 9]

«*Тоненькие бровки удивленно и чуть обиженно выкружились*:

– Кто же бреется на ночь глядя?» [Там же: 10].

«*Она поглядела на меня пронизательным, взрослым, чуть саркастическим, очень сложным взглядом, осуждение сочеталось в нем с пониманием и еще чем-то, не сразу разгаданным мной*.

– Любви вам нужно, вот чего!» [Там же: 15].

«Она хищно и цепко уставилась на меня, будто ожидая возражения или усмешки, она глядела, как рысь, готовая к прыжку. – Не веришь» [Там же: 67].

«Дежурный встретил меня мягкой укоризной:

– Что же вы раньше не сказали?...

.....
Он подмигнул мне, как своему.

– Да будет вам!...» [Там же: 73].

«Трубникову стало мучительно жаль Семена, он хотел сказать что-то доброе, но против воли вырвалось жестокое, обвиняющее: – Кабы она одна была» [Там же: 99].

«Семен придвинул к нему стопку: – Со свиданием!» [Там же: 100].

«Семен махнул рукой: – На соплях наша жизнь...» [Там же: 101].

«Трубников ожидал удивления, огорчения, разочарования, но на большом лице Семена отразилась такая глубокая, такая искренняя жалость, что он растерялся. – Егорушка, милый, за что же тебя так? – сказал Семен» [Там же: 104].

«Und zum erstenmal nach langer Zeit sah Katrin wieder etwas in seinen Augen aufblitzen, was vielleicht Spott, ein gutmütiger und sehr liebevoller Spott sein möchte: Alte Geschichten? Auf keinen Fall! Heue, ja!» [Laudius 1956: 396].

В данных примерах очередность авербального и вербального компонентов определяется не произволом автора, а естественным механизмом общения: ведь интонационная схема формируется раньше, чем реализуются найденные лексические единицы. То же следует сказать и об эмоциональных выразительных движениях любой физической природы: они манифестируются в акте общения с различной силой, но явно раньше, чем вербальная часть. При изучении текста поэтому важны не формальные подтверждения очередности, а естественная возможность следования вербального и авербального компонентов. Например:

«– Почему ты рисуешь одни дома? – допытывался Трубников.

– Так... – отводил глаза Борька» [Нагибин 1975: 175].

«– Ничего я не могу! – вспыхнул Борька» [Там же: 176].

«– А чего строить-то? – Борька удивленно поднял темные брови» [Там же].

«Ох, помолчи! – она поморщилась, словно от боли» [Там же: 258].

Этап мотивации, сопровождаемый неизбежно эмоциональным «фоном» («фон» может быть в таком случае и преимущественной формой мотивации, например, при выражении гнева, удивления и пр.), формируется во внутренней программе будущего высказывания раньше всех других. Естественно, поэтому, что и внешнее выраже-

ние эмоционального состояния, как правило, оформляется раньше, чем вербальное сообщение.

Интересно в этом плане мнение А. Толстого, высказанное им в беседе с И. Сельвинским. По просьбе Толстого, И. Сельвинский цитирует начало своей трагедии об Иване Грозном: «Баранина-то с карасями – где?». Далее Сельвинский пишет: «Толстой остановился, поглядел мне в глаза и произнес тихо: – Как выразительно! Вы чувствуете за этими словами жест? И он тут же развил мне свою теорию жеста. По мнению Алексея Николаевича, мысль человека проявлялась в жестикуляции и только впоследствии обрела слово. «С течением времени, по мере развития культуры, речь вытеснила физические движения, изображавшие чувства, и у цивилизованных народов, особенно у высших классов, жест начал атрофироваться. Исчез он также из литературы. Фраза стала выражать главным образом мысль. Тип и даже личное в нем писатель передает путем социального колорита. Предполагается, что это и есть портрет. Но это недостаточно. Необходимо вернуть фразе жест!» [Сельвинский 1972: 7] (разрядки мои – И.Г.). Как видим, А. Толстой требует не только описания жеста в ткани художественного произведения (также описания регулярны для литературы XVIII-XX вв.), но определенной деформации текста в живой речи персонажа, вызванной «жестом за фразой». Эта мысль подтверждает наше предположение относительно микродиакронии вербального сообщения, в которой выразительное движение (включая интонационную) схему и фонационно – «междометные» компоненты) разворачивается в коммуникативном акте в качестве основы для позднее формируемой вербальной части. Чрезвычайно выразительно иллюстрирует сказанное рассказ М. Роцина «Чмок-чмок», из которого, к сожалению, мы можем привести лишь часть авторского описания авербального поведения персонажа, сатирически представленного: «Поглядеть на нее – она самая модная, самая элегантная, такая интересная молодая женщина: реснички, глазки, ножки, прическа, колечко, сумочка через плечо – всё как надо... – привет, привет, чмок, чмок, скок, прыг! – пока разберешься, дай бог пригладеться, разобраться, обнаружить истину. А истина в том, что в ее туалете всегда сто изъянов, и непременно какой-нибудь главный изъян, изъян этого дня или этой недели. Она помнит о нем каждую секунду, он ее мучает, на нем сосредоточены все силы. Из-за этого изъяна она вынуждена придумывать особую манеру поведения: то она крутится, как вентилятор, и это означает, что нельзя ни к кому оказаться боком, поскольку на боку молния не в порядке; или начинается игра кулачками, потому что маникюр совершенно облез; или является странная улыбка с закрытым ртом, оттого, что зуб болит... Иногда какой-то жест, гримаска,

завязанное горло из этой случайной серии берутся вдруг на вооружение, прилипают надолго» [Литературная Россия 1974: 12].

Показательно, что и автор (лирический герой) прекрасно «считывает» – всю авербальную информацию и интерпретирует ее смысл. Показательно и то, что эмоциональное напряжение автора выразилось в применении звуко-символических (и звукоподражательных) знаков, а один из них стал даже названием рассказа, можно себе представить рассказ в исполнении мастера художественного слова: текст непременно будет «наложен» на выразительную, богатую информацией авербальную схему. В другом примере фонационные (звукоподражательные) компоненты выполняют функции сказуемого и, хотя и расшифровываются словесно («полнозначно»), вполне могли бы в контексте выступать автономно, тем более, что юмористический рассказ называется «Брюки без дефекта»: «И только он произнес эти крылатые слова, у него подтяжки – ч п о к ! – лопнули, а брюки по закону всемирного тяготения – в ж и к ! – съехали» [Горин 1975: 21].

Сводные данные к разделу «О контекстных значениях паралингвистических средств коммуникации»

(материал исследования – 10000 литературных примеров)

Авербальных компонентов сопровождения (1)	
вербальных высказываний –	7800
Автономных авербальных сообщений (2) –	<u>2200(± 30)</u>
Из них:	10000
а) фонационных	1050
б) мимических	3200
в) пантомимических	400
г) смешанных (фонационно-жестовых и мимических)	5350

Среди авербальных компонентов (1) семантизируют контекстное значение многозначных вербальных компонентов (типа «это», «там») 4200. Остальные 3600 либо дублируют вербальную часть сообщения, либо привносят коннотативные значения (усиления, ослабления и др.).

100% автономных авербальных сообщений (2) выполняют функции конкретных номинаций ситуативных составляющих. Авербальными средствами выражаются следующие обобщенные значения компонентов сообщения:

	(± 30)
а) указательные	1620
б) описательные	700
в) побуждения	900
г) вопроса	700
д) утверждения	2000

е) отрицания	2000
ж) модальные	960
з) сложные (напр., «вопрос-недоумение»)	1020
и) символические (модель «угрозы» и др.)	100

Всего: 10000

В одном из наших экспериментов на 46 испытуемых¹ предлагалось сконструировать несколько сообщений с использованием произвольной (но естественной для каждого) мимико-жестикуляционной программы. Предварительно испытуемые получали образцы вербальных сообщений без обозначения авербальных компонентов. Ниже представлено описание выполнения заданий. В таблице обозначено время появления вербальной схемы, т.е. временной интервал между моментом выразительного движения и началом внешней речи. Если внешняя речь начинается одновременно с реализацией выразительной программы, в таблице ставится знак «=», если вербальная схема манифестируется позднее внешней речи, перед описанным авербальным знаком ставится знак «-», «АЗ» – авербальный знак, «ВЧ» – вербальная часть.

Образец сообщения	ВЧ	АЗ	Временной интервал	Число испытуемых
1	2	3	4	5
1. «Кто это с вами?»	«С кем это вы пришли?»	Движение головой в сторону воображаемого собеседника. Мимика «вопроса и удивления» – (То же)	0,5 сек 0,3 сек = 0,3 сек	14 (30%) 14 (30%) 11 (24%) 7 (16%)
2. «Разве можно прикрепить картину такими маленькими гвоздиками?»	«Куда годятся такие маленькие шурупы?»	Мимика «неодобрения», моделирующее движение пальцами. Фонации.	0,3 сек 0,1 сек =	20 (43%) 20 (43%) 6 (14%)
3. «Такая машина при такой ширине двери, конечно, не пролезет».	«Нечего и думать, что в такую дверь пройдет такой шкаф».	Фонации «огорчения», «растерянности». Жесты. Моделирующие размеры.	= 0,1 сек	23 (50%) 23 (50%)
4. «Вы говорите форменную»	«Чепуху вы говорите,	Мимические знаки «рассерженности» или	0,5 сек =	34 (74%) 11 (24%)

¹ В качестве испытуемых привлекались студенты и лица 26-34 лет профессиональные художники, рабочие и летчики).

ерунду, этого не может быть!»	глупость!»	«нетерпения». Отмахивающийся жест. – (То же)		1 (2%)
5. «Очень неуютно у вас здесь!»	«Грязно очень, запущенно...»	Гримаса «неудовольствия», фонация «отвращения», неопределенные жесты (иногда – указательные)	0,3 сек 0,1 сек =	20 (43%) 20 (43%) 6 (14%)
6. «Очень вкусно, только к рукам прилипает».	«Нравится, но к пальцам липнет»	Моделирующий жест пальцами, мимика «двузначная»		46 (100%)

Попутно отметив, что авербальные компоненты способны выражать в приведенных примерах экстенсиальные (в ряде случаев – интенсиальные) значения атрибутивного, пейоративного, диминутивного и др. типов, оценим итоги эксперимента:

Случаев предварительного выражения авербальных средств 59,3% (в сред.)

Случаев одновременного оформления вербальной и авербальной частей сообщения 37,7% (в сред.)

Случаев отставания авербальной части сообщений 3% (в сред.)

Учитывая, что испытуемые конструировали в искусственных условиях эксперимента неактуальные для них сообщения, не обладали актерскими профессиональными возможностями, а средства изменения времени появления вербальных и авербальных составных сообщения были слишком просты (секундомер), из-за чего маловыразительные движения могли быть не зафиксированы вообще, мы считаем, что опыт подтвердил (даже на основании приведенных итоговых данных) нашу гипотезу: вербальная часть сообщения накладывается на предварительно выраженную авербальную систему коммуникации.

Это мы считаем основным выводом по представленному материалу. Следующие выводы формулируются нами так:

1. Опережение вербально-оформленной части сообщения авербальной моторикой, включая фонационную, имеет физиологические основания, известные в отечественной литературе под названием «первичных ритмов возбуждения» [Войко-Яснецкий 1974], которые называются К. Лоренцом «ауторитмией», «поисковым автоматизмом», и которые репрезентируют эффект опережающего отражения, характеризующего активный, деятельный характер поведения (Павлов, Бернштейн, Анохин, Выготский, Леонтьев), противопос-

тавляемого пассивному «отражению» или вульгарно понимаемой рефлексии. Именно такая активность, особенно в ситуации общения, т.е. в состоянии «пуска» установки на общение, причём, как правило, вербальное, органы артикуляции должны обнаруживать довербальную активность в виде латентных «речедвижений», фиксируемых обычно ЭМГ по методике исследований внутренней речи.

2. Авербальные знаки разной природы и различных разрешающих возможностей, не будучи языковыми, являются речевыми компонентами, способными в акте коммуникации реализовать языковые функции, выступать в качестве означающих тех денотатов, которые в данном контексте не требуют обязательных вербальных обозначений.

3. Факт постоянного использования «авербальных актов сопровождения» указывает на функциональную значимость последних. В каждом конкретном случае, а не априорно, можно решить вопрос относительно того, какие средства выражения – вербальные или авербальные – являются избыточными и в какой именно мере.

4. В описаниях языков отсутствуют более или менее достаточные перечни фонаций, превышающих по количеству и различающихся в своих характеристиках гораздо больше, чем кодифицированные междометия. В языке нет, разумеется, авербальных знаков, но нет и достаточных средств для их адекватного описания. Поэтому, в частности, киносценарий менее информативен, чем фильм, по нему поставленный – как и пьеса (текст) по сравнению со спектаклем.

5. В текстах художественных произведений, даже в самых «естественных» моделях диалога не фиксируются многие деформации вербальной части сообщения, обеднены (упрощены и реже, чем в реальных условиях общения показаны) авербальные средства выражения и признаки перевода внутренней содержательной программы в экспрессивную речь. Тем не менее, крупные писатели в талантливых произведениях передают – с разной степенью достоверности в каждом отдельном случае – результаты своих жизненных наблюдений над живой речью. Поэтому общие закономерности вербализации и коммуникации вообще прослеживаются и на текстах художественных произведений.

6. Наш материал, по-видимому, подтверждает правильность точки зрения Гудмана, полемизируя с которым Н. Хомский писал: «По Гудману, первичные символические системы это зачаточные доязыковые символические системы, в которых жесты и сенсорные и перцептуальные явления всех видов функционируют как знаки... Но очевидно, что доязыковые символические системы не могут быть использованы для того, чтобы объяснять и обучать в том смысле, в каком 1-й язык может быть использован при обучении 2-му»

[Хомский 1972: 100]. Следует, однако, указать, что «доязыковая символическая система» оказалась достаточной для становления (включая «объяснение и обучение») 1-го языка; в противном случае мы должны были бы признать существование этого первого языка в современном его качестве, отказавшись от идеи развития в языкознании. Однако то разъяснение, которое Н. Хомский дает в цитированной работе (включая теории эллипсиса Санкциуса) своей трансформационной концепции («лежащая в основе глубинная структура дана «уму», а сигнал с поверхностной структуры – «телу») [Там же: 28-29] полностью нами принимается.

7. Наш материал, по-видимому, подтверждает также мнение Р. Арнхейма: «...восприятие заключается в образовании «перцептивных понятий»... Данный термин указывает на поразительное сходство между элементарной деятельностью чувственного восприятия и более высокой деятельностью логического мышления... В настоящее время можно утверждать, что на обоих уровнях – перцептивном и интеллектуальном – действуют одни и те же механизмы. Следовательно, такие термины, как «понятие», «суждение», «логика», «абстракция», «заключение», «расчет» и т.д. должны неизбежно применяться при анализе и описании чувственного познания» [Арнхейм 1974: 58-59]. «Перцептивное понятие» Р. Арнхейма (и «протопонятие» А. Валлона) авербально «обозначено» в аппарате мозга. В зависимости от того, переходит ли это «понятие» в интеллектуальную сферу, оно может (не должно!) либо перекодироваться в обобщенный знак языка, либо в универсальный авербальный, чувственно воспринимаемый, знак естественной (мотивированной) природы. Описательный жест есть, как и звукоподражание, непосредственное воспроизведение «перцептивного суждения» и пр. в виде их моделей в функции коммуникации. Всякая модель есть результат абстрагирующей операции. Есть, поэтому, типы жестов, типы фонаций, пригодные для контекстного обозначения разных конкретных денотатов, входящих в те или иные классы элементов объективной реальности, представленных классами единиц языка.

8. Микродиахрония порождения текста обнаруживает закономерности, общие с онтогенетическим развитием речи. «Нам не удалось обнаружить той самостоятельности, которую мы приписывали речевому развитию ребенка, – пишет Л.Ф. Обухова, – оказалось, что речевое развитие прежде всего полностью отражает достижение реальных действий детей с предметами. Содержание рассуждений ребенка само пополняется за счет его практической деятельности... Возникновение эмпирического знания имеет собственную логику развития и своеобразное отношение словесного и наглядного планов деятельности... В словесных рассуждениях

детей дошкольного возраста отражается все то и только то, чем обеспечивает ребенка его эмпирический опыт» [Обухова 1972: 84-85]. Согласно данным специалистов, словесный отчет ребенка о проделанных им действиях иногда невозможен, иногда затруднен, но всегда беднее самих действий, тогда как пантомимическое воспроизведение – достаточно полно и подробно. Таким образом, символически-описательные пантомимы (некоторые нами даны в примерах выше), указательные жесты, эмоциональные реакции и пр. – суть рудименты самой практической деятельности с предметами, о которых идет речь. Сам механизм учета в акте коммуникации совместно с партнером ситуативных условий – это один из видов совместной деятельности, делающей ненужным номинацию того или иного элемента реальности (рождение конситуативного эллипсиса).

9. Деформации (синтаксические) текста «вызываются» адаптацией вербальной деятельности к авербальной схеме коммуникации.

СООТНОШЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО И ВЕРБАЛЬНОГО В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ¹

Данная проблема имеет прямое отношение к целому ряду общих и частных задач, поставленных и решаемых с разной степенью достоверности в самых различных сферах познания.

Философы, антропологи, психологи, дефектологи и лингвисты, пользуясь вместилищами рамками «язык (речь) – мышление (сознание)», рассматривают эту проблему каждый в соответствии со своими целями; кибернетики, занятые теорией и практикой «искусственного интеллекта», пытаются, уточняя понятие «интеллект», создать устройства, способные к адекватной оценке ситуации, к общению с человеком, к совместной с ним целесообразной деятельности.

Актуальность проблемы хорошо выявляется на примере следующих высказываний философа, дефектолога, психолога, лингвиста и кибернетика, которые отказались от известных догматических утверждений, равно как и от весьма смелых, но недостаточно обоснованных футурологических претензий.

1. «Можно указать на десятки (если не сотни) работ, авторы которых знают и признают только «речевое мышление», только «словесное мышление», а понятие мышления как такового, вербально не оформленного, объявляют предрассудком старой логики» [Ильенков 1977: 92].

2. «Экспериментально опровергается бытующая до сих пор идея о том, что человеческая психика рождается или просыпается только вместе с усвоением языка, речи» [Мещеряков 1974: 317].

3. «Основанием для разграничения семантического и лексемного компонента является отсутствие изоморфизма между планом выражения и планом содержания в лексиконе любого языка» [Кацнельсон 1972: 115].

4. «Приобретение языка не должно рассматриваться как отбрасывание лежащей в его основе перцептуальной системы, которая продолжает управлять нашими решениями и поведением... Восприятия должны кодироваться на каком-то внутреннем языке... При этом вовсе не обязательно предполагается соответствие между структурой этого внутреннего языка восприятия и словесным языком» [Рейтман 1968: 327-329].

¹ По изданию: Горелов И.Н. Соотношение невербального и вербального в коммуникативной деятельности // Исследование речевого мышления в психолингвистике, М., 1985. С.116-150.

5. «В любом случае до устройств, понимающих естественный язык в любом общем смысле этого слова, еще далеко. Очень скоро мы станем свидетелями лишь иллюзии такого уровня... Мы не знаем, как осуществляется процесс мышления» [Hunt 1975: 519, 526].

Приведенные высказывания свидетельствуют о наличии явного конфликта между двумя исходными позициями в подходе к проблеме соотношения «мышление (сознание) – язык (речь)».

Согласно одной из них мышление, если и не отождествляется с функционированием естественного языка (такое отождествление имеет до сих пор место), то реализуется только с помощью языковых средств, т.е. является вербальным.

Другая точка зрения заключается в признании автономности (относительной) языковой системы и системы, ответственной за собственно мышление.

Судя по тому, что говорит Э. Хант, можно полагать, что отсутствие искусственных систем, имитирующих человеческий тип мышления, объясняется, в частности, тем, что до сих пор обучение машины языку считается одновременно обучением ее квазичеловеческой деятельности. Но здесь, однако, обнаруживается, что «в живой речи нет отдельной лингвистической единицы, такой, как предложение, или, на языке операций вычислительной машины, программа или процедура, которую можно понять изолированно. Анализ лингвистического сообщения зависит от внутренней базы данных слушателя, причем эта база возникла в результате понимания предыдущих сообщений» [Там же: 519]. Но «внутренняя база» возникла не только «в результате понимания предыдущих сообщений», но «еще» и в результате социально-практической деятельности, позволяющей соотносить каждое существенное «сообщение» с экстралингвистической реальностью или с другими «сообщениями», что позволяет различать «истинное» от «ложного», «возможное» от «невозможного» и т.п.

Поэтому возникает идея о создании «перцептрона» (устройства, воспринимающего материальный мир с помощью искусственных рецепторов), соединенного с такой программой самообучения, которую Э. Хант называет «зародышевой программой понимания», последняя должна обладать «возможностью добавлять новые правила в ее синтаксические и семантические подпрограммы по мере того, как возникает такая потребность» [Там же: 519]. «В конце концов, не так ли учатся языку люди? Возможно, это более разумный путь» [Там же]. Этот риторический вопрос Э. Ханта и ответ на него весьма знаменательный: разумный путь, возможно, предполагает попытку не имитировать синхронное состояние человеческой личности, а осуществить некую диахронию «от зародыша» до *homo loquens* (разумеется, в машинной модификации).

Надо сказать, что и лингвисты, и психологи, и философы, и антропологи также хотели бы создать сколько-нибудь достоверную модель подобного типа, даже если она будет не действующей, а описательной.

Эволюционный аспект в семиотике

Стремление к удовлетворительному описанию функционально-структурного статуса знака все более стимулируется задачами из самых различных областей, постепенно становящимися смежными: собственно лингвистика и кибернетика (особенно ее отрасль, занимающаяся проблемой искусственного интеллекта), лингводидактика и этология, нейрофизиология и зоосемиотика», называемая также биосемиотикой [Степанов 1971: 27-32].

Поскольку генезис знаковой деятельности подчиняется, в частности, диалектическому закону зарождения нового качества в недрах старого, поскольку коммуникативная функция любой действующей знаковой системы обеспечивается особой социальной преемственностью, постольку в «конечном состоянии» данной знаковой-системы неизбежно сохраняются черты пройденных стадий. Эта закономерность, прослеживаемая на множестве фактов, полученных как сравнительно давно, так и совсем недавно, подчас ускользает от внимания специалистов, разобщенных границами «своих» регионов исследования [Воронин 1969]¹.

Работы Т. Сибеока [Sebeok 1976], особенно комплексное исследование, вышедшее под его редакцией [Sebeok 1977], как и другие известные труды отечественных и зарубежных специалистов [Dether, Stellar 1964; Фирсов 1963, 1977], позволяют поставить вопрос об эволюционном аспекте знаковой деятельности. Этот аспект способен, как представляется, вскрыть ряд важных гносеологических, семиологических и общелингвистических перспектив.

О трех позициях в интерпретации проблем «знак / не-знак» и «язык / не-язык»

Указанные работы Ю.С. Степанова, Т. Сибеока, а также публикации А.Ф. Лосева [1976] и В.В. Иванова [1976] позволяют обойти комментариями большой, сложный и часто противоречивый терминологический аппарат современной семиотики, включая зоосемиотику. Перейдем к беглой характеристике трех позиций, к которым, на наш взгляд, сводится многообразие различных точек зрения.

¹ В рамках настоящего исследования невозможно подробно останавливаться на идеях А.Н. Северцова и Н.А. Бернштейна относительно фундаментальных закономерностей в эволюции живого и высшей нервной деятельности. Но можно напомнить слова Л. Воронина из его популярной статьи в «Известиях» от 03.01.1969 «Загадка мозга»: «В деятельности мозга человека принимает участие вся предыстория развития нервной системы».

А. «Все есть знак». Данная позиция была в свое время основательно раскритикована В. И. Лениным: «Все грани в природе условны, относительно, подвижны, выражают приближение нашего ума к познанию материи, — но это нисколько не доказывает, чтобы природа, материя сама была символом, условным знаком, т. е. продуктом нашего ума» [Ленин Т.18: 298].

Полемика Ю.С. Степанова с К. Леви-Строссом касается не только данной позиции, но и, естественно, вопроса происхождения языка. Для К. Леви-Стросса «все стало знаком» сразу и этот момент был моментом происхождения языка. В то же время К. Леви-Стросс постулирует постепенность в развитии сознания, чем утверждается такая независимость языка от сознания, при которой язык не может быть «продуктом нашего ума» [Степанов 1971: 40-41]. Но современная генетика (как и антропология) указывает на обратную последовательность: через мутационные преобразования, причины которых окончательно не установлены, — к «появлению того далекого предка, в мозгу которого забрезжили элементы сознания» (причем «его дальнейшая эволюция положила начало и развитию гоминид») [Дубинин 1974: 3-6].

По мнению Г.Н. Матюшина, «для понимания соотношения биологического и социального в человеке важнейшим является тот до сих пор плохо осознанный факт, что итоги общественно-трудовой деятельности, как это показывают законы генетики, не могли записываться в генах, не стали субъектом биологической эволюции» [Матюшин 1974: 18]. Это значит, что необходимый для трудовой деятельности аппарат сознания не мог сам изначально стать производным от труда; трудовой опыт, не передаваясь по наследству, должен быть всякий раз результатом обучения заново. Поскольку знаковая деятельность не может возникнуть ранее предметной, о чем убедительно свидетельствуют и зоопсихология, и человеческий онтогенез, постулат К. Леви ошибочен.

Вместе с тем, нельзя согласиться с гипотезой, точнее, с ее частью, касающейся речевой сигнализации, согласно которой «само появление человека с развитыми полушариями головного мозга, вертикальным положением тела, дискретной речевой сигнализацией, является следствием крупных мутаций» [Там же, 16]. Если предметные, трудовые действия суть результаты обучения, то сигнализация (не говоря уже о речи) человеческого типа возникает в результате обучения даже на современном уровне человеческого генезиса. Другое дело, что лишь определенные биологические сдвиги могли обеспечить способность к определенному уровню знакового поведения. Но социальная обусловленность трудовой и знаковой деятельности человеческого типа остается, несомненно, бесспорной, а эволюции в сферах биологии (включая психику) и коммуникации доказаны научно.

Следует, однако, отметить, что сам факт эволюции в коммуникативной сфере, признаваемой всеми, понимается различно: а) все системы коммуникации, обслуживающие как животных, так и человека, следует считать «языком» [Petzold 1973: 126]. Человеческий язык отличается от языка животных только количественно [Lieberman 1977: 23]; б) эволюция коммуникативных систем животных прерывается качественным скачком, после которого развертывается эволюция человеческой коммуникативной системы¹.

Выше отмечалось, что, по Ленину, условный знак есть «продукт нашего ума». Иными словами, объективная реальность сама по себе и для себя знаком быть не может, она превращается в него в сознании субъекта. Признавая эволюцию психики и ее функций, мы не имеем права полагать, что даже при условии биологического скачка человеческий тип сознания с его специфическим способом переработки информации возник на пустом месте, т.е. что совершился скачок от «нуль-знакового поведения» к «знаковому поведению высшего типа». Мы видели, что для Н.П. Дубинина неизбежна стадия «предчеловека», но мы не можем доказать ее существование строго, не обращаясь к уровню антропоидов, хотя и знаем (соглашаемся с этим), что существующие человекообразные являются «боковыми ответвлениями», а не прямыми предками человека. Поэтому, обратившись к данным биосемиотики, мы должны попытаться выяснить хотя бы потенциальные свидетельства генезиса человеческого знакового поведения.

Б. «Именно произвольность (немотивированность) и условность (конвенциональность) связи знака и предмета обозначения являются необходимыми атрибутами развитой формы знака» [Солнцев 1977: 25].

В соответствии с этой позицией, например, «символы занимают как бы промежуточную позицию между не-знаками и собственно знаками (условными знаками). В.М. Солнцев, конечно, прав, стараясь различать развитые формы знаков от неразвитых и подводя к мысли, что наиболее развитой, высшей знаковой формой необходимо признать человеческий язык (другие человеческие формы коммуникации должны быть признаны либо производными от языка, либо дополняющими его в коммуникации), но нельзя забывать, что все существующие развитые языки сохраняют и используют механизм мотивированности формы языкового знака [Иллич-Свитыч 1976] в нарастающем объеме (Г. Пауль), а данные этносемиотики отмечают то же в сферах символики, ритуала и т.п. самых развитых цивилизаций современности. Таким образом, не следовало бы смешивать понятия «развитости» и «генетического возраста», о чем мы

¹ Имплицитно данная точка зрения содержится буквально во всех работах интересующего нас направления, эксплицировал ее Г.Н. Матюшин.

напоминали выше со ссылкой на Л. Воронина, говоря об участии в функциях нашей психики механизмов, предшествующих ее нынешнему состоянию. Точно так же, скажем, генетически более древнее, чем письмо, изобразительное искусство нельзя назвать «системой, менее развитой, чем язык», а дистанция между врожденными мимическими движениями и искусством пантомимы Марселя Марсо, видимо, не меньшая, чем между древнейшей и нынешней стадиями развития языка.

В. Представляется целесообразным рассматривать любой семиотический объект в том или ином «диапазоне знаковости» (термин Ю.С. Степанова): подбор диапазонов, будучи операцией в значительной мере эмпирической, все же выгодно отличается от почти полностью интуитивных делений объектов на «знак / не-знак», «язык / не-язык». Со временем, несомненно, будут выработаны критерии для каждого диапазона, что позволит достаточно строго формализовать сам процесс подбора. Уже сейчас можно говорить, однако, об основательности выделения «трех типов языков» [Ветров 1968: 82-97], «десяти типов основных знаковых систем» [Степанов 1971: 81-84], «пяти типов контактов» [Révész 1946: 241] (внутри коммуникативных систем животных и человека), «шести видов знаков» [Sebeok 1976: 117-142]. Это кажется перспективнее простого деления на «знаки» (человека) и «сигналы» (животных) [Мартынов 1978] в свете данных зоосемиотики, к анализу которых мы переходим.

Коммуникативные системы животных и «диапазон» знаковости

Интуитивно понятны (т.е. известны как обязательно существующие) кардинальные качественные различия между коммуникативными системами животных и человека. Но «в науке является самым трудным как раз то, что интуитивно понятное [Лосев 1976: 23]: исчерпывающего перечня таких различий нет, как нет и необходимого перечня сходных или одинаковых средств коммуникации. И уж совсем отсутствуют достоверные и основательные (не говоря о деталях) сопоставления, касающиеся потенций высших животных в процессе их обучения знаковой деятельности, особенно при обучении животных людьми. Ф. Энгельс хорошо понимал, что в условиях естественной среды и «своей» системы животные, «даже самые развитые из них», обмениваются сообщениями и без членораздельной речи [Маркс, Энгельс Т.20: 489], так как то, что должно быть обозначено в сигнале, не требует более сложного знака. Совсем иначе, продолжает Энгельс, «обстоит дело, когда животное приручено» людьми, когда расширяется круг их потребностей, представлений, когда они попадают в условия необходимости понимать то, что в естественных условиях отсутствовало: «...в пределах своего круга

представлений он (попугай. – И.Г.) может научиться также и понимать то, что он говорит» [Там же].

Подчеркивание Энгельсом «предела своего круга представлений» отводит любые намеки на антропоморфизм: то, что именно и как понимает попугай сказанное человеком и сказанное им самим, указывает на безусловные различия между человеком и животным. Тем менее нужны и тем более вредны попытки умалить потенции высших животных.

Уровень знаковой деятельности, естественно, связывается с интеллектуальным уровнем, но далеко не всегда при этом априорные тезисы уступают место объективным фактам. Н. Тинберген прослеживает явственную линию усложняющегося и гибкого поведения животных, выходящего далеко за рамки инстинкта, и сдержанно отмечает: «Наше абстрактное мышление, способность к общим представлениям и умение устанавливать причинно-следственные связи – все это с успехом могло вырасти из тех или иных особенностей поведения животных» [Тинберген 1968: 189]. Но К. Фабри, не оспаривая фактов и не приводя контраргументов, возражает: «Животные, в том числе человекообразные обезьяны, не в состоянии устанавливать причинно-следственные связи. Тем более они не способны образовывать отвлеченные понятия, неразрывно связанные с членораздельной речью» [Фабри 1968: 191]. Иными словами, способность к формированию отвлеченных понятий априорно связывается только со способностью к членораздельной речи, а отсутствие последней – с неспособностью к абстракции. Мы уже указывали на факты, опровергающие такие представления [Горелов 1977₁, 1977₂]. Ниже будут приведены данные, которых не было в распоряжении К. Фабри и которые, безусловно, подтверждают позицию Н. Тинбергена, причем данные относительно коммуникативного обучения, где процессы абстрагирования, переноса и обобщения происходят на знаковом уровне, т.е. неизбежно предполагают полную сформированность соответствующих возможностей на уровнях перцепции и предметных действий.

Оценивая результаты решения задач, которые осуществляют шимпанзе в природных условиях в ситуациях, подготовленных экспериментаторами, Л.А. Фирсов отмечает, что еще при жизни И.П. Павлова «привычные рамки прежних гипотез, имевшие претензию именоваться теориями (Л.А. Фирсов здесь имеет в виду не самого И.П. Павлова, а некоторых его сотрудников. – И.Г.) стали неумолимо раздвигаться под напором все умножающихся новых фактов» [Фирсов 1977: 68].

Одним из стойких, хотя и устаревших мнений относительно знака дочеловеческого типа является мнение об его «неинтенциональ-

ности»: насекомое или даже высшее млекопитающее якобы всегда производит сигнал, не адресуя его, не понимая его коммуникативной значимости, не умея его произвольно варьировать или просто отказаться от сигнализации. Животному отказывают в интенции, «позволяя» ощущение потребности: «Животные, особенно так называемые общественные животные, общаются друг с другом с помощью знаков, производимых инстинктивно, без осознания их смысловых значений и их коммуникативной значимости». И далее: «Образцом неинтенционального языка остается, безусловно, язык муравьев и язык пчел». Но вот иллюстрация из той же книги: «Если насекомое, которое приползло или прилетело к муравейнику, несъедобно, то муравей, первым установивший это, дает сигнал другим муравьям (адресация! – И.Г.), забираясь на насекомое и прыгая с него вниз... в случае надобности прыжок повторяется много раз, покамест муравьи, направившиеся к насекомому, не оставят его в покое». В дальнейшем автор характеризует эпизоды поведения пчел (по Фришу и Халифману), сообщающих о направлении и расстоянии до взятки; рассказывает, как чайки особым сигналом призывают других особей, если найденной пищи достаточно для нескольких птиц, а также о том, как «дозорные у птиц не просто поднимают тревогу», но «умеют сообщать, какой враг приближается и откуда» [Ветров 1968: 187-191], и т.п.; и, наконец, отмечает наличие «зачатков интенционального знака у антропоидов» [Ветров 1968: 197-211], основываясь на материалах исследований 30-50-х годов (М.А. Панкратова, Н.А. Тих, Н.Н. Ладыгина-Котс).

Но все эти факты (как и то, что пчелы не сообщают данных о месте взятки в пустом или чужом улье), как нам кажется, дают образцы именно интенционального знакового поведения, зависящего от результата сигнализации, от оценки обратной связи. Иначе откуда повторение знака, откуда адекватность его появления или отсутствия?

Подобно тому, как в любом языке существуют знаки разной степени мотивированности (по форме, отражающей признаки означаемого), так и в знаковом поведении животных обнаруживаются: а) знаки, представляющие собой непосредственные и неотъемлемые компоненты означаемого (например, окраска самца в «брачном общении»); б) знаки ритуального характера, которые сами по себе не отражают означаемое (например, «взаимное ощипывание» оперения у птиц); в) условные знаки звукового типа или пантомимического характера (призывная песня, сигнал опасности и пр.). Н. Тинберген показал, что сигнализирующая особь не только систематически сформируется с реакцией адресата, но и вырабатывает в онтогенезе (через обучение!) особую форму сигналов, значительно отличающуюся от первоначальной, естественной, предусмотренной генети-

ческой программой [Тинберген 1968: 189]. В этом явлении отражается тенденция перехода от жесткой и предельно мотивированной формы знака к вариативной и условной, что, по-видимому, и обеспечивает возможность обучения животных новым для них способам общения.

Очень часто говорится о том, что, скажем, собака или лошадь, как и животное в цирке, приучается методами условного рефлекса к реакции на слово или жест только в определенной ситуации, причем замена командного слова на похожее вызывает стереотипный ответ, что якобы доказывает наверняка различное отношение к слову у человека (второсигнальное) и у животного (первосигнальное). При этом, во-первых, не учитывается факт понимания словесного сообщения ребенком (в раннем онтогенезе) только в связи с ситуацией.

Во-вторых, как пишет Л.А. Фирсов, шимпанзе в лабораторных условиях «выучиваются колоссальному количеству команд самого различного содержания... То обстоятельство, что шимпанзе способны распознать в довольно сложном звуковом потоке именно ту информацию, которая определяет характер команды, по-видимому, может указывать на совершенство анализа и синтеза корковых механизмов их слуховой системы. Нами доказана их способность оперировать при этом только голосовым комплексом команды, исключая мимику или жесты говорящего» [Фирсов 1963, 1970: 125].

В-третьих, имеется немало популярных и специальных изданий, где отмечается, что мгновенная реакция на усвоенную человеческую команду или на техническую запись «своего» сигнала у животных происходит вне всякой связи с ситуацией (см. выше интерпретацию того же в противоположном смысле), т.е. без оценки смысла команды, без понимания адекватности / неадекватности реакции на уместный/неуместный сигнал. Действительно, «свой» или усвоенный от человека сигнал тревоги вызывает у животных реакцию бегства, укрытия и т.п. — совершенно так же, как подобный сигнал вызывает ту же реакцию у людей, которые в определенной ситуации также не в состоянии соотнести сигнал с ней, поддаются групповому поведению (паника). Важно, однако, отметить, что постреактивное поведение животных как раз и указывает на умение «проверить» сигнал, соотнести с ним реальную ситуацию. Наконец, в-четвертых, анализ поведения людей в условиях военного обучения, спортивных соревнований и в некоторых других ситуациях обнаруживает различное — как второсигнальное, так и первосигнальное — отношение к словесному раздражителю: так называемые «исполнительные части команды» (*-гом в команде Кругом!, марш в Шагом марш!, пли и т.п.*) могут быть с успехом заменены и реально заменяются на «похожие», а в эксперименте — и на совсем непохожие звукокомплексы.

Во всяком случае, без понимания сходных или общих моментов в коммуникативной деятельности животных и человека невозможно было бы правильно оценить ни многовековую практику утилитарного приручения и одомашнивания животных, ни те результаты дрессуры, ни в особенности результаты I приматов, осуществленного в 60-70-х годах.

После многочисленных непродуктивных попыток обучить антропоида звуковому языку успех был достигнут при обучении шимпанзе Уошо американскому варианту языка глухонемых – ASL (American Sign Language). Отметим, кстати, что идеи обращения к жестовому языку были впервые высказаны отечественными зоопсихологами (Н.А. Тих, Н.Н. Ладыгина-Котс, Л.И. Уланова) и Р. Йерксом и Я. Дембовским [Jerkes 1945; Дембовский 1963].

Гарднеры избрали ASL, учитывая, что ряд знаков отличается иконичностью, репрезентируя означаемое. Насколько это существенно, показывают описанные случаи инициативного употребления ряда знаков самой Уошо – данные знаки были именно иконическими. Авторы сенсационного эксперимента отмечают, что шимпанзе «всегда спонтанно переносила знак с одного референта на другой» [Gardner, Gardner 1969: 664-670] – и это в течение 22 месяцев обучения при ежедневном использовании от 12 до 29 знаков, притом совершенно различных.

В пределах усвоенного вокабуляра (около 160 активно употребляемых знаков) Уошо могла адекватно понимать и сама стимулировать общение с Гарднерами в форме кратких «диалогов», оперируя соответствующими ее потребностям единицами знаковой системы и референтами различных классов означаемых. Наиболее высокий, на наш взгляд, результат обучения иллюстрируется инициативным применением самостоятельно найденного знака, близкого к реально существующему в системе, но ранее не известного обезьяне, а также конструированием сложного знака, состоящего из двух ранее известных («вода» и «птица»), для обозначения утки («водоплавающей»). Гарднеры описывают весьма интересные случаи обобщения обозначения с переносом знака «ключ» на действие со значением «открыть» и на предмет, подлежащий открыванию.

Д. Примак поставил со своими сотрудниками эксперимент, описанный в 1970 г. [Premak 1970 55-58]. В методике его прослеживается связь с наблюдениями и опытами Джекобсена (1928 – 1935) [Jacobsen 1928; 1936], однако широта, цели и результаты опытов Д. Примака, безусловно, оригинальны.

Предварительно наметив список знаков, предназначенных к усвоению шимпанзе Сарой, Д. Примак распределил их по следующим «функциональным классам» (термин Д. Примака): а) «слово», б)

«предложение» (сочетание слов), в) «вопроса (отличается от «слова» и «предложения» собственной формой), г) метаязыковой знак. Каждый знак выступал практически в своеобразной коммуникативной системе в виде пластмассовой бирки собственной формы, цвета, приблизительно одного размера, но всегда так, чтобы ни одна бирка не напоминала по форме и цвету референта классов означаемых. Бирки, снабженные с тыльной стороны металлической пластинкой, накладывались на магнитную доску, с которой Сара считывала информацию и на которой сама строила сообщение, адресованное экспериментаторам (интересно, что обезьяна предпочла вертикальную последовательность в расположении знаков-бирок). Значение, приписываемое каждой бирке, семантизировалось для обезьяны методом остенсивного определения, т.е. ассоциацией референтов с демонстрацией бирки.

Определяя «слово» (бирку определенного класса) как единицу изобретенного для общения с обезьяной языка, Д. Примак исходит из того, что оно должно стабильно обозначать данный класс объектов. («Предложением» поэтому считается сочетание количества слов, строго соответствующих числу обозначаемых объектов или действий над ними. В целом предложение обозначает актуальную ситуацию, воспринимаемую обезьяной в момент коммуникации. Естественно, что предложение состоит из тех единиц, которые ранее были усвоены остенсивно и вне «синтаксиса». «Вопрос» – специальная бирка, наделенная функцией называть строго определенное (соответствующее данному вопросу) ответное действие с помощью других знаков и соответствующих объектов или действий. Наконец, «метаязыковой знак» – специальная бирка (в опыте их было до двух десятков), отличающаяся от «слов» и от «вопросов», которой приписывается значение, типа *different, same, name of, no yes, shape, color, size, on, in, front of, side*. Значение этих единиц не могло быть семантизировано путем простого остенсивного определения, но только в связи с другими знаками и в связи с ситуацией. Иными словами, усвоение этих единиц означает усвоение синтаксиса («грамматики», как пишет Д. Примак). Пластиковая бирка «становилась словом в том случае, если она употреблялась правильно, т. е. если шимпанзе предъявляет необходимую бирку в ответ на (т. е. в обмен на. – И.Г.) желаемый предмет; если соответствующий предмет побуждает ее использовать необходимую бирку и если в ответ на вопрос (т.е. в ответ на «написанную» бирку-вопрос. – И.Г.) *Как это называется?*, соединенный с демонстрацией соответствующего объекта, обезьяна предъявляет нужную бирку». И далее: «Мы считали, что это действительно слово, так как кусок голубого пластика, который мы пре-

вратили в слово *яблоко*, ничем не похож на само яблоко, но обладает для шимпанзе именно этим значением» [Премак 1970: 58].

Во всех случаях обучение пониманию символа или целого предложения предшествует на всех этапах обучения их активному употреблению. На всех этапах обучения ошибка не подкреплялась, а успех подкреплялся биологически ценным для обезьяны объектом (лакомством). Отмечается прогрессивная автоматизация в понимании знаков разной степени сложности, позволяющая снимать избыточность, т. е. «понимание с полуслова».

При общем вокабуляре 120 единиц (включая «метаязыковые») шимпанзе адекватно понимала и сама использовала «предложения» типа *Мери, дай Сара банан* или *Мери, дай яблоко Рэнди*, а также выполняла инструкцию, представленную в «бирочном сообщении», с таким, например, содержанием: *Sarah insert apple red dish, apple banana green dish*. Здесь, как видим, пропущено (не случайно) повторяемое действие, точнее, его обозначение, что является результатом предшествующего опыта коммуникации с развернутыми обозначениями.

Весьма важно отметить, что символы четырех цветов вводились с помощью бирок, окрашенных неконгруэнтно, и что полное уяснение значений соответствующих бирок проверялось опять-таки через знаки, символизирующие значения «да», «нет», «такой же», «другой». Так, если предъявленный цвет не соответствовал заданной бирке, шимпанзе должна была «написать» *нет* или *другой*. При этом, как отмечает автор, использование синонимичных для данной ситуации знаков произошло без специального обучения, т. е. значение каждого из двух знаков было усвоено обезьяной не автономно, а с обнаружением инварианта.

Все тренировочные упражнения проводились многократно в сопровождении корректной фиксации результатов, с необходимой статистикой, в ситуации широкого выбора знаков и референтов. Во всех случаях знаки и их комбинации усваивались адекватно с относительно небольшим процентом ошибок (в среднем менее 20). Примечательно, что информация, сулящая негативные для обезьяны последствия, вызывала негативную эмоциональную реакцию, свидетельствуя адекватного понимания, а сама обезьяна отказывалась выдавать невыгодную инструкцию экспериментаторам (т. е. хуже всего проходило «написание» предложений типа *Сара дает Мери банан, а Рэнди – яблоко*). Как пишет автор, обезьяна не научилась активно использовать знаки вопроса, а также самостоятельно заменять знаки-глаголы в известной уже конструкции.

Д. Премак, думается, совершенно прав, считая доказанным, что замещение знаком элемента ситуации (displacement) и предикация

как утверждение чего-либо относительно другого (predication) являясь операциями, доступными не только человеку, хотя обе они, безусловно, являются собственно знаковой деятельностью.

По мнению Д. Примака, кроме того, «Сара научилась понимать некоторые иерархические структуры предложения и в какой-то степени – функцию предложения в языке». Довольно спорная 2-я часть вывода, как и менее спорная, на наш взгляд, 1-я его часть, требует дальнейшей проверки. Бесспорна, однако, доказанная способность животного познать смысл знака через предметное действие, обладающее значимостью. Мысль Д. Примака о том, что «слово-символ представляет собой для обезьяны ярлык уже познанного» [Primak 1970: 55-58], чрезвычайно нам импонирует, указывая на: а) первичность перцепции и практического действия, соединенных затем с интеллектуальным актом, б) вторичность знаковой замены. Иными словами, здесь акт познания осуществляется авербально. Вместе с тем опыты Д. Примака показали определенные потенции познания обезьяной смысла знака через знак (элементы «языкового мышления»).

Гарднеры, Примак и другие зоопсихологи свидетельствуют, что необходимым условием успешного обучения антропоидов коммуникации с человеком является, во-первых, наличие хорошо организованного контакта с животным. Это, несомненно, иллюстрирует роль социального фактора в развитии знаковой деятельности. Вторым необходимым условием успешного обучения являются формирование потребности, появление мотива, т.е. интенции, у животного. Только в условиях сформированной потребности, выявленного мотива (в данном случае речь может идти о стимулировании со стороны биологически ценного объекта, но также и в связи с развитым у антропоидов «бескорыстным» исследовательским поведением) может быть обнаружен инициативный поиск все новых средств коммуникации. В-третьих, необходимо опираться на исходные, прежде всего имитативные, потенции животного. Достаточно указать, что эти возможности антропоидов явно выше, чем у животных, стоящих ниже на эволюционной лестнице. В-четвертых, знаковая деятельность не может быть осуществлена иначе, как на базе предметных действий.

Понадобятся в дальнейшем, несомненно, многочисленные повторные и новые по методике эксперименты под строгим и многоступенчатым контролем, возможно, с применением коммуникантов, не имеющих отношения к эксперименту, чтобы окончательно выявить возможности антропоидов и животных разных других уровней в овладении знаковыми системами, в использовании ими «своих» коммуникативных систем. Вместе с тем мы не склонны, как это делает Т. Сибек, подвергать сомнению ряд основных результатов обучения животных на том основании, что в свое время была обна-

ружена реальная подоплека поведения лошади, известной по кличке «Умный Ганс» [Sebeok 1977: 1068].

Дело здесь не только в том, что Гарднеры и Примаки не занимались дрессурой, что опыты их были поставлены на научной основе, хорошо проверялись и т. д. Дело в том, что ученые указывают на пределы возможностей животных, достаточно осторожны в выводах и в своих объяснениях далеки от антропоморфизма. Наконец, результаты их экспериментов, как бы поразительны они ни казались, не выглядят на фоне предшествующих исследований неожиданными.

В «диапазоне знаковости», предложенном Ю.С. Степановым, природная система коммуникации приматов могла бы занять место между VI и VII типами знаковых систем. Но в опытах Гарднеров и Примаки обнаруживаются потенции, позволяющие обучить антропоидов коммуникативной деятельности в рамках VII, отчасти и VIII типов [Степанов 1971: 82-83].

В свете изложенного представляется актуальным уточнить и детализировать критерии «диапазонов знаковости» с тем, чтобы проследить как различные, так и сходные, переходящие с уровня на уровень семиотические признаки. В связи с этим остановимся кратко на типологической схеме, которая в качестве признаков, достаточных для типологической классификации, использует глубинные условия функционирования знаков, определяя степень их сложности и их семиологическую сущность. Речь идет о глубинной структуре означаемого, которая выявляется в количественных и качественных параметрах ориентировочного, адаптивного и преобразующего поведения и в качественных особенностях коммуникативной деятельности. Предлагаемая, пока еще не вполне разработанная схема связывается нами с эволюционным аспектом семиотики, впервые сформулированным Г. Ревешем. В предлагаемую схему мы вводим дополнительно тип единицы универсально-предметного кода (УПК), лежащей на основе означаемого, и признак (отсутствие признака) осознаваемой носителем знака связи между указанной единицей УПК и самим знаком. В «диапазоне осознания» также наблюдаются заметные градации.

Итак, предлагаемая схема (в традиционном способе изображения «снизу вверх» по степени усложнения «знакового продукта» и его субстрата):

Субстрат	Знак
5. Абстрактные построения высшего порядка, наглядно непредставимые, базирующиеся на корректно построенных понятийных образованиях (адекватные теории современного типа).	Вербальный, конвенциональный. Вторичные семиотические системы. Сложные синтаксические структуры, понимаемые специализированными социальными группами.

<p>4. Абстрактные построения, сравнительно легко сводимые к наглядным представлениям. Имеются включения с искажениями, проистекающими от знакового использования без прочных и адекватных связей с корректными представлениями</p>	<p>Вербальный знак, большей частью конвенциональный, социально-адекватное его употребление с возможными деформациями частного порядка.</p>
<p>3. Представления и их комплексы «вторичного типа» с понятийным содержанием. Результат необходимой практической деятельности. Сенсомоторное мышление как существенная компонента умственной деятельности. Реальны серьезные искажения и многочисленные лакуны качественного характера (бедность связей).</p>	<p>Вербальный знак без сложных синтаксических структур. Существенная роль авербальной коммуникативной системы, включая эмоциональные фонации.</p>
<p>2. Оформленные достаточно для ограниченной практической деятельности представления. Сенсомоторное мышление по преимуществу. Многочисленные диффузии предпонятийного типа. Осознание остенсивных определений.</p>	<p>Авербальный или вербальный знаки, воспроизводимые преимущественно по образцу в ситуации. Хорошее понимание примарно мотивированных знаков разного типа в ситуации.</p>
<p>1. Адекватные биозначимые реакции, биообусловленные эмоции. Элементы сенсомоторного мышления.</p>	<p>Авербальные знаки. Существенная роль произвольной сигнализации и ее адекватной интерпретации. Возможность обучения знакам по образцу в ситуации, имеющей биологическую значимость</p>

Таким образом, возвращаясь к идее создания машинной модификации человека, отметим, что последняя должна обладать потенциями, соответствующими «предысторическим» механизмам человеческого мозга (см. выше мнение Л. Воронина), в которых «нижний слой» обеспечивает довербальное и предпонятийное мышление; этот «слой» представляет собой функциональный базис речи.

**О связи «знак – представление»
в психолингвистическом эксперименте**

Обратимся к синхроническому аспекту проблематики. Вопрос, избранный для рассмотрения в этом разделе, вызывает повышенное внимание в самое последнее время, хотя и прежде не снимался в связи с философскими, общесемиологическими и лингвистическими задачами. По мнению А.Ф. Лосева, «термины «знак» и «представление» понятны только профанам, точнее сказать, понимаются все-

ми в обиходном и некритическом смысле. То и другое имеет свою структуру, каждый раз вполне отличную» [Лосев 1976: 77]. Можно добавить, что заметная резкость процитированного суждения, обращенная к тому же ко «всем», объясняется еще и фактами противоречивых интерпретаций в сфере соответствующей специальной литературы. Так, например, в Философском словаре под ред. Георга Клауса и Манфреда Бура (в статье «Представление») сказано, что «Die Vorstellung ist ebenso wie die Wahrnehmung end mit dem Denken und Sprechen verbunden, sie schließt stets das den widerspiegelten Gegenstand bezeichnende Wert ein...» [Klaus, Buhr 1966: 585].

Между тем хорошо известно, что как ощущения, так и восприятия и представления (не в обиходном, а в специально-психологическом, т.е. в терминологическом употреблении) четко зафиксированы на дочеловеческом уровне, т.е. там, где невозможно говорить о наличии «мышления» или «речи». Возможно, конечно, что авторы имеют в виду специфику именно человеческого ощущения, восприятия и представления, нигде, впрочем, этого не оговаривая. Но и эта специфика отнюдь не предполагает опосредствования чувственного уровня деятельности вербализацией в обязательном порядке («постоянно» – как утверждают авторы статьи указанного словаря). В работе по проблеме искусственного интеллекта можно увидеть специальное различие элементов мыслительного плана – вербализованных и невербализованных [Орфеев, Тютин 1977: 63]. Даже «инвариантный образ», т.е. результат обобщения конкретных представлений, как отмечает Б.А. Серебренников, «всегда предшествует номинации» [Серебренников 1977: 150], что полностью соответствует итогам наших экспериментов, описанных еще в 1975 г.» [Горелов 1975: 20-31].

Если употреблять термин «представление» терминологически, то его понимание обязательно связано с воспроизводимым в памяти субъекта значимым комплексом ощущений, результатом чувственной деятельности. Будучи вполне автономным, не зависимым от вербализации, этот комплекс может быть в дальнейшем связан со словом или словосочетанием условнорефлекторно. Скажем, физиологически наличие связи между словом *лимон* и представлением о плоде с его вкусовыми, цветовыми и пространственными свойствами доказывается вполне однозначной реакцией в простейшем эксперименте. Но количество таких ярких и явных связей весьма ограничено, само их наличие в ряде случаев предполагается и не всегда доказывается. Поэтому имеет смысл подвергнуть экспериментальной проверке следующее суждение: «Если я употребляю идиому *red herring* «ложный след», сознание мое не свободно полностью от представления о рыбе красного цвета. Или, если я употребляю такую ограниченную идиому, как *big* «взрослый», в сочетании *my big sister*

«моя взрослая сестра», то и здесь, возможно, присутствует мысль о том, что моя сестра – большая» [Чейф 1975: 86]. Неуверенность автора в правильности сформулированного тезиса («возможно», – пишет он), как и нетерминологическое употребление слова *мысль* вместо *представления*, сейчас для нас не существенны. Важно выяснить, действительно ли и всегда ли (при каких условиях) восприятие языкового знака или его употребление связываются с процессами декодирования из системы языка в систему представлений или обратным порядком. Важно выяснить также, ограничивается ли предположение У. Чейфа сферой идиом, не распространяется ли указанная возможность на сферу восприятия отдельных слов в так называемых «свободных» сочетаниях и вне их. Полученные результаты могут сыграть определенную роль в исследовании глубинных процессов, лежащих в основе функционирования лексики; интерес к вопросу вызывается, несомненно, в связи с разработкой научных методик обучения иностранным языкам. Наконец, тезис У. Чейфа имеет непосредственное отношение к целому комплексу проблем фундаментального порядка, в частности, к теории словесного знака как «сигнала сигналов»: при афазиях, как известно, наблюдается буквальное понимание идиом; некоторая цельная, не сводимая к значениям составляющих, знаково-смысловая структура разлагается в сознании больного именно на значения компонентов и декодируется в образную систему. Обнажается ли в патологии нормальный механизм рецепции языкового знака? Быть может, стадия «первичного» (после восприятия акустического или зрительного образа языкового знака) понимания слова или словосочетания именно такова, а некий «сигнификативный» период, когда возможно отвлечься от «частных значений» в пользу «общего смысла», наступает позднее?

Данные, касающиеся стадийного характера речевого процесса («от мысли – к слову», по Л.С. Выготскому), разработанные более или менее детально в советской и зарубежной психолингвистике, восходят в общем виде, собственно, к идеям И.М. Сеченова: он говорил о «переработке исходного чувственного или умственного материала в идейном направлении» (мы бы сейчас сказали о процессе интериоризации), сопровождающейся «символизацией объектов мышления» [Сеченов 1953: 279-280].

Рабочая гипотеза, которую мы формулируем перед описанием проведенных экспериментов, заключается в том, что тезис У. Чейфа может быть верным лишь для определенных условий. В противном случае не существовало бы, в частности, процесса деэтимологизации значения слов и устойчивых словосочетаний; полисемантичесность знака ставилась бы под сомнение; омонимия вызывала бы специфические затруднения в актах речевого функционирования и т.п.

Сразу же возникает предположение, что указанные определенные условия должны быть отличными от режима обычного речевого функционирования, при котором, например, русско-немецкому билингу не приходится для себя выяснять, что означает звукокомплекс «гроп» («гроб» или «grob»); контекст соответствующего языка «снимает» неактуальные для данного речевого акта знаковые связи.

Далее, поскольку лексика развитого языка может быть расположена на весьма протяженной шкале «от конкретного к абстрактному» по признаку значения, тезис У. Чейфа, вероятно, действителен главным образом для совокупности знаков с высоким уровнем «вещности» означаемых, но весьма слаб относительно знаков с высоким уровнем абстрактности означаемых, если вообще способен охватить их.

В эксперименте следовало также учесть, что представления бывают самыми разными – при общей их чувственной природе – в зависимости от степени активности субъекта (и типологической группы социального характера, к которой принадлежит субъект). От меры активности зависят самостоятельность, творческий характер представлений, что хорошо показано Л.Б. Ительсоном [1972: 218-413]. Надо было также исходить из динамики, обнаруживающейся в сенсорно-перцептивном диапазоне, блестяще показанной Л.М. Веккером [1974: 196-332]. И, наконец, литературный материал, столь часто и охотно привлекаемый в качестве доказательств реальности художественно изображенных явлений, должен быть использован с крайней осторожностью, так как художественный метод обладает особой спецификой отражения реальности.

Перейдем к описанию эксперимента и условий его проведения.

Группы испытуемых. Поскольку ранее было доказано, что в процессе формирования перцептивной деятельности можно различить ряд стадий – «от общих, расплывчатых, нерасчлененных представлений (первая фаза)... до адекватной конкретности воспроизведения единичного объекта (3-я фаза. – И.Г.)» [Веккер 1974: 288], интересующую нас связь «знак – представление» было решено проследить на разных по возрасту испытуемых.

Группа «А» – 20 детей дошкольного возраста (4-6 лет).

Группа «Б» – 20 школьников 7-8-го классов (13-15 лет).

Группа «В» – 20 студентов I-V курсов (17-23 года).

Экспериментальный материал. Для предъявления испытуемым были выбраны списки:

- а) отдельных слов на родном языке (РС);
- б) отдельных слов на изучаемом языке (ИС) – в гр. «В»;
- в) фразеологизмов на родном языке (РФ);
- г) фразеологизмов на изучаемом языке (ИФ);

- д) тексты с включением РС (устно для гр. «А»);
- е) тексты с включением РФ (устно для гр. «А»);
- ж) тексты с включением ИС (для гр. «В»);
- з) тексты с включением ИФ (для гр. «В»);
- и) иллюстративный материал в виде рисунков и репродукций картин для соотнесения с вербальным материалом.

Условия предъявления материала и методика обработки результатов

Опыт проводился в двух сериях с временным промежутком в три месяца; результаты по каждой серии группировались и обрабатывались отдельно, а затем сопоставлялись и сводились. Предъявление экспериментального материала проводилось индивидуально, и однозначно фиксированные результаты по каждому испытуемому не обрабатывались по отдельности.

Каждый из испытуемых, получив списки слов (для гр. «А» работа проводилась в устной форме по каждому слову или фразеологизму, а также по каждому тексту), фразеологизмы и, наконец, (спустя три месяца) тексты, должен был соотнести их с иллюстративным материалом в условиях свободного выбора, так как количество иллюстраций превышало количество вербальных единиц в 4-5 раз; в среднем на каждую вербальную единицу приходилось не менее трех иллюстраций, не имевших отношения к значению или смыслу отдельных слов, фразеологизмов и текстов. Иллюстративным материалом предусматривалась также возможность соотнесения с переносными значениями и смыслами вербальных единиц.

Для разных групп испытуемых предусматривались разные объемы предъявляемого вербального и иллюстративного материала при сохранении упомянутых пропорций: для гр. «А» – по 5 слов и по 5 фразеологизмов с последующим предъявлением – соответственно по 5 кратких текста. Для гр. «Б» – объем единиц удваивался, для «В» – утраивался, причем материал для «А» оставался ядром для всех испытуемых, что позволило проследить возможные изменения в генезисе.

Ввиду того, что в гр. «А» никто из испытуемых не смог соотнести РФ с указанными лексическими единицами (словами) с иллюстрациями, дающими представление о переносном значении слова в сочетаниях типа *совать нос не в свои дела* или *холодно взглянуть на кого-либо*, приводить табличные данные по РФ не имеет смысла.

Приведем выборочные данные по РФ в гр. «Б» и «В»: *Надломленный лук не может быть надежным. Хорош садовник – сладок крыжовник, На безрыбье и рак рыба. Похоже, как гвоздь на панихиду. Одна ласточка весны не делает* и т.п.

Гр. «Б» – процент соотнесения иллюстраций с прямым знач. / перен. – 72 / 18%.

Гр. «В» – процент соотношения иллюстр. с прямым знач. / перен. – 40 / 60%.

В обобщенном виде результаты проведенных опытов можно представить следующим образом: 1) в возрастном диапазоне от 5 до 23 лет наблюдается явное предпочтение прямого значения отдельной лексической единицы (в нижнем возрастном материале), которое ослабевает к верхнему пределу, где переносное значение начинает играть ведущую роль; 2) в среднем (во всех возрастных диапазонах) предъявленное изолированное слово стимулирует выбор иллюстрации прямого значения в значительно большем проценте случаев и со стороны большего количества испытуемых, чем та же лексическая единица, представленная в контексте; 3) у части испытуемых гр. «Б» и у всех испытуемых группы «В» ряд вербальных единиц в составе РФ и ИФ, не говоря уже о тексте, ни разу не соотносился с иллюстрацией прямого значения. Так, например, получилось со словом *гвоздь*: будучи предъявлено изолированно, слово в 100% случаев было соотносено с рисунком гвоздя. Но уже тексты (*Гвозди бы делать из этих людей, Крепче бы не было в мире гвоздей* – один из примеров) и фразеологизм *гвоздь программы* не дали ни у школьников, ни у студентов связи с представлением конкретного характера. Надо еще учесть, что в опыте наглядный образ вынесен наружу» и как бы предлагается субъекту. Отказ от провоцируемой ассоциации свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в психическом аппарате в подобных случаях вводится в действие интегрирующий механизм, запрещающий интерпретацию составных и направляющий ее в пользу смыслового целого. В раннем детском возрасте, когда словарь усваивается ограниченно количественно и значение усваиваемых ситуативно слов не может не быть прямым (в первую очередь), предполагаемый интегрирующий механизм еще не сформирован. При афазиях этот механизм, как и всякие более поздние речевые образования, разрушается прежде прочных, с детства усвоенных связей «форма знака – конкретное представление».

Реальность гипотетического механизма подтверждается, вероятно, еще и процессом деэтимологизации, как, впрочем, и процессом «вторичной», или «народной», этимологии. В первом случае все расширяющаяся валентность лексической единицы, базирующаяся на возможности познания все новых и новых понятийных границ означаемого и фиксации их все новыми сочетаниями, ведет к отдалению от первоначального «прямого» значения. В стилистически нарушенном, но весьма распространенном сочетании типа *благодаря сильному ушибу* нет уже не только сознания говорящего, охватывающего значения составных *благо-дарить*, но и актуального понимания значения *благодарить*. В нашем эксперименте никто из испы-

туемых не подобрал к тексту «*Стреляя глазами, она подошла к группе подруг*» рисунок со стрелой. Весьма мал был процент соотношения рисунка следа с текстом «*В партере показалась пожилая дама со следами былой красоты*». Следует, однако, отметить, что вербальная единица, обладающая, казалось бы, такими же потенциями, как и *след*, может в эксперименте обнаружить более стойкие связи с прямым значением. Такой единицей для наших испытуемых оказалось слово *дым*. И в серии опытов по соотносению отдельных слов с иллюстрацией, и в серии с текстами *дым* связывался неизменно с изображением дыма, идущего из фабричной трубы (тексты: *нет дыма без огня, любит пускать дым в глаза*). Очевидно, степень образности, с которой специалисты по фразеологии охотно связывают свои классификации, может проверяться и по предложенной нами методике.

Мотивированная форма знака и представление

Совершенно своеобразную группу, причем весьма значительную, как показала уже упомянутая работа В.М. Иллич-Свитыча, составляет слой лексики мотивированной формы (имеются в виду «примарно мотивированные знаки» [см. Материалы семинара ... 1969]).

Несмотря на разнообразные и многочисленные возражения и сомнения [Солнцев 1977: 129-145], экспериментальные работы и этимологические изыскания убедительно, на наш взгляд, показали, что в онтогенезе знаковой деятельности человека действует сохранившийся (вероятно, с древнейших периодов человеческого филогенеза) механизм мотивации формы знака [Воронин 1969, Горелов 1977₃]. Речь идет о такой мотивации, которая приводит к более или менее удачным попыткам моделирования признаков объекта номинации с помощью звуковой формы знака.

Чтобы не повторять изложенного в многочисленных публикациях по данному вопросу, отметим здесь, что, наряду с прямыми звукоподражательными единицами, основы которых являются достаточно продуктивными, проникая даже в терминологию (ср. *кликс, click, Summer, Klopff-alphabet*), во всех описанных языках имеется значительная группа идеофонов, звуковая форма которых ассоциируется с объектом номинации посредством механизма синэстезии [Лурия 1964]. Последний, опираясь на интермодальные комплексы ощущений, идущих в подкорковом уровне от разных рецепторов, связывает зрительные, осязательные, вкусовые и другие ощущения диффузного типа со звуковыми. В результате возникают знаки типа *бохо-бохо* (обозначения «тяжелой походки» в эве) – на уровне слова (наречия), знаки типа *теплые тона, острый аккорд* – на уровне словосочетаний [Горелов 1974; 1976].

Синэстетические словосочетания образуют, в частности, специфические группы подязыковых лексических характеристик, которыми отмечены тексты из сферы искусствоведения. В текстах Л.Н. Толстого можно встретить типичные описания синэстетического типа (см. характеристики Наташей Ростовой Бориса Друбецкого и Пьера).

Отдельные наблюдения показывают возможность успешной интерпретации идеофонов (включая иноязычные) детьми, но на уровне синэстетических словосочетаний обнаруживаются правильные интерпретации и собственная продукция лишь у взрослых определенного склада («художественный тип» по И.П. Павлову).

Поскольку данный тип встречается относительно редко, а понимание и репродукция указанных специфических словосочетаний необходимы при обучении любому языку, следует обратить внимание на соответствующие явления, разработать рациональные способы обучения соответствующим единицам. При этом важно, исходя из природы явления, идти не от знака к соответствующим значениям, представлениям, а уже на этапе введения единицы опираться на чувственно представленный референт данного класса означаемых.

Если мы хотим научно обосновать процесс обучения машины или человека языку, мы должны опираться на некоторые фундаментальные положения современной теории деятельности, особенно теории речевой деятельности. Одно из таких положений сформулировано А.Н. Леонтьевым: «Общим принципом, которому подчиняются межуровневые отношения, является то, что наличный высший уровень всегда остается ведущим, но он может реализовать себя только с помощью уровней низлежащих и в этом от них зависит» [1975: 232]. Применительно к нашей проблеме сказанное означает, что внедрить системные знаковые связи можно эффективно лишь в тесной связи с соответствующими единицами универсально-предметного кода мышления (Н.И. Жинкин), существенную и базисную часть которого составляют системные предпонятийные, образные «следы», представления. Подлинное понимание речи возможно лишь в том случае, если данному языку в УПК соответствует свой нейрофизиологический субстрат, а отнюдь не только поверхностные связи на уровне «второсигнальной системы». Распространенная в лингводидактической практике система проверки понимания обучаемым введенного лексического материала (перевод на родной язык, употребление нового слова в репродуцируемом контексте и т.п.) как раз и игнорирует наличие обязательной связи знака языка с единицей УПК, подменяя эту связь связью «знак языка – знак (другой) языка». В результате, как это часто бывает, подтверждается наблюдение М. Горького, которое мы выше излагали: вместо самостоятельного (что не проти-

вопоставляется объективному!) представления о мире и адекватной, вполне индивидуализированной, формы выражения этого представления, образуется – через набор готовых формул – система поверхностных, банальных, часто неправильных представлений. В пародийной форме об этом хорошо сказал Г. Флобер в своем «Словаре прописных истин».

Опасность приблизительного и искаженного владения знаком языка (без соответствующего осознания реальных связей) была прекрасно показана в экспериментальных данных, полученных Б.А. Грушиным [1967].

Сопоставляя результаты применения разнообразных «рациональных» методик с уровнем овладения языком детьми в естественных условиях, приходится прийти к выводу в пользу оптимального приближения искусственного процесса обучения к естественному, который как раз и характеризуется ситуативностью коммуникации, опорой на главную, коммуникативную функцию языка, реализующуюся полностью в речевой деятельности, т.е. неизбежно при активации глубинных структур «смыслов».

Но процесс овладения языком предполагает мобилизацию системы положительного отношения к языку как к объекту обучения.

Выше мы приводили слова Э. Ханта о необходимости «прибавлять новые правила в ее (машины. – И.Г.) синтаксические и семантические подпрограммы по мере того, как возникает такая потребность». Здесь, разумеется, не идет речь о потребностях самой машины. Предполагается, что соответствующие потребности будут осознавать и учитывать люди, работающие «в паре» с машиной. Другое дело, возможно ли перед лицом задачи создания «мыслящего устройства» такое разделение функций? Мы убеждены, что мотивационные механизмы человеческого поведения составляют неотъемлемую часть мышления и что без этой части имитация невозможна.

К проблеме установочного уровня системы автоматического распознавания речи

Исходя из задач имитации автоматическим устройством процесса рецепции речи, предлагается обратить внимание на наличие в системе рецепции «установочного уровня».

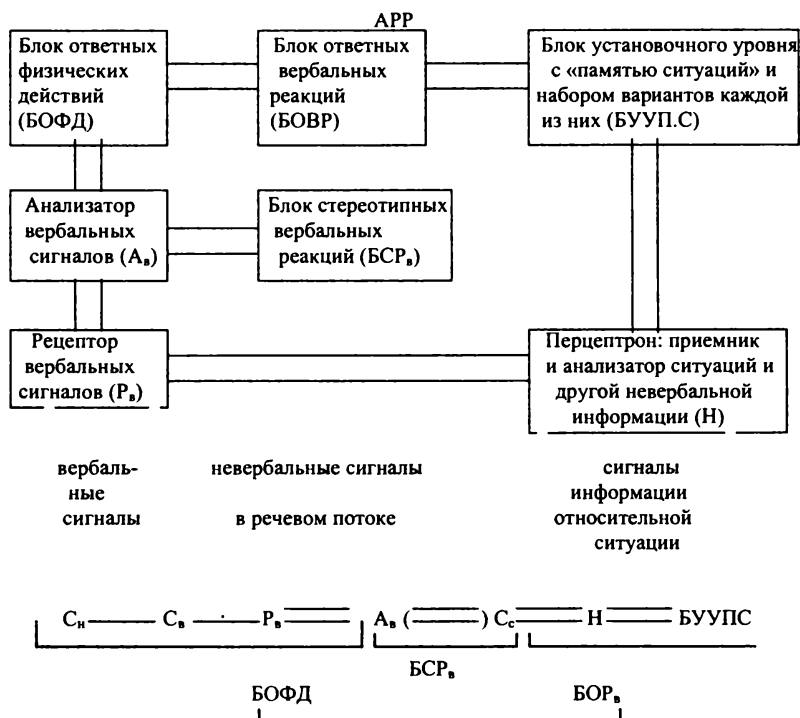
Как известно, существуют стереотипные (ритуальные) ситуации квазиобмена информацией, в которых функционируют соответствующие клише. (*Здравствуйте, как дела? – Здравствуйте, ничего, спасибо!* и т.п.). При обмене такими клише от коммуникантов не требуется, как правило, ни формирования значимой информации «на

выходе», ни ее специальной переработки «на входе». Происходит это потому, что невербальная информация (рукопожатие, улыбка или, напротив, суховатый тон) и прежний экстралингвистический опыт общения являются более значимыми, чем вербальная часть. Простой опыт замены сочетаний *как дела*, на *как мола, здравствуй-те* – на *страсти-то*, или *трости нет*, или даже на *дроссели* на адекватном невербальном фоне покажет отсутствие слухового контроля у адресата, а точнее, его существенное ослабление. Практически узнавание, включая и ложное узнавание клише, происходит при наличии установки коммуникантов на ритуал приветствия с обычными его компонентами.

В состав установки входит результат оценки ситуации и ряда привычных звукокомплексов. Процесс прогнозирования в таком случае играет более существенную роль, чем собственно анализ «на входе», который может быть даже полностью вытеснен.

Но и в том случае, если анализ вербальной части сообщения производится формально точно, семантическая его интерпретация в целом или отдельных его частей может быть абсолютно ошибочной, не соответствующей намерениям адресанта, если последний имеет установку, существенно отличную от установки адресата.

Таким образом, если автоматическое устройство распознавания речи должно имитировать реальную человеческую систему распознавания (всегда в связи с ситуацией общения), то в этом устройстве (в дальнейшем – АРР) должен быть предусмотрен «блок установки». Учитывая вероятную специфику АРР, этот блок должен иметь «память ситуации», которая накапливается в результате действия «перцептрона» (устройства, воспринимающего реальные ситуации, типизирующего их и передающего в соответствующем коде «памяти ситуаций»). Каждая из наиболее вероятных ситуаций, в которых осуществляется общение, должна быть запечатлена в «блоке установки», в его собственной памяти. В свою очередь, каждый участок памяти должен быть связан с рядом вариантов наиболее вероятных вербальных сообщений, которые необходимо воспринять и дешифровать. Результаты дешифровки информации соотносятся с перцептроном, продолжающим опознавать ситуацию, ее детали, возможные ее изменения. Подтверждение памяти прогноза на уровне установки и ситуации вызывает сигнал, идущий в блок с программой ответных физических действий или в блок вербальных реакций (или в оба блока) (схема).



Приведем данные некоторых экспериментов, подтверждающие необходимость наличия установочного уровня для эффективного смыслового распознавания вербальных сигналов.

В большой группе испытуемых (студенты) в 1-й части эксперимента были проведены кратковременные занятия по анализу предложений на русском и немецком языках. Среди других было и предложение с фрагментом *бакланы летят под облаками* Экспериментатор привлек внимание студентов именно к этой части предложения, которую испытуемые несколько раз повторили вслух. Через некоторое время испытуемым была предъявлена магнитофонная запись ряда предложений с инструкцией: «Воспринять на слух, повторить вслух, определить синтаксический тип». Среди нормально записан-

ных предложений были и такие, которые в разной степени «зашумливались» и не соответствовали ранее знакомым.

Некоторые предложения были совсем новыми, но сохраняли интонационные характеристики ранее знакомых и были равными им по длительности звучания.

В других предложениях, ранее знакомых, некоторые слова заменялись синонимами. В-третьих, производились весьма существенные замены, искажавшие смысл. В-четвертых, часть предложения сохранялась прежней, а другая часть полностью заменялась при легком зашумлении или без него.

Результаты показали, что испытуемые восприняли знакомые ранее примеры предложений, которые полностью или частично перешли в преддолговременную память. По запечатленным в ней признакам знакомых сообщений испытуемые реализовали соответствующую установку на опознание знакомых предложений. Под влиянием установки избиралась соответствующая стратегия опознания и воспроизведения. Поэтому в 100% случаев запись *баклажаны лежат под огурцами* опознавалась как *бакланы летят под облаками* – как в знакомом, так и в новом, дистрибутивном окружении. В 45% случаев существенные (по форме и содержанию) замены игнорировались и воспроизводилась не реальная запись, а ранее услышанное. В 28% случаев ранее запомнившееся предложение воспроизводилось при аудировании записей (сильно зашумленных) совершенно других предложений, обладающих сходными (с прежними) или совпадающими просодическими параметрами. Воспроизведение предполагаемого целого под действительно опознанными частями (целое реально было другим) наблюдалось также довольно часто (10-15% попыток «досрочного опознания» при 8% ложных опознаний).

Теорию установки, как нам представляется, хорошо объясняет гипотеза относительно того, что опознание речевого целого производится не поэлементно (звуки, слоги, морфемы), а крупными сегментами или даже целостным текстом.

Непосредственное влияние установки на ожидаемый речевой сигнал и даже на инициативное вербальное обращение в плане сформированной установки может быть продемонстрировано на результатах ряда опытов, сходных по методике и по наблюдаемым явлениям. Довольно легко показать, что на стадиях раннего онтогенеза поведение ребенка, включая и речевое, во многом определяется тесной связью с ситуацией, связанной с соответствующей установкой, и вне ее часто вообще не осуществляется. Например, вербальное общение при актуальном восприятии партнера, причем хорошо знакомого, проходит успешно. Если заменить партнера, то ребенок, не имеющий опыта такого рода замен, «стесняется», т.е. чувствует нелов-

кость именно из-за того, что новая ситуация тормозит реализацию знакомой (сформированной) установки. Можно утверждать даже, что ребенок плохо понимает в таких случаях обращенный к нему вопрос, так как именно знакомая ситуация является одним из средств дешифровки смысла речи. Первые опыты ребенка в коммуникации по телефону приводят, как правило, к затруднениям, а иногда к невозможности коммуницирования: речь знакомого человека при этом может быть точно опознана по голосу. Очевидно, что АРР, запрограммированная на распознавание речевых сигналов в любой их тональной, силовой и тембровой модификации, будет работать куда эффективнее ребенка, будучи зависимой только от объема вербальной памяти и от ресурсов возможных ответов на опознанные стимулы. Но, возможно, в задачи некоторых АРР входит выдача информации или реализация ответов только определенному партнеру и только в определенной ситуации. Тогда явно необходим блок установочного уровня, работающий в зависимости от показаний перцептрона относительно ситуации общения.

Что касается невербальной информации другого типа, т.е. функционирующей в единстве с содержанием и формой информации вербальной, то мы отсылаем читателя для более подробного ознакомления к нашей работе [Горелов 1980].

Здесь же ограничимся беглым изложением некоторых содержащихся в ней положений, которые проиллюстрируем примерами.

Невербальный компонент как универсалия речевого акта

Термин «*паралингвистика*» в первой его части нередко используется в том же духе, что и первая часть термина «*парапсихология*». Мы, однако, попытались доказать, что паралингвистика стала или должна стать неотъемлемой составной частью как общего языкознания, так и любой частной лингвистики.

«Речевой акт» (РА) понимается как целенаправленная и адресуемая коммуникативная деятельность, реализуемая во времени и в пространстве с целью обмена значимой (в «специфически-человеческом» смысле) информацией с помощью системы естественного языка в его, например, устной форме. Имеется в виду, что РА осуществляется в обычных условиях, т.е. без опосредования техническими средствами, разрешает взаимонаблюдение участников РА, а также их обычные дистантные характеристики. Определения «целенаправленная» и «адресуемая» относятся к обозначению «обмен», но не всегда к «информации»; в ряде случаев участники РА порождают и (или) воспринимают не запланированную заранее или в процессе порождения информацию. Последняя могла обнаружиться не в связи с желанием участника (участников) РА и даже вопреки

такому желанию. Поэтому РА не во всех своих формальных и содержательных составных понимается как «вполне осознаваемый». «С помощью» означает не «исключительно с помощью», не только средствами языка как объекта традиционной лингвистики.

«Невербальный компонент» (НВК) РА понимается как несобственно лингвистический знак (в традиционном смысле по существу), так как он отличается от собственно лингвистического знака, во-первых, своеобразием субстанции, своеобразием структуры и особыми, иными, чем лингвистические знаки, возможностями обозначения и способностями сочетания с себе подобными и другими знаками. Вместе с тем НВК способен к выполнению функций лингвистического знака, причем всегда – при наличии намерения участника РА или без такого намерения – выступает в РА. Например:

«– Фемистоклос, – сказал Манилов, обратившись к старшему... Чичиков *поднял несколько бровь*, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на юс, *постарался тотчас привести лицо в обыкновенное положение*; «Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него. — Мне кажется, вы затрудняетесь?.. – заметил Чичиков»; «– А где же Иван Антонович? – Старик *тыкнул пальцем* в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу».

Если в 1-м случае мимическое движение (*поднял бровь*) простая произвольная и неадресованная реакция удивления, то второе мимическое движение (*постарался привести лицо в обыкновенное положение*) и целенаправлено, и адресовано (Манилову). Информация, содержащаяся в 1-м мимическом движении, не была «считана» Маниловым (Гоголь по крайней мере об этом не пишет), поэтому общий ход РА не нарушается. Во 2-м случае произвольная сигнализация Маниловым своего эмоционального состояния «считывается» Чичиковым, общий ход РА (изложение Чичиковым своего дела о покупке «мертвых душ») нарушается. В 3-м случае жест (*тыкнул пальцем*) полностью заменяет сообщение средствами естественного звукового языка и совершенно адекватно интерпретируется участниками РА, которым данный НВК адресован. Здесь мы имеем дело с условиями порождения конситуативного типа эллиптической конструкции, которая восполняется только при учете экстралингвистических и паралингвистических компонентов РА. Легко показать, что во всех примерах адекватный смысловой анализ ВК возможен лишь с учетом НВК. Нельзя представить себе не только «лингвистику текста» (с ее исследованиями цельности, связности и семантики общего содержания текста), но и традиционное (в духе Э. Бенвениста) рассмотрение предложения как «конечной единицы», подлежащей лингвистическому рассмотрению, без привлечения анализа взаимоот-

ношений между ВК и НВК в РА. Если вполне можно допустить собственно паралингвистические исследования (например, описание типов НВК вне связи их с ВК), то уже взаимоотношения НВК с ВК в РА в компетенции даже «чистой» лингвистики.

Актуальна задача рассмотрения и онтологического аспекта НВК, относительно которого есть пока лишь гипотетические, правдоподобные, впрочем, суждения: «Паралингвистическая сущность определенных средств коммуникации связана с развитием ранее нечленораздельных форм общения в животном мире [Колшанский 1974: 78]. Следует указать и на имеющиеся противоречия в оценке паралингвистических и лингвистических (в ранее отмеченном различении) объектов. Например, утверждая, что «язык функционирует в качестве полноценной коммуникативной системы, возникшей и развивающейся как средство, структурно не зависимое от других форм общения», Г.В. Колшанский одновременно признает, что «абстрагирующий характер языка... не устранил тех примитивных форм (биологических) общения, которые были свойственны предкам. Вот почему паралингвистические свойства языка человека в принципе составляют неотъемлемую часть коммуникации. Ни один логический язык не может быть подобием естественного языка не только в плане очищения от возможной многозначности употребления его форм, но и в плане отрыва его от всех присущих ему антропологических паралингвистических форм, сопровождающих речевой акт [Там же: 77]. Как видим, констатация полноценности языковой системы и ее структурной независимости сосуществует вместе с признанием неотъемлемости паралингвистических средств от собственно лингвистических. Откуда же «неотъемлемость?». Какие основания считать паралингвистические средства РА факультативными и лишь «сопровождающими» ВК? Наши данные [Горелов 1977з, 197-199] свидетельствуют о том, что: а) НВК являются не факультативной, а обязательной частью РА; б) НВК, опережающих реализацию ВК, – около 60%; в) НВК, реализующихся одновременно с ВК, – 37%; г) НВК, отстающих от ВК, – 3%.

Предварительные эксперименты с применением киносъемок дают основание считать, что в принципе НВК, отстающих от ВК, нет вообще, а НВК «сопровождения» реально манифестируются в своей начальной форме прежде, чем развертывается ВК. Поэтому мы и решились сформулировать следующее положение: «Невербальная внутренняя программа различных модальностей эксплицируется так, что вербальные средства выражения мысли замещают всякие иные средства коммуникации только в том случае, если последние оказываются недостаточными, малоэффективными, менее экономными

или просто непригодными для выражения, для достижения коммуникативных целей» [Там же: 177].

Таким образом, предлагается по-новому (сравнительно с традиционным подходом) рассматривать проблему экономии языковых средств в РА, иначе, чем это было раньше, решать вопрос о причинах возникновения эллипсов и всякого рода иных деформаций в ВК.

Хотя выше мы уже показали НВК в составе РА, чтобы ответить на принципиальный вопрос о причастности объектов паралингвистики к целям лингвистических исследований, логично начинать рассмотрение НВК с того момента, когда начинается процесс порождения высказывания.

В ряде уже указанных выше наших работ мы достаточно подробно освещали проблему внутреннего программирования будущего высказывания. Назовем еще одну нашу работу, специально посвященную обзору исследований по вопросу «глубинных структур» [Горелов 1977, 1], чтобы в дальнейшем не повторять уже высказанное.

Напомним в самых общих чертах положение советской психолингвистики, восходящее к тезису Л.С. Выготского о том, что выражение мысли есть процесс перехода «от мысли к слову», т. е. текст высказывания есть результат вербализации некоторого содержания, сформированного в коде, отличном от языкового (звукового и национально-языкового), либо еще до начала высказывания, либо – в некоторых частях – по ходу вербализации. Эта проблема хорошо известна по работам Н.И. Жинкина (он экспериментально показал, что содержание будущего высказывания конструируется в УПК – в универсально-предметном коде), А.А. Леонтьева, Т.В. Ахутиной, И.А. Зимней и многих других советских и зарубежных исследователей внутренней речи.

Невозможно свести УПК, т.е. код, в котором осуществляется наше мышление, к нейроследам в памяти представлений, своеобразным эквивалентам отраженных в сознании и подсознании элементов объективной реальности, которые были представлены в ощущениях и восприятиях. В знаке языка, который в своем большинстве является сугубо условным (хотя можно допустить, что в доисторическом языке господствовали звукоподражания и жестово-звуковые имитации), «отражено» также и межзнаковое отношение, и понятийные уровни разной степени абстракции. Такого рода знаки не могут иметь аналогов в предметном эквиваленте нейрофизиологического кода. Очевидно, эквиваленты представлений, соответствующие референтам класса вещей, качеству и наглядно представляемым действиям, являются фундаментальными и одновременно элементарными единицами УПК. На более высоком уровне этого кода, организованного иерархически, располагаются «следы-схемы», объединяющие

элементарные эквиваленты представлений в родовые (а еще раньше – в видовые) образования, которым соответствуют языковые и видовые обозначения. Бесчисленные и разнообразные связи между кодовыми единицами и уровнями образуют системы семантических полей, парадигматических и синтагматических группировок.

Отсутствие надежных (не только в деталях, но и в ряде принципиальных, сущностных характеристик) нейрофизиологических данных не позволяет пока уверенно судить о механизмах «кодовых переходов», о которых писал Н.И. Жинкин [1964] и которые необходимо иметь в виду, когда предпринимается попытка описать вербальное и невербальное на стадии, предшествующей РА, т.е. на стадии формирования «глубинных структур».

То обстоятельство, что одно и то же содержание может быть выражено разными синтаксическими структурами «на поверхности», причем структурами любого языка, свидетельствует о том, что смысл будущего высказывания на уровне «глубинных структур» имеет свои собственные и единицы, и правила синтаксирования.

В одном из опытов мы показывали, как носители разных (неродственных языков) ставились экспериментатором в условия необходимости передачи одной и той же информации средствами «жестового языка», так как не знали, будучи разделенными на специальные пары партнеров по коммуникации, языка друг друга ни в малейшей мере [Горелов 1977а: 297].

Опыт показал некоторые универсальные характеристики невербального, «глубинного» синтаксиса, среди которых: 1) отсутствие обозначения тематического подлежащего (субъекта); 2) постпозиция определения к любому существительному; 3) контактное расположение обозначения действия, прямого дополнения или обстоятельства – вне зависимости (как и в п.1 и 2) от норм, регулирующих «поверхностную» синтагматику.

Возможно, что в «глубинном синтаксисе» предложные сочетания могут быть представлены в последовательности типа послелога в тюркских языках: многие испытуемые прибегали к такого рода обозначениям.

Всевозможные нарушения норм «поверхностного» синтаксирования объясняются нами рядом причин: а) конфликтом между этими нормами и «глубинным синтаксисом»; б) гезитациями говорящего участника РА в связи с затруднениями в выборе конструкции или слова; в) нарушениями соответствующих связей между готовым замыслом и еще формируемым высказыванием: по ходу высказывания на первое место выходят единицы, соответствующие готовым уже частям содержания, а дальнейшая последовательность языковых знаков зависит от того, готовы ли соответствующие «блоки содер-

жания» и адекватные части вербального; г) «парадигматическая и синтагматическая организация речевого процесса обеспечивается различными мозговыми системами» [Лурия 1975: 15].

Результаты взаимодействия вербального и невербального в РА ясное всего выявляются, конечно, в тексте устного сообщения или в его литературно-художественной модели. Рассмотрим конкретные возможности НВК выступать в роли различных частей предложений.

А. НВК в качестве сказуемого:

« – Мне тайга не самый страх...

– Ну не скажи-и... Тайга – она ууу».

«– Ну что, не цепляешься? – спросил он мастера.

Тот *покачал головой*: мол нет».

Б. НВК в качестве прямого дополнения:

«– Во дворе Николай поднялся к лабазам, *кивнул на пудовый замок*:

– Отопри!»

В. НВК в качестве косвенного дополнения:

«– Для кого это ты? Яков *подмигнул и посмотрел на сестру*».

[Ежов и др. 1976].

Г. НВК в качестве обстоятельства образа действия:

«– *Хорошо* поет? – спросил Алексей Соломина.

Тот кивнул».

Д. НВК в качестве обстоятельства места:

«Поп посмотрел на Ерофея и, *подмигнув, склонил голову направо*, как бы спрашивая – *там?*

Ерофей, тоже молча, утвердительно склонил голову» [Абрамов 1974].

Е. НВК в качестве обстоятельства времени:

«– Когда же дед?... Дед... *посмотрел в окно*, как бы говоря: утром».

Ж. НВК в качестве обстоятельства причины и следствия:

«– Из-за нее, что ли? – Гена *кивнул в ее сторону*».

З. НВК в качестве подлежащего:

«– Это ты меня нашла? – Она *улыбнулась и отрицательно покачала головой*» [Козлов 1962].

И. НВК в качестве подлежащего и сказуемого.

Примеров для данного случая слишком много, чтобы приводить еще один. По этому поводу Ю.М. Скребнев пишет: «Отсутствие обоих главных членов предложения представляет собой широко распространенную синтаксическую черту разговорного подъязыка, использующего в законченных коммуникативных сегментах потенциальные второстепенные члены предложения» [1971: 3]. Определение «потенциальные» здесь весьма примечательно: так как в предложении как в таковом, т. е. в вербальной части высказывания, нет вербально выраженных главных членов, Ю.М. Скребнев логично

определяет оставшиеся «коммуникативные сегменты» как «потенциально второстепенные».

Невербальные компоненты, таким образом, представляют в нашем рассмотрении информативные образования различной природы и функций.

На протяжении процесса коммуникации в целом (т.е. от момента формирования мотива (интенции) будущего высказывания до момента адекватного понимания уже состоявшегося сообщения партнером по коммуникации) соотношение невербального и вербального может быть схематично передано следующим образом:

V _____ V _____ $V + V'$ _____ V _____ V'
 подготовка сообщения сообщение рецепция сообщения
 («превербитум») («вербитум») («поствербитум»),

где V – вербальный, а V' – невербальный компонент.

Ввиду того, что любой речевой акт осуществляется в данной схеме (не претендующей, впрочем, на полноту), невербальный компонент предлагается квалифицировать в качестве коммуникативной универсалии. В любом коммуникативном (с использованием естественного языка) акте невербальное и вербальное соотносятся друг с другом в соответствии с принципом дополнительности.

О принципе дополнительности в языкознании

«Это-то и поразило Бора, это и определило главное направление раздумий всей его жизни – то, что могут существовать два взаимоисключающих подхода к одному и тому же вопросу, которые, однако, в равной степени необходимы». [Мороз 1978: 124]

Принцип дополнительности Нильса Бора, безоговорочно признанный в физике иногда понимается с позиций некоей «глобальной эстетики мира», «гармонии», которая осознается исследователем в плане «возможности» ее отражения через «два взаимоисключающих подхода». Но в приведенной выше цитате читаем, что оба они «в равной степени необходимы». Правильнее, на наш взгляд, другое высказывание: «немногие люди знают так же хорошо, как он (Бор. – И.Г.), силу анализа, но в то же время чувствуют абсолютную недостаточность любой аналитической процедуры: гармония вещей складывается из взаимодействия явно конфликтующих друг с другом аспектов» [цит. по: Мороз 1978: 124]. Здесь уже яснее выступает сущность того, что названо «гармонией». Это – не эстетическая идея в единстве противоположностей, которыми характеризуются явления материального мира, причем слож-

ность исследуемого, говоря образно, определяется мерой противоречивости, многообразности выражения сущного.

Если обратиться к работам Л.В. Щербы [1931], В.М. Павлова [1967], С.Д. Кацнельсона [1972], Ю.С. Степанова [1975; Степанов и Эдельман 1976], где рассматриваются принципиальные вопросы языкознания в связи с историей лингвистических теорий в плане решения кардинальных вопросов отношений мышления и языка, формы и содержания, мы увидим – при всей независимости суждений и разделенности их во времени и в контекстуальных условиях – некоторые, несомненно, общие констатации и оценки, ведущие нас к необходимости признания принципа дополнительности в языкознании.

«Речевая деятельность, – пишет С.Д. Кацнельсон, – неимманентный процесс, замыкающийся в сфере языка» [1976: 115]. К этому выводу его подводит анализ работ Л.В. Щербы, Н. Хомского и многих других – анализ не только общеконцептуальных положений, но и конкретных компонентов теории, всех деталей объяснительных составляющих. Так, например, обращаясь к генеративной лингвистике Н. Хомского, С.Д. Кацнельсон нашел едва ли не самое слабое ее место: «...сама идея (Н. Хомского.– И.Г.) «семантической интерпретации», ставящая семантическую структуру предложения в зависимость от его формальной структуры, представляется необоснованной. Скорее, наоборот, формальная структура, как ее вскрывает грамматический анализ, является производной от семантической структуры предложения, своего рода «синтаксической интерпретацией» глубинной семантической структуры ... генеративный процесс в целом, скорее, имитирует процесс слушания-понимания, нежели процесс мышления-выражения» [Там же: 104-105]. Чрезвычайно близки к этим положениям и выводы Ю.С. Степанова: «Опыт развития языкознания последнего десятилетия свидетельствует о том, что подлинные универсалии заключаются в глубинных принципах организации языковых структур, а не в результатах действия этих принципов – не в самих отдельных конкретных чертах языковых структур» [Степанов 1976: 204]. Как мы старались показать, семантический аспект языкового выражения представлен в речевой деятельности невербальными латентными компонентами, участвующими в процессах порождения на этапе «докоммуникативном» и на этапе понимания речевого сообщения. Согласно предлагаемому и для языкознания принципу дополнительности мы обязаны, обращаясь к семантическому аспекту языкового знака, его функционированию и интерпретации, признать необходимым выйти за пределы формы выражения, за пределы означающего.

Опираясь на данные нейрофизиологов В. Пенфильда и Л. Роберта относительно автономности блоков памяти понятий и блока па-

мяти слов, С.Д. Кацнельсон нашел, что «явления омофонии лексических значений и омосемии лексем, широко известные под традиционными именами омонимии, полисемии и синонимии, прямо указывают на относительную автономность семантического и лексического компонентов». Эта относительная автономность подтверждается также экспериментальным доказательством наличия разных типов (образного и абстрактно-знакового) мышления; важно, однако, отметить следующее положение, к которому приходит С.Д. Кацнельсон:

«Как бы сложны и разнообразны ни были способы хранения знаний в нашем уме, в их основе всегда лежат различного рода предметно-содержательные связи» [Кацнельсон 1976: 111-112]. Речь, стало быть, не идет только о возможных вариациях памяти и мышления у разных людей. Речь идет главным образом о естественной причине указанной выше относительной автономности планов выражения и содержания, о работающем механизме речи, в котором реально выявляются противоречивость, двусторонность объекта, наделенного качествами как вербальности, так и невербальности. Полное описание такого объекта невозможно без применения принципа дополнительности.

«Когда семиология сложится как наука, – писал Ф. де Соссюр, – она должна будет поставить вопрос, относится ли к ее компетенции способы выражения, покоящиеся на знаках, в полной мере «естественных», как, например, пантомима». И далее: «Но даже если семиология включит их в число своих объектов, все же главным предметом ее рассмотрения останется совокупность систем, основанных на произвольности знака» [Соссюр 1979, 101]. Развитие семиотики (или семиологии – как предпочитал писать и говорить Ф. де Соссюр) показало, что невозможно обойтись без «естественных» знаковых систем, без рассмотрения мотивированных (в разных планах и в разной степени) средств общения – не только потому, что они продолжают активно жить и развиваться (наряду и вместе с системами «произвольных» знаков), но и потому, что статическое описание речевой деятельности невозможно, описание языка в статике неполноценно, а в процессе речи и в генезисе как таковом естественные (включая невербальные) системы общения играли и играют, несомненно, весьма важную роль. По существу семиотика благодаря зоопсихологии и антропологии рождает или уже породила в своих недрах эволюционный аспект. Знаковые системы мы обязаны рассматривать в широком «диапазоне знаковости» (по Ю.С. Степанову), где гораздо плодотворнее не деление на «знак / не-знак», а установление иерархии знаков по степени выявленной сущности «знаковости» и по соотношению с рядом условий знаковых ситуаций. И в

семиологическом плане, как видим, принцип дополнительности обещает свои перспективы. В связи с проблемой эволюции знаковой деятельности имеет смысл с точки зрения принципа дополнительности пересмотреть отношение и к вопросу о происхождении языка: нет никаких причин отказывать всем известным (кроме мифологической, разумеется) гипотезам о происхождении языков в правомерности, в теоретической допустимости. Но наиболее вероятный (достоверный) результат мы получим в том случае, если примем все известные гипотезы в комплексе, сопоставив умозрительные предположения с наблюдениями за развитием речи в онтогенезе; здесь выражены все компоненты, без всякого исключения, соотносимые именно со всеми гипотезами – будь то «теория жестов», «трудовых выкриков», «междометная теория» или «теория звукоподражаний». Эти теории явно находятся в отношениях дополнительности друг к другу. Невербальные компоненты собственно коммуникативной деятельности на участке передачи сообщения проявляют себя как рудименты древнейшего способа общения, что еще раз убеждает нас в необходимости рассмотрения как синхронического, так и диахронического аспектов речевой деятельности – согласно принципу дополнительности.

Нет ни одной серьезной работы в области кибернетики, где бы не подчеркивалась самая острая необходимость в исследованиях сущности речевой коммуникации, которая, как мы старались показать, далеко не исчерпывается «механизмами языка». Психолингвистический подход, на наш взгляд, обладает по самому определению возможностями (в духе принципа дополнительности) для достоверного описания указанного объекта.

ОПЫТ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМЕ «ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ»¹

«Сама возможность межкультурной коммуникации появилась именно потому, что люди говорят на разных языках, но об одном у том же ... предметы, на которые направлено отношение – одни и те же, связи между предметами осмысляются одинаково» [Конрад 1972: 476].

«Язык – не смиренная рубашка... За пределами форм выражения, навязанных лингвистической традицией, непрерывно происходят новые образования – в поэзии, в науке...» [Lotz 1961: 13].

«...огромная часть внешней и внутренней реальности не подлежит словесному выражению или определению» [Sullivan 1953: 49].

Восемь лет назад, касаясь проблемы «лингвистической относительности» В.А. Звегинцев сформулировал два противоположных друг другу тезиса:

1. «На вопрос, влияет ли язык на поведение человека, может быть лишь безоговорочно положительный ответ. Язык есть субстрат интеллектуальной деятельности человека» [Звегинцев 1968: 72].

2. «Если расположить в один ряд все реальные модусы воздействия языка на поведение – от стилистико-экспрессивных до фатических, то станет совершенно ясно, что они не имеют ничего общего с теорией «лингвистической относительности» и в особенности в той её крайней форме, какую мы находим в гипотезе Сэпира-Уорфа... Все модусы воздействия языка на поведение не укладываются в теорию «лингвистической относительности» и даже противоречат её выводам» [Там же: 95] (здесь и выше разрядка моя. – И.Г.).

В одной из последних своих крупных работ В.А. Звегинцев, ссылаясь также на одну из последних работ Б. Уорфа, подтверждает правильность именно второго, а не первого из своих прежних тезисов: «Скрытые категории, связывающие данные опыта с лингвистической схемой» в конечном счете способствуют пре-

¹ По изданию: Горелов И.Н. Опыт психолингвистического подхода к проблеме «лингвистической относительности» // Виды и функции речевой деятельности. М., 1977. С.220-241.

одолению релятивизма конкретных языков, служащего основой теории лингвистической относительности Б. Уорфа... Он пишет: «Утверждение, что мышление является материалом языка – это неверное обобщение более правильной идеи о том, что «мышление является материалом различных языков. Именно эти различные языки суть реальные явления» [Звегинцев 1973: 186].

Под «различными языками» понимаются, конечно, не различные конкретные национальные языки, а «открытая форма», т.е. внешне выраженная система любого конкретного национального языка с одной стороны, и «скрытая форма», «скрытые категории» информативной системы мышления – с другой. К. Прибрам назвал, как известно, эти «скрытые категории» «языками мозга» [См.: Прибрам 1975].

Существенно подкрепив свой 2-й тезис, В.А. Звегинцев в новой работе, как нам кажется, совершенно не затронул 1-го, не показал, в чем же заключается субстратная сущность языка (или почему язык уже нельзя назвать субстратом интеллекта). Осталась (в прежней работе) ссылка на известные эксперименты Э. Леннеберга и Дж. Робертса, которые должны были подкрепить мнение Звегинцева, что языковая система детерминирует перцептивную т.е. доинтеллектуальную деятельность [Звегинцев 1968: 74-76].¹ Так, система ударений в словах французского, польского и чешского языков якобы мешает носителям этих языков различать объективную силу ряда ударов (стуков), а специфическое цветообозначение в ряде языков (игнорирующее реальные части спектра) не позволяет классифицировать предъявляемые объекты по цвету одинаково, т.е. независимо от «диктата языка».

Относительно цветоразличения достаточны, на наш взгляд, факты наличия универсальной тестовой системы, известной под названием «пробы на дальтонизм», применяемой решительно во всех странах на носителях самых разнотестовых (в интересующем нас смысле) языков, а также еще более известные факты этнографического характера: цветная орнаментика, известная народам почти любого уровня цивилизации, не обнаруживает смещения «голубого» с «зеленым», «красного» с «оранжевым» и «желтым» и даже «светлоголубого» с «темно-синим»². Что касается экспериментов с опознаванием силы удара, то широко известно, что носителя указанных

¹ Заметим, что языковая системная детерминация на перцептивном уровне, если бы она действительно имела место, привела бы естественным образом к детерминации на интеллектуальном уровне, который не только «надстраивается» на перцептивном уровне, но и постоянно с ним взаимодействует.

² По свидетельству Ж.И. Шиф [1962], глухие дети не отстают от слышащих в практике на цветоразличение, хотя вообще не знают названий цветов.

выше языков, как и носители любых других языков, превосходно различают речь иностранца на своем родном языке. А ведь здесь, казалось бы, когда основное внимание уделяется содержанию высказывания, незначительный (с этой точки зрения) факт переноса ударения в отдельных словах не должен был бы привлекать особого внимания. Кроме того, носитель русского языка, привыкший к подвижным ударениям, должен был бы явить собой счастливое исключение при восприятии упомянутого выше ряда стуков. Все же обратимся к эксперименту, проведенному нами дважды (1968 и 1970 годах).

Методика эксперимента состояла в том, что 22 носителям пяти языков, не владеющим никакими другими языками, предъявлялись в **1-й серии** группы слов на родном языке, группы слов на иностранном языке (языках испытуемых) и группы псевдослов. Слова предъявлялись в соответствующей транслитерации (для русских и болгар – в общей; для немцев, французов, поляков – в латинской, модифицированной так, что непронизносимые звуки не обозначались).

Предъявленные слова прочитывались испытуемыми вслух и записывались на магнитофон.

Во **2-й серии** магнитофонные записи предъявлялись испытуемым без предварительной инструкции на исправление. Инструкция заключалась в просьбе опознать значения предъявленных на слух слов. Сначала посмотрим, как читаются предъявленные слова и псевдослова носителями разных языков (*). Результаты обозначены метрикой (**).

(*) Чтение слов родного языка отмечается в квадрате просто знаком «+». Псевдослова (с двумя «полунорвежскими» моделями) читались всеми испытуемыми (3-я колонка).

(**) В таблице дается доминирующий вариант ударения, устанавливаемый обычно после 2-х – 3-х проб. Для носителей русского языка, где были все возможные варианты, дан основной, предпочитаемый всеми 10 испытуемыми. Второстепенные ударения, отмечаемые у носителя немецкого языка, не отмечаются.

Предъявленные	Носители языков				
	русский	польский	болгарский	немецкий	французский
1	2	3	4	5	6
Мусор	+	/ _	/ _	/ _	_ /
Лиственница		_ _ / _	_ / _	/ _ _	_ _ /
Скамейка		_ / _	_ _ /	/ _ _	_ _ /
Коридор		_ _ /	_ _ /	/ _ _	_ _ /
Солдатня		/ _	_ / _	_ / _	_ _ /

Милостив	/ _ _	/ _ /		/ _ _	_ _ /
Избирам	_ _ /	/ _ /	+	/ _ _	_ _ /
Техник	/ _ _	/ _ _		/ _ _	_ _ /
Укор	_ /	/ _		/ _	_ /
Синтеза	/ _ _	_ / _		_ / _	_ _ /
Адамсепли	_ _ /	_ _ /	_ _ /	/ _ _	_ _ /
Меделхафет	_ _ /	_ _ /	_ _ /	/ _ _	_ _ /
Кураснидо	_ _ /	/ _ _	_ _ /	/ _ _	_ _ /
Шоликунэ	_ _ /	/ _ _	/ _ _	/ _ _	_ _ /
Брасигоша	_ / _	_ / _	_ / _	/ _ _	_ _ /
Soda	/ _	/ _	/ _		_ /
Ernte	/ _	/ _	/ _		_ /
Mathematik	_ _ /	_ _ /	_ _ /	+	_ _ /
Musik	/ _	/ _	/ _		_ /
Gabe	/ _	/ _	/ _		_ /
Hamulec	_ _ /		/ _	/ _ _	_ _ /
Prostokat	_ _ /	+	/ _	/ _ _	_ _ /
Gladki	/ _		/ _	/ _	_ /
Spotkamy	_ / _		/ _ _	/ _ _	_ / ?
Dąbrowska	_ / _		/ _ _	/ _ _	_ _ /
Annuler	_ / _	_ / _	/ _	/ _ _	
Tulipe	_ /	/ _	/ _	/ _	+
Truster	/ _	/ _	/ _	/ _	
Sportsman	_ /	_ /	/ _	_ /	
reverberer	_ _ /	_ _ /	_ / _	_ / _	

Результаты опознания правильно или неправильно произнесенных слов родного (для каждого испытуемого) языка не нуждаются в табличном представлении: в 100% случаев носители всех пяти языков указывали на все неверные ударения, и что они в ряде случаев затрудняли понимание слова (следовали просьбы прослушать магнитофонную запись дважды), хотя были и другие погрешности в произношении. Таким образом, различия между нормативным и смещенным ударениями отмечались в первую очередь, хотя внимание испытуемых было направлено на интеллектуальную задачу (распознавание облика и значения слова в целом). Нам представляются результаты нашего эксперимента опровергающими результаты эксперимента Э. Леннеберга и Дж. Робертса¹.

¹ Эксперимент подтвердил, конечно, к стремление перенести «свое» ударение на незнакомое иноязычное слово. В этом смысле, разумеется, родной язык влияет на речевое поведение человека. Но такой вывод, думается, вполне тривиален и несколько не усиливает теорию лингвистической относительности.

Рассмотрим интересный факт из книги А. Баталова и Ц. Кваснецкой, поскольку он касается и перцептивной, и интеллектуальной деятельности носителей различных языков. Алексей Баталов пишет в главе «О том, чего нельзя сказать словами», размышляя об искусстве пантомимы Марселя Марсо: «Марсо спросил, все ли нам было понятно, Мы наперебой бросились объяснять... Каждый дергал за рукав несчастного переводчика, желая узнать то, что говорил Марсо. Но, пожалуй, самым странным, самым неестественным как раз и было то, что мы так плохо понимали друг друга, что у нас разные языки. Всего несколько минут назад мы не думали об этом – так точно и ясно было всё, что происходило на сцене (разрядка моя. – И.Г.) [Баталов, Кваснецкая 1975: 136].

Как же возможно адекватное восприятие «надязыкового сообщения», каким является пантомима Марселя Марсо, как правило, чрезвычайно глубокая и конкретная (сюжетная) по содержанию? Очевидно, можно было бы рассмотреть и вопрос понимания «наднационального» (вместе с тем и «надязыкового») языка дирижирования. Но мы уже, во-первых, говорили однажды о «наднациональном» языке выразительных движений [Горелов 1974: 40-41]. Во-вторых, «язык дирижирования» в своей основе не только общий код выразительных движений, но и общая система специальных (в смысле музыкальной профессии) знаков, которой специально обучаются оркестранты. Пантомимическое же представление доступно в принципе любому представителю данного уровня цивилизации. Не имея возможности подробно ответить на заданный выше вопрос, попытаемся ограничиться кратким предположением.

В собственном опыте зрителя пантомимы имеется набор выразительных движений, символизирующих определенные эмоциональные состояния, поскольку каждое значимое действие или отношение сопровождается эмоциями и способами их выражения. Следовательно, пластический знак «страха», «гнева», «удивления» и пр. импульсирует обращение к содержательной событийности (т.е. к тому, что может вызвать «страх», «гнев», «удивление» и пр.). Пантомима конструируется из целого ряда пластических выразительных движений, соединенных с наглядными моделями реальных действий, известных зрителям. В целом получается система либо «просто сюжетная», либо чрезвычайно сложная, экстраполирующая «просто сюжет» на судьбу человека или судьбу человеческого общества. Эффект адекватности достигается или не достигается – в зависимости от того, имеет ли зритель представление о возможной судьбе человека (общества в связи с тем, что он видит и насколько богато это представление. Языковая же система, носителем которой является зри-

тель, не имеет здесь никакого значения. Во всяком случае, можно не сомневаться, что русскому Алексею Баталову пантомима француза Марсо была более понятна, чем, скажем, некоему французу Х., безразличному к идеям знаменитого мима. Не исключена все же возможность предполагать, что каким-то образом «диктат языка» на высшем уровне интеллектуальной деятельности ослабевает, оставаясь в силе на менее высоком уровне. Важно поэтому выяснить экспериментально, когда и как восприятие и воспроизведение зрительных образов «скрещивается» с вербальными механизмами или опирается на них; как соотносятся восприятия и воспроизведения текстов и зрительных образов.

Рассмотрим несколько опытов.

В 1-м мы ставили целью выяснение статуса зрительной памяти испытуемых – 15 профессиональных художников в возрасте 24-37 лет. Эмпирическим путем было найдено, что для стопроцентного запоминания и воспроизведения окрашенных фигур и парных словосочетаний следует предъявлять карточки максимум с шестью разноокрашенными фигурами и шестью парными словосочетаниями. В этом случае словесное (устное и письменное и практическое воспроизведение следует после двадцатисекундной экспозиции.

Во 2-м опыте выяснилось, что время предъявления карточек можно сократить до 10 секунд, если вместо фигур (круг, треугольник) предъявлять силуэты хорошо узнаваемых предметов («черный башмак», «красная гвоздика»), а вместо словосочетаний «синяя линия», «желтый мазок» предъявлять сочетания «синий мяч», «желтое солнце».

В 3-м опыте на одной карточке изображались упомянутые конкретные предметы с соответствующими (синергическими) подписями к ним, а в 4-м опыте – с антагонистическими.

Исходные гипотезы могут быть сформулированы следующим образом:

Носитель языка, запоминающий отдельно некоторую равнообъемную и равнозначную вербальную и авербальную информацию, обнаружит более высокую результативность на вербальном материале.

При решении задачи, в которой вербальная и авербальная информация представлена антагонистически, обнаружится эффект предпочтения вербальной информации в ущерб авербальной.

При решении задачи, в которой два вида информации представлены синергически, эффект запоминания будет большим не только сравнительно с результатами запоминания авербальной информации, не подкрепленной вербально.

Для проверки первой гипотезы испытуемым (80 человек в возрасте от 11 до 47 лет) предлагалось в двух сериях опытов запомнить и в дальнейшем устно воспроизвести (сразу после предъявления) информацию, представленную на карточках четырех типов:

А) карточка с шестью фигуративными элементами, окрашенными в разные цвета (белый ромб, черный квадрат, красный круг, зеленый треугольник, желтый прямоугольник, синий овал) – в различных сочетаниях для разных испытуемых;

Б) карточки с шестью конкретно-изобразительными элементами разного цвета (черный слон, красный кораблик, белый домик, зеленая кастрюля и пр.) – в различных сочетаниях для разных испытуемых;

В) карточки с шестью парными словосочетаниями, описывающими фигуративные элементы;

Г) карточки с шестью парными словосочетаниями, описывающими конкретно-изобразительные элементы.

В ходе опыта сразу же выяснилось, что оптимальное время для безошибочного воспроизведения предъявляемого материала не может быть одинаковым для вербальной и авербальной информации. Так, для 100% запоминания фигуративного ряда понадобилось во всех случаях 20 секунд, для конкретно-изобразительного ряда – 60 секунд. При этом обнаружилось, что эффективность запоминания конкретно-изобразительного ряда с условными цветовыми признаками (черный слон, голубая груша) значительно выше, чем эффективность запоминания соответствующих окказиональных словосочетаний («черный слон», «голубая груша»).¹ Мы предположили, что в дальнейших опытах следует уравнивать условия запоминания разных видов информации, увеличив время экспозиции вербальной информации в 4 раза сравнительно с авербальной. По результатам опытной проверки 1-я гипотеза, на наш взгляд, не подтвердилась, по крайней мере, в той части, где элементы конкретно-изобразительной информации, содержащие условный признак, запоминались лучше, чем окказиональные словосочетания. Следует обратить внимание также на время воспроизведения, которое во всех случаях свидетельствует в пользу авербальной информации.

Для проверки 2-й гипотезы тем же испытуемым предлагались карточки (указанных выше видов) с авербально-вербальной информацией; изобразительные элементы предъявлялись одновременно с вербальным материалом (парное словосочетание), находящимся в антагонистических отношениях с вербальным. Число таких смешанно-информативных элементов последовательно изменялось от 6 (по числу изобразительных элементов) до 1. Как показано в таблице, эффект воспроизведения такой информации был всегда хуже, при-

¹ Точные данные см. в таблице ниже.

чем степень сохранности авербальной информации всегда была значительно выше, чем вербальной.

Время экспозиции смешанно-информативного ряда пропорционально увеличивалось, как мы говорили выше. Поэтому мы полагаем, что 2-ю гипотезу следует отклонить как неподтвержденную.

Для проверки 3-й гипотезы испытуемым предъявлялись карточки с изобразительным рядом в сопровождении синергического вербального материала (в виде «подкрепляющей» подписи). Результаты запоминания и воспроизведения сравнивались с результатами 1-го опыта (запоминание изобразительного ряда без подписей). Как видно из таблицы, опыт не показал никаких расхождений, откуда можно сделать вывод, что 3-я гипотеза также не подтвердилась. Для уточнения выводов была проведена дополнительная серия опытов (см. таблицу 2). В 1-й части серии испытуемым предлагалось вначале воспроизвести вербальный материал, а затем изобразительный. В последовательно предъявляющихся карточках словосочетания по содержанию и по месту расположения полностью соответствовали элементам изобразительного ряда. Предполагалось, что предварительное запоминание вербального материала повысит эффективность запоминания изобразительного ряда. Это не подтвердилось.

Во 2-й части серии порядок предъявления карточек изменялся на противоположный: сначала испытуемые запоминали изобразительный ряд, а затем – вербальный. В этом случае эффективность запоминания (по результатам воспроизведения) существенно повышалась (таблица 3).

Поскольку, как хорошо известно, результаты работы памяти различны в зависимости от того, предъявляются ли наборы изолированных объектов или же целостная композиция, т.е. взаимосвязь того же количества элементов, имеет смысл рассмотреть другую серию опытов.

В этой серии десяти испытуемым 11-38 лет предъявлялись для дальнейшего воспроизведения (при отсрочке 10-15 минут) комплексные аппликации по теме «Гостиная», «Спальня», «Зимний пейзаж», «Новогодняя ёлка» и пр., а также вербальные описания зрительного ряда.

При экспозиции в 15 сек. Все испытуемые подробно описывали все компоненты композиции, указывая на все основные качества (цвет, форму) и их взаимное положение (слева, справа, перед, на, ниже и пр.).

Тексты, составленные в виде лаконичных описаний зрительного ряда запоминались удовлетворительно (т.е. воспроизводились после отсрочки) только при экспозиции 20-25 сек., т.е. когда испытуемые имели возможность дважды прочитать тексты. При этом детали опи-

сания воспроизводились явно хуже, чем после предъявления зрительного авербального ряда (см. таблицу ниже).

В целом же можно утверждать, что связный текст запоминается эффективнее, чем вербальный ряд без связи между элементами. Целостная композиция из аппликаций запоминается и воспроизводится лишь несколько лучше, чем авербальный ряд из несвязанных элементов. Вербальный материал без иллюстративных элементов перерабатывается и запоминается существенно хуже по сравнению с авербальным. И хотя на данных опытах нельзя корректно доказать, что при запоминании авербального материала не участвует латентная вербализация, можно все же предположить, что она не нужна.

Интроспективные результаты, судя по отчетам испытуемых, свидетельствуют исключительно об опоре на зрительные образы, которые всегда были более стойкими, чем «память текста». «Память текста» – по тем же отчетам – существенно улучшалась при перекодировке его (текста) в зрительные конкретные образы. Типичное свидетельство испытуемого: «Хорошо запоминаю словесное описание, если стараюсь запомнить не слова, а то, что представляю себе по описанию. Картинку запоминаю быстро и долго вижу ее перед глазами, когда самой карточкой передо мной нет. После паузы в 10-15 минут могу свободно описать все, что видел на картинке! А тексты могу припомнить после отсрочки гораздо труднее. Надо, чтобы запомнили тему текста. Детали забываются особенно, быстро. Часто я не уверена, что пересказываю текст безошибочно. Кажется, что кое-что придумываю, говорю лишнее или упускаю то, что было».

На основании изложенного можно, по-видимому, прийти к следующим выводам:

Нет оснований утверждать, что перцептивная деятельность на уровне зрительных восприятий обязательно опосредована второй сигнальной системой.

Имеются основания утверждать, что восприятие и запоминание вербальной информации сопровождается декодированием ее в системе наглядного кода. В тех случаях, когда непосредственно воспринимаемый изобразительный ряд находится в антагонистических отношениях с вербальным рядом, наблюдается эффект предпочтения изобразительного ряда вербальному.

Ведущая роль в описанных процессах принадлежит первосигнальной системе. Возможная (подчиненная) роль второсигнальной системы не обнаруживается.

Гипотеза Сэпира-Уорфа применительно к перцептивному уровню неосновательна: если вторая сигнальная система не обнаруживает вообще своей доминантной роли в перцептивной деятельности, то нецелесообразно ставить вопрос о лингвистической относительности.

Думается, что эксперимент подтверждает также положения последней работы А.Р. Лурия в той части, где рассматривается в онтогенезе (с прекрасными и глубокими параллелями относительно филогенеза речи) развитие целенаправленной деятельности ребенка: 1. Этап праксиса, 2. Этап речевого сопровождения праксиса, 3. Этап речевого планирования праксиса. Ссылаясь, в частности, на работы немецких специалистов Бюлер и Гетцер, А.Р. Лурия отмечает, что речь ребенка вначале отражает уже выполненный рисунок, потом речь начинает сопровождать процесс рисования и лишь позднее начинает предшествовать рисунку [См: Лурия 1975: 10-11].

Эксперимент, по-видимому, свидетельствует о том, что непосредственный чувственный опыт носителя русского языка «перевешивает», когда имеется возможность подсознательно или сознательно сопоставить достоверность (объективность) авербально и вербально поданной информации. Представим себе, однако, случай, при котором непосредственное («живое») созерцание невозможно. Тогда некоторое знание (т.е. содержательная информация), поданное в языковой форме может быть усвоено также только в языковой форме. И соответствующее ей представление, не будучи скорректированным чувственным опытом, останется конструктом данного (языкового) типа. Отсюда берут свои истоки наши многочисленные «ходячие представления». На деле они рождены «ходячими словосочетаниями», своеобразными «клише», которые, конечно, могут изменяться от языка к языку; мы можем даже объяснить их «специфической валентностью» или «специфической дистрибутивной характеристикой». На деле же мы будем при этом заменять объективное отражение объективной реальности субъективным представлением, скажем, в манере «Лексикона прописных истин» Г. Флобера.

Известный афоризм Козьмы Пруtkова («Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим») может быть, таким образом, интерпретирован в рамках проблемы «языковой относительности»: верить ли надписи на клетке или тому, что видишь собственными глазами? Если я получил слово (и представление) «юг», затем сочетание «Южная Америка», то словосочетание «Холодно, как на юге Южной Америки» я буду воспринимать как парадокс. Необходимы внеязыковые (относительно прежних, языковых) новые знания и новые языковые явления, которые позволили бы постичь объективную достоверность и закрепить ее в моем языковом опыте. Экстралингвистические знания, интеллектуальные операции «преодолевают релятивизм языка», так как не язык есть «субстрат интеллекта», а, напротив – в филогенезе и в онтогенезе – знаковое поведение высшего уровня строится на соответствующем «интеллектуальном субстрате». Взаимодействие сигналь-

ных систем не подлежит сомнению, но языковая система не определяет возможностей познания объективной реальности, если последняя предстает перед индивидом не только в «языковом описании», но и непосредственно.

Приложение

Эффективность переработки авербальной и вербальной информации (сопоставительные данные)

Принятые сокращения: ВИ – вид информации, предъявляемой испытуемым. А(ф) – авербальный (фигуративный). А(и) – авербальный (конкретно-изобразительный). А(и)у – авербальный, конкретно-изобразительный с условным признаком (необычный цвет). Вн – вербальное нормативное сочетание. Вос – время воспроизведения материала. ХВ – характеристика качества воспроизведения. РВ – результат воспроизведения в %.

При обозначении результатов переработки информации смешенного вида (вербально-авербальной) в числителе даются результаты по вербальной информации, в знаменателе – по авербальной. Информация смешанного вида обозначается в знаменателе литером «а» (если оба вида информации представлены в антагонистических отношениях) или литером «с» (если отношения синергические).

Цифры в скобках (6), (5) и пр. означают количество элементов на карточке. Общее количество испытуемых (80) не изменяется. Каждый получает одновременно по 10 карточек каждого типа. Результаты в каждом случае усредняются.

СОЦИОПСИХОЛИНГВИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ¹

При безусловном неприятии всех и всяческих средств манипуляции сознанием индивида или группы, коллектива или общества в целом, невозможно отрицать реальность речевого (текстового) воздействия на человека – будь то управление производством, воспитание, обучение, бытовое общение или политическое влияние. Перед лицом декларируемого (и желанного!) будущего с «самоорганизованным обществом» – вне глобального или регионального тоталитаризма – информационные потоки суть принципиально незаменимые способы познания и развития. Принципиально неизменны, по видимому, факторы неравнозначной активности людей и различных групп, их разная степень информированности в той или иной сфере, разная глубина и формы потребностей в информации. И все это – на «фоне» прогрессивно возрастающих потоков информационно-обменного характера, повышения степени знаковости поведения людей, т.е. опосредованности их совместной деятельности знаковыми системами.

На мой взгляд, в дальнейшем (отнюдь не в рамках предлагаемой статьи) следует уделить самое глубокое внимание научному испытанию некоторых ходовых и, как мне кажется, квазиаксиоматических определений и тезисов типа «самоорганизация» (применительно как к индивиду, так и к социуму), «интересы личности важнее интересов коллектива, группы, класса, нации» [Кочубей 1991: 94]. Отрицательное отношение автора-психолога к системному подходу в социологии (принижающему, по его мнению, самооценку личности) [Там же: 72]) ошибочно не потому, что вообще не надо заботиться о свободе личности, а потому, что речь должна идти о достижении оптимальной свободы индивида в условиях реальной его включенности в систему. Не признавать этой реальности? «Выключение», если и хорошо теоретически (хотя невозможно доказать, что это хорошо!), то ведь недостижимо. Справедливая критика теории классов и классовой борьбы в пользу классовой конвергенции (или бесклассовой конвергенции) не может отменить реальных фактов разделения труда в обществе, наличия в нем разных профессиональных и социально-моральных ценностей и потребностей, разных групповых установок. Да и конвергенция есть – по определению – объединение, включенность, а не распад на индивидуальные экзистенции. Верно, конечно, что предельное принижение значимости индивида (по формуле В. Маяковского, «единица – нуль») привело к тотальному

¹ По изданию: Гореллов И.Н. Социопсихоллингвистика и проблемы управления обществом // Философия языка и семиотика, Иваново, 1995. С.137-149.

контролю и над частной жизнью со всеми его ужасающими следствиями. Но ведь личность не живет одной частной жизнью и не может перешагнуть через то общее, что уже дано: язык, мораль, закон. И при саморегуляции остаются правила регуляции, выработанные опытом социума, – вкусы, мода, ритм трудовой жизни и транспорта, ритм времени дня, ночи, смены времен года, общность традиций и системы ценностей духовной жизни и в быту. В этот ряд намеренно введены разнородные составляющие: для индивида, как, впрочем, и для группы, они объективны. Известные гениальные отклонения от «нормы» не могут, к сожалению, служить воспроизводимым образцом для не-гениального большинства, которое реагирует на проявление гения либо непониманием и противостоянием, либо одобрением, апологетикой и эпигонством (как формами, пассивного или активного имитативного поведения).

Так или иначе, микро- и макросоциум позволяют выдвинуться лидеру и лидирующей группе, иницилирующим значимое общественное движение, в которое включается (в любой форме) активное большинство. Вербальные и иные тексты служат основным средством организации (или «самоорганизации», если под ней понимать «ненавязанную программу») деятельности. По-видимому, «системоборцы» воюют – и справедливо! – с ситуациями, которые в поэтической форме представлены В. Брюсовым в знаменитом стихотворении «Каменщик» (1901). Там рабочий строит тюрьму, в которой, по его собственному признанию, может быть заключен «сын мой, такой же рабочий». Но на призыв одуматься каменщик отвечает: «Эй, берегись! Под лесами не балуй... Знаем все сами, молчи!». Почему «молчи»? Да потому, что каменщик вынужден системой социально-экономических отношений зарабатывать себе на жизнь именно таким способом. Откажись он – на его место станет другой каменщик. Мысль о том, что «надо менять систему», стала особенно отчетливой в сознании не только каменщиков в 1905 и 1917 гг. Что, однако, не обязательно дано знать каждому каменщику, – «другая система» заставит строить ту же или другую тюрьму. Предположим все же, что построена такая система, в которой тюрем не требуется, тем более что каменщики во все времена строили не только тюрьмы, но и то, что называется «непреходящими ценностями», «историческими памятниками», «шедеврами архитектуры» и т. п. Однако конкретные условия работы каменщиков были (и есть) таковы, что между их эмоциями, с одной стороны, и эстетическими переживаниями архитектора, заказчика (пользователя) – с другой, образуется непреодолимое зияние. Повышением зарплаты каменщикам зияние нельзя ни заполнить, ни сузить: остаются разные уровни эстетического вос-

приятия и разные мотивы трудовой деятельности. Надеются ли «системоборцы» на выравнивание потребностей, вкусов и пр.?

Короче говоря, системный подход – не произвольная фантазия «новой волны гуманитариев, до зубов вооруженных новейшим методологическим оружием» [Кочубей 1991: 72]), а следствие нынешнего этапа познания закономерностей социального существования. На этом завершим обсуждение – беглое по необходимости – одного из «общих вопросов».

Приступая к изложению предложенной темы, сразу же обращаюсь к цитате из редакционного предисловия А.А. Леонтьева к работе Т.М. Дридзе [Леонтьев 1980: 3-4]): «Лингвосоциопсихология есть прежде всего наука о процессах функционирования текстов в обществе и о такой структуре этих текстов, вариантность которой непосредственно соотносима с вариантностью их функций». Далее автор, справедливо усматривая определенную аналогию между новой дисциплиной и более привычной, психолингвистикой, отмечает: «В лингвосоциопсихологии речь идет уже не о формальной (операционной) структуре речи, но о содержательной (информационно-смысловой) структуре текстообразования и самих текстов как продуктов этого процесса: не о процессе речевого общения между конкретными индивидами, а о более широком контексте функционирования – о функционировании информационно-смысловых единиц (текстов) в системе «общество – индивид» или «индивид – общество» [Там же: 3-4)].

Предлагаемый мной термин «социопсихолингвистика» вряд ли имеет в виду противопоставление «лингвосоциопсихологии» по существу; скорее речь идет о том, чтобы, не исключая ни одного из трех обязательных составляющих термина, подчеркнуть три момента:

1) «основным» (определяемым) словом должна быть единица, обозначающая основной же объект исследования в его речевом проявлении, – «лингвистика текста», «лингвистическая данность речевого проявления», редуцировано – «лингвистика»; 2) поскольку текст порождается и воспринимается человеком, процессы порождения и интерпретации текста могут быть описаны более или менее достоверно в неразрывной связи с психологией текстопорождения, текстоинтерпретации, текстофункционирования в целом, поэтому – «психолингвистика»; 3) в системе «индивид – общество» или «общество – индивид», которая не существует без элемента «группа» (имеется в виду как группа, к которой принадлежит данный индивид, так и группа, противостоящая группе индивида, иная типологическая группа), появляется – в связи с новыми объектами и предметами описания – понятие «социум» («малый социум» – типологическая группа, «большой социум» – комплекс типологических групп), а поэтому – «социопсихолингвистика».

Наконец, новое (введенное Т.М. Дридзе) определение «социо» все же лучше, как мне кажется, присоединяется слева к комплексу «психолингвистика», чем в середине его. Но я не исключаю, что «лингвосоциопсихология» может оказаться научной отраслью со своей спецификой – с центром понятия «психология».

Еще одна оговорка в связи с цитатой. Я убежден, что психолингвистика никогда не сводилась и не могла сводиться к изучению «формальной (операционной) структуры речи»: эта структура не отрывается от информационно-смысловых единиц, – будь то ситуация общения «на базе» материально представленных фрагментов реальности, или же в связи с «иными текстами» (диалог, пресуппозиция, пропозиция, фоновые знания). При таком уточнении «социопсихолингвистика» в системе «общество – типологическая группа – индивид» в моем понимании полностью соответствует дефиниции А. А. Леонтьева, нисколько не противоречит концепции Т.М. Дридзе – как в целом, так и в частностях.

Здесь не место характеризовать переживаемый переходный период в жизни нашего общества в аспекте экономики, собственно политики, межнациональных отношений и т.д. Однако, как представляется, имеет прямой смысл обозреть ряд следствий, относящихся к нашей проблематике в специальном ее аспекте.

Отсутствие «эффекта смысловых ножниц»: всегда ли позитивно?

В специальной главе своей книги Т. М. Дридзе исследует «эффект смысловых ножниц», условия и факторы его возникновения, показывает типичные ситуации, в которых эффект проявляется [Дридзе 1980: 181-196]. Полагаю, что и сегодня, спустя 15 лет после публикации книги, основные выводы автора остаются актуальными. Но, думается, имеет смысл рассмотреть положение («текстовую ситуацию», включающую все необходимые условия порождения и интерпретации текста), при котором конфликт возникает именно на основе отсутствия обозначенного эффекта: как адресант, так и адресат усматривают в тексте **одно и то же** содержание, одну и ту же схему целеполагания и достижения **цели**. Однако при этом одной стороне (автору текста) цель представляется сугубо положительной (и средства ее достижения – необходимыми), тогда как другой стороне (интерпретатору) – сугубо отрицательной (и средства достижения – недопустимыми). Парадоксальность же ситуации в том, **что обе стороны** одинаково заблуждаются относительно **осуществимости цели в обозримое время**, а также относительно **прагматической адекватности** самой идеи.

Речь идет об идее (и о поведенческих актах в русле идеи) **смены статусов** русского и национально-регионального языков в республиках и автономиях СНГ.

Анализ текстов соответствующих деклараций, кондеклараций и их обсуждений неизбежно приводит к выводам о том, что противостоящие стороны: 1) не проводили предварительной научной экспертизы проблематики (ни в целом, ни в частностях); 2) обнаруживают собственную некомпетентность (искренне, по-видимому, неосознаваемую) относительно а) наличия терминологической базы национально-регионального языка, необходимой для создания учебных и научных материалов для организации высшего образования, научной прессы и всего информационного потока в сферах за пределами национально-региональной филологии и истории (т.е. там, где этих материалов не было и нет до сих пор); б) реальных сроков подготовки кадров для выполнения работы с учетом уже имеющихся кадров (если они есть вообще); в) потребности в финансовых и иных материальных средствах для подготовки отсутствующих кадров, издательств, полиграфической базы и пр.; г) числа лиц, представляющих национально-региональное население, свободно владеющих речью на данном языке, подготовленных психологически и образовательно к смене статуса языков в официальной и научной сферах; д) возможности и необходимости введения в практику международного обмена информации на национально-региональном языке (когда и если эта информация появится); е) сроков и средств, требуемых для обучения некоренного населения национально-региональному языку, — за пределами бытового общения; ж) последствий (для национально-регионального языка), неизбежных при «скоростном» обучении масс некоренного населения национально-региональному языку до уровня некоторой «коммуникативной пригодности». Эта проблема, кстати, была затронута в ряде радиопередач, телебесед и в прессе бывших прибалтийских республик после того, как были выдвинуты категорические требования овладения национально-региональными языками всеми представителями русскоязычного населения этих регионов. Указывалось, в частности, что ломаный латышский (эстонский, литовский) язык в устах русскоязычного населения окажет разрушающее воздействие на речевые навыки латышских (эстонских и литовских) детей дошкольного и школьного (в первую очередь!) возрастов, т.к. вне семьи дети проводят большую часть своего времени именно в общении с русскоязычным населением; сегрегация детсадов и школ — если бы она и последовала — не нейтрализовала бы нежелательного влияния, достаточно сильного на улице, при занятиях спортом, в клубах и т. д.

Опрос по указанным 7 пунктам, проведенный нами в 1990 г. среди 20 представителей национальных регионов и 20 представителей русскоязычного населения этих регионов (всего 4 региона), показал, что как положительное, так и отрицательное отношение к смене статуса языка **не зависит** от возможности/невозможности аргументи-

рованно ответить на вопросы данных пунктов. Но при этом обе группы опрашиваемых не обнаружили «эффекта смысловых ножиц», усматривая в предлагаемых требованиях и мерах по их реализации «стремление к национальной независимости», «естественное желание говорить, читать и писать на родном языке», «развивать собственную науку в форме изложения точек зрения на родном языке», «выпускать художественную и научную литературу и прессу на родном языке» и т. п. По пунктам а), в), г), е) никаких положительных ответов не получено (в обеих группах). По п. б) получены сопоставимые ответы («5—10 лет»); по пп. ж) и д) получены неопределенные ответы-вопросы («А как же у других?», «Как все, так и они (мы)», «все наладится нормально»). Дополнительный вопрос: «Есть ли уверенность в том, что требования естественны, справедливы и в принципе выполнимы?» — получил 100 % утвердительных ответов со стороны национально-региональных представителей. Что же касается русскоязычных респондентов, то они дали 100 % утвердительных ответов на вопрос о выполнимости требований, 70 % по их «естественности» и 15 % — по их «справедливости» (с уточнением: «если нам будет предоставлена наша автономия на их территории, то согласны», «если у нас будет русский язык, то спорить нечего»).

Поскольку в разработке требований о смене языков участвовали профессионалы-лингвисты, социологи и другие ученые, у нас нет права считать, что они так же не обладают компетентностью, как политические лидеры или рядовые граждане (вроде опрошенных в двух группах). Остается предположить, что профессионалы и данном случае не были озабочены научной стороной проблемы: всем им было хорошо известно, что если даже пойти на многомиллиардные финансовые и материальные затраты и добиться (в течение 25—30 лет, не ранее!) сформулированных целей, то международное научное сообщество не захочет воспринимать информацию на языке, не имеющем достаточного распространения. И русский язык не был и не является международным в той мере, что английский, но был и остается межрегиональным и международным посредником. Его вытеснение в этой функции было бы чревато полной изоляцией региональной науки и высшего образования. Поэтому прагматический аспект лозунга о смене статусов языков внутри СНГ усматривается не в нем самом, а вне его, в политике.

Анализ соответствующих текстов и материалов опроса показывает, что все основные функционирующие в нем лексические единицы принадлежат семантическому полю «политика», «межнациональные отношения», не затрагивая поля «наука», не касаясь понятий «экономика науки» или даже «реальное время»¹. Принадлежит к типологической

¹ Из кибернетического терминосочетания «решение задачи в масштабе реального времени», что означает: актуальная задача может быть решена не только в

группе «лозунговых», эти тексты отличаются общедоступностью поверхностной структуры и лаконичностью за счет аргументации, которая отсутствует так же, как изложение точки зрения оппонента. История и повседневная практика повсюду и во все времена свидетельствует: именно такие тексты обладают свойством самого эффективного воздействия на большие массы реципиентов. Обращенность к их эмоциональной сфере иллюстрируется большим числом содержащихся в текстах экспрессивно маркированных единиц идеологически напряженного – через ситуацию – поля: «национальное возрождение», «национальная самостоятельность/независимость», «освобождение от...», «решение собственной судьбы своими руками», «распрямить спину и очистить душу», «вспомнить о своих истоках», «освободить родную культуру от пут шовинизма» и т.д., отличаются свойством внешней включенности в этические и национально-культурные ценности более высокого порядка по схеме: «национально-региональный язык ныне не является единственным государственным языком» – «без такого языка нет политической и культурной самостоятельности» – «язык высшего образования и науки есть неотъемлемая часть культуры» – «желая политического возрождения и культурного расцвета, невозможно не требовать немедленной смены статуса языков».

Но в ряде случаев, когда адресат представляется достаточно (с точки зрения адресанта) образованным, текст может приобретать внешне «академическую форму»: содержать научные ссылки, пересказ цитат, не включать лозунгов и экспрессивных единиц. В этом отношении представляются характерными тексты из ряда украинских газет 1991 г. Приведем несколько фрагментов из них и нашем переводе.

«Наши предки... расширили свою интеллектуальную доминанту, перенесли ее на просторы Индии, Месопотамии, Малой Азии, Египта, Финикии, заселили Крит и Пелопоннес. Дравиды Индии и негры Месопотамии (?) считали их сверхлюдьми. В египетских иероглифах, на страницах «Махабхараты», в Библии, в мифологии Греции скрыты имена изобретателей колесницы. Они фигурируют под названиями «арии», «сумерияне», «гиттиты», «гиксосы», «касситы», «метаний». Их непосредственные потомки – украинцы (неоднократно этот и другие авторы утверждают, что «арии» и «украинцы» – слова одного корня. – И.Г.) ...Газета «Нью-Йорк таймс» 19 января 1973 года привела карту..., из которой следует, что на территории Украины впервые на планете произошло одомашнивание животных – лошадей и коров... Наукой доказано, что на Украине цивилизация сформировалась более 500 тыс. (?) лет тому назад. Ученые Запада

«принципе», но со скоростью, опережающей скорость протекания процесса, которым управляют. В данном случае «смена статуса» не обеспечивается ничем, что может быть достигнуто в обозримое время.

считают Украину колыбелью мировой цивилизации. Археологический материал, обнаруженный в Закарпатье, не имеет себе равных в Западной и Центральной Европе... Согласно выводам ученого Геральда Хармана («Универсальная теория письменности» опубликована в октябре 1990 года, вызвала сенсацию в научных кругах), первая в мире письменная система возникла не в Междуречье (Ирак), а на две тысячи лет раньше, в центре Европы» (автор считает таким центром территорию нынешней Украины. – И.Г.) (7, с. 5).

«Давно известно, что письмо, медицину, алфавит, собственно культуру перед приходом греков (на Балканы. – И. Г.) перенесли туда жители Северного Надчерноморья – пеласги. Стены укрепленного города Пеласгикон свидетельствуют об этом молча и беспристрастно. В пеласго-трипольских городищах, найденных на территории Украины, оказывается, жили наши предки... В статье С. Плачинды вспоминаются несправедливо забытые заслуги украинского ученого-полиглота Михаила Красуского, который выводит на основании статистических фактов (используя методы сравнительного языкознания) возраст украинского языка – более 7000 лет» (6, с. 3, 6). И наконец, последний из цитируемых тезисов: «Теперь мы знаем более точную дату Потопа 13533 год... Память украинства зафиксировала свою допотопную историю» (выделено мной. – И.Г.).

На последнем тезисе остановимся только в связи с тем, что автор утверждает факт «сокрытия этих данных»: они содержатся во всех энциклопедиях, включая и МСЭ [1939, т.8, с.55; 1940, т.10, с.839-840], – конечно, в части «пеласгов» и «трипольской культуры», а не в части Потопа и возраста украинского языка. Об ареале индоевропейских языков и о начале диалектного распада индоевропейского (не позднее, но и не ранее VI—V тыс. лет до н. э.) [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 865-867, 917, 845-846, 869, 868]. Следовательно, чтобы выдвинуть вышеприведенные тезисы (о возрасте украинского языка и украинского этноса), надо было бы опровергнуть данные Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, да и сотен их предшественников и современников или – на крайний случай – доказать, что формирование украинского языка произошло раньше, чем начал распадаться на диалекты (т.е. на группы: славянскую, греческую и пр.) индоевропейский язык в целом. Однако, как легко понять, ни авторов статьи, ни редакцию научная сторона дела не интересовала. Эта сторона отсутствует в «банках знаний» подавляющего большинства читателей, – не только указанных украинских газет, но и русскоязычных студентов-филологов, которых в 1991 г. мы попросили выразить свое отношение к приведенным текстам. Из 20 опрошенных студентов-выпускников и 10 студентов IV курса филологического факультета и приравненных к ним отделении трех вузов страны 20%

подвергли сомнению «допотопность украинской цивилизации» и дату самого Потопа. Данные же о возможном возрасте любого из славянских языков у студентов отсутствуют, хотя называется дата письменных памятников (в интервале от I в. до н. э. до IX в. н. э.) древнерусского языка. 60 % студентов оценили содержание статей как «достоверное» («В газете ведь!»), 20 % – как «гипотетическое» («вполне возможно, но не вполне доказано»). Таким образом, если бы обстоятельства жизни потребовали от опрошенных лиц какого-то поведения, противостоящего требованиям признать приоритет украинского языка перед русским, то само возможное противостояние не было бы аргументировано, а аргументы противоположной стороны не были бы опровергнуты или подвергнуты обоснованному сомнению. Иными словами, «эффект смысловых ножниц» касался бы не самих «лозунговых текстов» (их модификация, как видим, может быть и **внешне** научной или научно-популярной), а соображений этического порядка (справедливость и пр.)

Общий вывод по разделу вполне очевиден: отсутствие «эффекта смысловых ножниц» отнюдь не всегда позитивно с точки зрения возможностей достижения межкультурного консенсуса или даже нейтрализации возникшего конфликта. Последний возникает и при обоюдном отсутствии существенной информации, хотя и при эквивалентном усвоении лозунговой поверхностной структуры одних и тех же текстов. В этом случае входят в конфликт не содержательные смысловые структуры, равно извлекаемые из текстов, а гипотетические следствия, наступающие в результате осуществления содержащихся в тексте требований. По мнению юристов, такие же конфликты возникают в случае, когда некая угроза, формулируемая одной из сторон, отождествляется другой стороной как реальная в той же мере, что и в представлениях первой стороны. Тогда как – в обоюдном плане – высказанная угроза не может быть осуществлена по объективным причинам. Серьезные конфликты и даже преступления имеют при этой ситуации место в числе случаев, которое колеблется от 0,4 до 30% – в зависимости от многих факторов (возраст, социальный статус, конкретное обстоятельство, сопровождающее конфликт, интеллектуальный уровень конфликтующих, соматическое и психическое их состояние и т.п.) [Hirsch 1981: 165-166]. Поскольку задача нейтрализации и урегулирования конфликтов есть задача, решать которую приходится в реальном времени, практически нет надежды на то, что необходимые для обсуждения знания могут быть «вложены в банки знаний» конфликтующих сторон в оптимальные сроки (т.е. сроки, предшествующие пиковым ситуациям). Как предупреждение «эффекта смысловых ножниц», так и предупреждение конфликта на иной основе требуют длительного времени – периода

цивилизации конфликтующих (или потенциально готовых к конфликту сторон) до уровня «способности усвоения знаний в реальном времени».

Проблема интроспекции в социопсихологической теории и в стихийной практике индивида, группы, общества

Квалификация интроспекции как метода психологического исследования или как методологии познания в целом до нынешнего времени определяется привычно: с позиции того, как эти понятия согласуются с положениями марксизма-ленинизма или того, что осталось от него в научном обиходе, во внешней его части – тотально отрицательно категорически или отрицательно по преимуществу. Гипноз «объективных методов» весьма силен и тогда, когда врач опирается на отчет больного о его субъективных ощущениях; и тогда, когда социолог опрашивает респондента, требуя от него, по существу, обращения к его «внутреннему опыту» (сиречь – к интроспекции); и при проведении искусствоведческих исследований (при выработке «объективных критериев» эстетических категорий); и при решении лингвистических проблем стиля, узуса, языкового чутья вообще; ссылка на авторский пример в словаре считается основанием для того, чтобы сославшийся на этот пример считался в данной части автором достоверного суждения, обоснованного суждения, суждения, базирующегося на «объективных данных словаря». Однако из изложенного вовсе не следует, что совпадающие данные 100 случаев менее надежны, чем данные по одному случаю. Напротив, «один факт ничего не доказывает» – это верно. Как верно и то, что некий ряд отдельных фактов, полученных в однородных условиях от однородных объектов, приобретает статус закономерности (объективной), если этот ряд, повторяющий нечто общее в итоге, все же «набирает» это общее от отдельного проявления отдельного объекта. Значительное число работ А.А. Залевской и ее школы, построенных, как известно, на методике разнообразных ассоциативных экспериментов, иллюстрирует тот факт, что общую закономерность усматривает – в итоге – исследователь, тогда как испытуемый обращается всякий раз к своему – неоднократно заклеяемому как «идеалистический» – внутреннему опыту. Этот же внутренний опыт дает – опять-таки в итоге – закономерности мотивированности формы знака языка в концепциях А.П. Журавлева и С.В. Воронина в области фоносемантики. Думается, что в общеметодологическом плане пора снять (и публично!) обвинения в интроспекции во всех ее ипостасях, тем более перед лицом требований к сознанию индивида как проявлению первичной самооценки. Одним из признаков самосознания безусловно является способность к рефлексии (что такое рефлексия без «внутреннего опыта?»). Так вот, конфликтные ситуа-

ции 1985-1994 гг. в нашем обществе (да и не только в нем, и не только в обозначенный период времени) показывают, что тот уровень индивидуального сознания, самостоятельного мышления и поведения, которые вообще возможны при тоталитарных режимах и многолетней практике нивелирования, практически исчезает при переходе к групповому проявлению, инициированному некоей «идеей, овладевающей массой». Групповое сознание, относительно которого справедливо говорят, используя термины «имитативное поведение», «заражение» и т. д., **характеризуется крайним ослаблением способности к интроспекции** – в пользу экстраспекции («считывание образца» со стороны). Второй признак группового поведения – резкое повышение роли речевых действия (межиндивидуальных, внутригрупповых, межгрупповых). Третий признак присущ самим этим речевым действиям – подчинение стандартам выражения лозунга и его производных, **резкое ужесточение формы этих стандартов**: отклонение от формы выражения расценивается неодобрительно, иногда даже как отклонение от идеи, отражающей «общие интересы». Митингующая толпа, в частности, обращает внимание на тех, кто, находясь внутри нее, не скандирует вместе с ней предложенную формулу или просто выбивается из общего ритма. Но вербальную формулу единения, солидарности (обычно вместе с жестом и интонационным рисунком) дает массе лидер движения или некто из лидирующей группы. Поэтому эта формула и ее производные, порожденные изначально, возможно, индивидуально, становятся ключевыми, образуют семанτικο-эмоциональное ядро будущих текстов, которые в дальнейшем будут порождены (точнее – репродуцированы) другими (многими) авторами и начнут функционировать в соответствующей среде, становясь в определенном смысле (здесь мы отвлекаясь от фактора времени) социокультурными. Модификации этих текстов (зависящие от адресанта и адресата) могут даже апеллировать к рефлексии образованного читателя, а поэтому содержать аргументацию или ссылки на тексты противоположной направленности. Но в общем случае они обязательно содержат указанную выше ключевую формулу. Для «простых» текстов следует признать почти полную идентичность речевого индивидуального акта (внутригруппового) обращения первоначального текста: ключ, ядро, стандарты те же. Поэтому возможности интерпретации такого «простого» текста резко ограничены перифразой.

С другой стороны, практически всякий текст, в котором есть хотя бы намек на близость данной единицы к некоторой ключевой, являющейся «раздражителем» (в терминах рефлексологии), может быть интерпретирован индивидом с определенной установкой как текст с сигналом **свой – чужой**. Мы уже имели случай показать, что

сигналы могут быть как реальными, так и мнимыми (объективно), но результат их интерпретации не зависит от этого [Горелов, Елина 1990: 26-28]. Следовательно, обращаясь к такому «объективному объекту», как текст, мы не всегда можем судить о результатах его интерпретации со стороны субъекта; тем самым сомнительна всякая уверенность в том, что по тексту мы можем с непреложностью судить о мыслях и чувствах автора текста (субъекта). Наряду с часто встречающимися и хорошо показанными Т.М. Дридзе «эффектами смысловых ножниц» может обнаружиться конфликт **автор – читатель (говорящий – слушающий)** и в результате непредвиденного, плохо прогнозируемого эффекта, которому мы не можем дать названия, разве что «эффект неузнанного союзника». Курьезность оценки конспектов Маркса (выполненных группой подпольных студентов-марксистов в конце 40-х гг.) экспертами тогдашнего КГБ в качестве «антимарксистских», «антикоммунистических» не может быть – при всей трагичности ситуации – отрицаема. Впрочем, если считать, что эксперты в данном (и подобных) случае не смогли уловить смысл текстов Маркса (и конспектов по ним) или не имели в своем «банке знаний» марксизма, то этот же случай можно представить и как «эффект смысловых ножниц». Но он будет определяться уже не объективными параметрами текстов, а субъективным состоянием мышления экспертов.

В руках современных социопсихолингвистов есть современное научное знание процессов порождения, интерпретации и – говоря обобщенно – функционирования текстов, представляющих собой инструмент речевого воздействия на мышление и поведение индивида, группы, общества в целом. В общем запасе знаний такого рода немало зияний, которые заполняются в ходе научных исследований. В этом смысле можно сказать, что сама социопсихолингвистика есть инструмент, опосредующий научное управление обществом. Приходится констатировать, что профессиональные управляющие обществом (партийные лидеры), профессиональные управляющие коллективом и группами (дидакты, воспитатели, руководители научных и производственных коллективов) не подозревают о наличии этого инструмента, не востребуют его. Вероятно, следует активно информировать заинтересованные коллективы и инстанции о результатах, предварительно проверенных и экспериментально показавших свою ощутимую эффективность.

ПРОБЛЕМА «ГЛУБИННЫХ» И «ПОВЕРХНОСТНЫХ» СТРУКТУР В СВЯЗИ С ДАННЫМИ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ¹

«..когда я говорю, что некоторое предложение выводится с помощью трансформации из другого предложения, я говорю это вольно и нестрого...» [Хомский 1972: 78].

Предлагаемый обзор части новых лингвистических, психолингвистических и нейрофизиологических исследований, опубликованных в 1974-1976 гг., представляется полезным, поскольку перечисленные отрасли все чаще пересекаются в общем регионе смежности, не всегда опираясь при этом на актуальную (для каждой из смежных областей) информацию. Иногда выясняется, что то или иное положение или его интерпретация не учитывают данных 10-20-летней давности. Поэтому в обзоре затрагиваются работы и не последних лет.

Замечание Н. Хомского, вынесенное в эпиграф, было сделано им уже после того, как генеративная лингвистика и трансформационный анализ стали популярными. К этому времени «ядерные конструкции» были признаны «глубинными структурами», а «трансформы» – «поверхностными». «Я должен был бы сказать, – уточняет себя Н. Хомский, – что структура, связанная с 1-м предложением, выводится из структуры, лежащей в основе 2-го предложения» [Хомский 1972: 78] (Здесь и далее разрядка моя. – И.Г.). Таким образом, была снята если не проблема генерации вообще, то ее понимание по схеме: «ядерная конструкция → трансформы». Характеризуя концепцию «глубинных структур», Ю.С. Степанов [1975] отметил необходимость 1) выяснения природы и параметров импликаций, «которые являются универсальными законами языка и языковой способности человека», и 2) объяснения их как диахронических явлений.

Несколько позже, в работе 1976 г., Ю.С. Степанов, предлагая семио-логический принцип описания языков, определенно указал, чем объясняются оба приведенных выше предложения: «Опыт развития языкознания последнего десятилетия свидетельствует о том, что подлинными универсалиями заключаются в глубинных принципах

¹ По изданию: Горелов И.Н. Проблема «глубинных» и «поверхностных» структур в связи с данными психолингвистики и нейрофизиологии // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. 1977. Т. XXXVI. С. 165-176.

организации языковых структур, а не в результатах действия этих принципов – не в самих отдельных конкретных чертах языковых структур» [Степанов, Эдельман 1976: 204]. И ранее: «Исторические изменения одного языка отличаются от исторических изменений другого лишь тем, какие процессы из универсального набора процессов действуют в данный период на данной территории» [Степанов 1975а: 98].

Таким образом, предлагается вернуться, во-первых, к непосредственно наблюдаемым объектам – речевому функционированию знака языка и языковым изменениям при снятии противопоставления диахронии и синхронии и обратиться, во-вторых, к обнаружению «подлинных универсалий», которые не обнаружены в поверхностных структурах [См.: Новое в лингвистике 1970]. Авторы семиологического принципа не только не отказываются от предшествующих концепций, но, напротив, подчеркивают его «последовательную традиционность», понимаемую как возможно более приемлемый учет достижений «деструктурного», «структурного» и «генеративного» принципов: добротной конкретности описания конкретных языков, но на основе вскрытых системных отношений; понимания знака языка как отношений «означаемого» и «означающего», но с кардинальным ограничением формальных процедур, которые приводили к утрате реальных и специфических (от языка к языку) параметров «смысла» и «текста»; понимания характера связи языковой субстанции и «идеальных» конструкторов («содержание», «значение»), но отказ от принципа «черного ящика», в который заключалась «языковая компетенция» и «механизм глубинных структур». Семиологический принцип исходит из того, что исследование поверхностной структуры может дать «следы» прежних состояний языка, особенно при сопоставлении различных диахронических срезов и при исследовании процесса порождения высказывания [Степанов, Эдельман 1976: 203-208, 213-214]. Изложенное позволяет определить круг вопросов, подлежащих рассмотрению в нашем обзоре.

Код содержания и коды выражения

Тезис «неразрывности мышления и языка», бесспорный в самом общем виде (то, что обозначено с помощью знака языка, понимаемого его носителем, имеет свой денотат – либо в реальной действительности, либо в виде «субъективной реальности», например, фантастического представления), не раскрывает конкретного характера связи. Утверждения, что «слова связаны у человека решительно со всеми – внешними и внутренними раздражениями, которые воспринимаются корой больших полушарий, все их заменяют и сигнализируют» или что «человек ... всегда мыслит посредством

языка» [Чуприкова 1967: 3] нельзя считать обоснованными: их авторы сами, исследуя конкретные мыслительные акты, приходят к другим положениям в тех же самых работах. Так, Н.И. Чуприкова пишет, что «накопилось достаточно много фактов, показывающих значительную, а иногда и решающую роль словесных раздражителей» [Там же: 27] и что «окончательный эффект взаимодействия сигнальных систем... должен зависеть от генотипического и фенотипического соотношения сигнальных систем» [Там же: 44]. И А.А. Люблинская признает, что «некоторые связи, например, пространственные и временные, человек может воспринимать и непосредственно», хотя «отражение связей, существующих между предметами и явлениями, совершается обычно в языковых формах» [Люблинская 1971: 236].

Указанные противоречия не случайны, за ними вполне определенные факты, свидетельствующие о том, что:

1. Никакой язык не обладает столь мощным средством номинации, которое позволило бы ему обозначить «решительно все» раздражители. Тютчевское «мысль изреченная есть ложь» – свидетельство «мук слова» – именно потому, что «всякое слово уже обобщает», а перед поэтом, писателем, ученым и любым говорящим стоит задача обозначения конкретного предмета в его неповторимости. Сам факт существования искусства, форма которого принципиально не может быть «перекодирована» в вербальную (нельзя «пересказать» художественное полотно, музыкальное произведение, скульптуру, пластическую балетную форму, актерский образ, кинематографический эффект), свидетельствует об ограниченных номинативных возможностях национального языка, как и многочисленные «вторичные» семиотические системы («язык математики» и пр.).

2. «Существует три вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое, или дискурсивное ... В.П. Зинченко и Н.Ю. Вергилес подчеркивают, что на определенных стадиях мыслительного процесса более продуктивными оказываются действия со зрительными образами... в отличие от действий с символами, несущими на себе печать условности» [Психологические исследования творческой деятельности 1975: 25-26]. Рассматривая процесс таких сложных интеллектуальных действий, как решение шахматных задач, авторы упомянутой коллективной монографии, отнюдь не склонные к преуменьшению роли языка в мышлении, констатируют все же, что невербализованные поисковые операции «предшествуют вербализации» [Там же: 45].

3. В раннем онтогенезе человека наблюдается «несоответствие между пониманием и используемым в активной речи ребенка словарным фондом... Развитие речи отмечается обычно после оконча-

ния 1-го года жизни, а понимание – со 2-го полугодия» [Физиология высшей ... 1968: 97-98]. Отметим, что и на последующих этапах жизни человека активные речевые умения, включая и количественные характеристики словаря, всегда отстают от пассивных умений, от пассивного словаря. Весьма интересно, что развитие перцепции, включая дифференциацию предметов по цвету и форме, отмечается у ребенка в раннем онтогенезе с 5 месяцев, что доказано экспериментально [Там же: 97; см. также: Шиф 1968: 211, 230, 231]. Поскольку к этому времени ребенок еще не овладел ни в какой мере (даже пассивно) соответствующими знаками языка, указанная дифференциация осуществляется без помощи языка. Этот факт еще привлекает наше внимание, когда мы позднее будем рассматривать эксперименты Э. Леннеберга и Дж. Робертса, которые захотели показать, как язык влияет на «картирование мира».

4. Процессы обучения глухонемых и слепоглухонемых трудовой деятельности, знаковой деятельности (тактильному эквиваленту национальных языков) и предметам школьного цикла с самого начала опираются на сложную перцептивную деятельность и на интеллектуальные операции «человеческого типа». Естественно, что на начальных этапах эта деятельность не может опираться на язык. С полным правом, как нам представляется, заключает А.И. Мещеряков свою работу следующими словами: «... экспериментально опровергается бытующая до сих пор идея о том, что человеческая психика рождается или просыпается только вместе с усвоением языка, речи. С нашей точки зрения, язык на первых порах лишь оформляет уже сложившиеся элементы человеческой психики, возникшие в актах предметно-практического поведения» [Мещеряков 1974: 317].

Совсем недавно вышла в свет чрезвычайно интересная работа американских психолингвистов в очень квалифицированном переводе с английского. Один из разделов этой работы завершается вполне определенным выводом относительно роли языка в развитии ребенка: «язык – это лишь один из нескольких путей, которыми ребенок может постигнуть определенные свойства предметного мира» [Слобин, Грин 1976: 214]. Добавим, что имеется достаточно данных, указывающих на то, что интеллектуальное и речевое развитие имеют разные генетические корни, что интеллект и речь, взаимодействуя на разных этапах онтогенеза в разной мере, достаточно автономны [См.: Горелов 1974].

Изложенного, полагаем, достаточно, чтобы предположить, что «план выражения» («поверхностные структуры») и «план содержания» («глубинные структуры») не являются идентичными. Известно, что звуковой речи или ее графическому эквиваленту соответствуют некоторые механизмы коры головного мозга, система нейронного

кода, которую мы привыкли называть «второй сигнальной системой». То, что звучащая или письменная речь по своей физической природе отлична от нейронной субстанции, вполне очевидно. Однако не ясно (если ограничиваться только что приведенными констатациями), во-первых, соответствует ли «внешнему» слову некоторое «внутреннее» слово, «внешней» словоформе – «внутренняя» словоформа, «внешней» синтагме – «внутренняя синтагма», «внешней» позиции – «внутренняя» и т. д. Не ясно, во-вторых, является ли мыслительный акт «внутренним проговариванием» соответствующего суждения в форме «поверхностной структуры». Ввиду того, что современная психология речи и психолингвистика оперируют понятием «внутренняя речь», то, следовательно, необходимо выяснить, является ли внутренняя речь изоморфом внешней, являясь одновременно механизмом мышления. По мнению А.Н. Соколова, разделяемому многими психологами и принимаемому многими лингвистами, внутренняя речь, не будучи «внутренним проговариванием» (т.е. развернутым, но беззвучным речевым актом), представляет собой интимные операции вербального характера [Соколов 1968]. Это значит, что мышление осуществляется в коде речедвижений, но не развернутых, а латентных (скрытых); мышление и есть комбинация нейронных представлений языковых знаков, их динамическая связь.

Работы А.Н. Соколова и его сотрудников, опираясь на весьма солидный экспериментальный материал, обладают большой доказательной силой при одном, однако, условии: если признать, что обнаруженные латентные движения органов артикуляции (а эти движения обнаруживались, действительно, при решении испытуемыми любых задач интеллектуального типа, вербальных и невербальных, очень простых и очень сложных) являются действительно артикуляторными, речевыми, коррелирующими именно с функционированием языка, а не вызваны чем-то другим. Скажем, ребенок, рисуя или склеивая что-нибудь, обнаруживает особую активность языка (язык, например, высовывается в сторону проводимой карандашной линии). Можно ли считать такую «языковую» активность связанной с артикуляциями? Нет, нельзя. В опытах А.Н. Соколова и его сотрудников не удалось идентифицировать графемы латентных движений языка, губ и других органов артикуляции (в этой функции указанные органы выступают вообще относительно недавно, если учесть эволюцию в антропогенезе и тем более – в филогенезе [См: Степанов 1975: 162, 163]) с определенными речевыми линейностями. Невозможно усмотреть также различия в графемах латентных движений, полученных от носителей разных языков. Но без такого рода идентификаций невозможно принять положения А.Н. Соколова. Нам представляется, что фиксируемые движения вызваны особой

моторной активностью, называемой ауторитмией и не связанной с речью [Войно-Ясенецкий 1975].

Экспериментами Н.И. Жинкина [1960; 1964], позднее подтвержденными на разнообразном материале [См.: Горелов 1974; 1974а], было показано, что мышление не осуществляется в коде речедвижений, но имеет свой собственный механизм, универсально-предметный код (УПК). Этот код представлен в коре головного мозга не эквивалентами «внешнего» языка, которые ведают речедвижениями, а нейронными образованиями и связями, которые позволяют соотнести эквиваленты языковых знаков с физиологическими субстратами представлений, образов и механизмами 1-й сигнальной системы, ведающими нашими ощущениями, работой органов чувств. Есть понятия, которые могут быть сформированы в нашем сознании только с помощью языкового знака, например, понятие «принцип». Но последовательным истолкованием этого понятия, иллюстрацией в словоупотреблении мы можем «спуститься» с уровня высших абстракций на уровень наглядно представимого образа или отношений между образами. В противном случае слово «принцип» не будет сигналом некоторого содержания, соотнесенного с реальностью.

Нетрудно показать, что словосочетание «перемена погоды» имеет для нас смысл только в том случае, если мы знаем, что обозначается словом «перемена», словом «погода» и данной грамматической связью. Это знание представляет собой осознание связи между звуко-комплексом (знаком языка) и разнообразными (разноуровневыми и одноуровневыми) нейрофизиологическими эквивалентами, включая, например, нервный импульс, соответствующий температурному ощущению, зрительному ощущению и т.п., но связанный также и с нейроэквивалентом понятия «климат» (второсигнальный конструкт). В стихотворении для детей хорошо иллюстрируется простейшая сигнальность языкового знака: «Что за «ли»? Что за «мон»? В звуках нету смысла. Но скажи-ка мне «ли-мон» — сразу станет кисло». Иными словами, знак языка лишь тогда обретает свою знаковую сущность, когда он соотносим (в своей форме) к отраженному в психике элементу реальной действительности; в более сложных случаях — с установленной ранее связью между более или менее близкими отражениями элементов реальной действительности или с «отношением связей» — в зависимости от уровня абстракции. Без возможностей такого соотнесения знак не мог бы иметь «значения», не мог бы выполнять символической функции, не мог бы ни о чем сигнализировать. Если бы понимание знаковой цепочки внешней речи сводилось к активизации нейроэквивалентов изоморфной цепочки во внутренней речи, то не было бы никакого процесса декодирования.

Если бы внешняя речь представляла бы собой преобразование некоторого «бесзвучного» нейрокомплекса («немного эквивалента звуковой речи») в звукоряд внешней речи, то не было бы никакого процесса кодирования. Точнее, кодирование и декодирование сводилось бы к преобразованиям внутри одной и той же, второсигнальной, системы. Не нужна была бы первосигнальная система: она не могла бы функционировать в «мире знаков», объективная реальность не могла бы быть познаваемой.

В сущности абсурдной выглядела бы в этом «мире знаков» идея самой объективной реальности.

В чрезвычайно емкой и замечательно глубокой работе (посмертной публикации конспекта неосуществленной работы) М.М. Бахтина имеется высказывание в связи с критикой формальных направлений в лингвистике, уместное в контексте нашего рассмотрения: «Несколько упрощая дело, чисто лингвистические отношения (то есть предмет лингвистики) – это отношения знака к знаку и знакам в пределах системы языка или текста (то есть системные или линейные отношения между знаками). Отношения высказываний к реальной действительности, к реальному говорящему субъекту и к реальным другим высказываниям, отношения, впервые делающие высказывания истинными или ложными, прекрасными и т. п., никогда не могут стать предметом лингвистики» [Бахтин 1976: 146].

В сущности представленное нами выше изложение гипотезы о работе второсигнальной системы «своими» средствами и «внутри себя» вполне согласуется с упрощенными заменами реальных и «значимых» знаков «отношениями между знаками», о которых пишет М.М. Бахтин. Но на самом деле процесс высказывания есть «движение от мысли к слову», процесс понимания высказывания – «от слова к мысли», как понимают эти процессы Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и вся школа советской психолингвистики, а также значительная часть зарубежных психолингвистов, а мыслительный акт (если он не включает специальных внутренних вербализаций типа внутреннего монолога, или воображаемого диалога, или воспоминание текста) вообще может, как показывалось выше, не быть связанным с функционированием нейроэквивалента речедвижений. «Мы считаем, – пишет Т.В. Ахутина, – что этап внутренней речи непосредственно отвечает лишь за смысловую организацию высказывания. Это отличает нашу точку зрения от точки зрения А.Р. Лурия и Л.С. Цветковой, которые связывают с внутренней речью и грамматическую организацию высказывания» [Ахутина 1975: 123].

Не касаясь здесь расхождений между указанными точками зрения, отметим, что и А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова считают, что внутренняя речь характеризуется фазовостью, при которой этап семантического

построения (этап замысла) отделен от дальнейших (на пути к высказыванию) этапов вербализации, включая выбор слов, выбор и развертывание синтаксической схемы. Анализируя устаревшие представления об афазии, связанные с «концепцией об идентичности языка и мышления», М. Критчли пишет, что «афазия – специфическое нарушение словесного мышления, а не расстройство образов» [Критчли 1974: 129-134], нарушение механизма, названного им «превербитум», т.е. способности облекать мысленное содержание в словесную форму (моторная афазия) или декодировать поверхностную структуру в «код образов» (сенсорная афазия).

Это еще раз подтверждает реальность УПК Н.И. Жинкина. В УПК образуются нейрофизиологические связи между подкорковыми первосигнальными образованиями, с одной стороны, и корковыми, второсигнальными, — с другой, образуя особый уровень, на котором обобщение восприятия и представлений уже подготовлено к номинации посредством знака языка, но существует до него и — отчасти — независимо от него. Если ребенок в состоянии сгруппировать картинки или игрушки по ведущим функциональным признакам вещей или их изображений так, что предметы одежды будут находиться в одной группе, а растения — в другой, причем ребенок владеет лишь обозначениями видовых понятий («чашка», «кастрюля», «листик», «дерево», «цветок» и т. д.), не владея словами «одежда» или «растения» и не понимая этих слов, то такая классификация и означает, что сформировано обобщение, готовое к номинации на более высоком уровне, но само обобщение проведено без опоры на такую номинацию. Показаны возможности подобных группировок на основе выделения существенных признаков, не имеющих вообще соответствующих номинаций у субъекта [Горелов 1975: 20-30], производящего группировку.

Следовательно, формирование понятий, позволяющих адекватное ориентирование на вполне «человеческом уровне» (или «предпонятий», по терминологии А. Валлона [1956: 16]), возможно без опоры на вербализацию, а одними средствами «предметного мышления».

Данные зоопсихологии о возможности обучения высших антропидов знаковому поведению, т.е. пониманию и адекватному использованию жестового языка глухонемых (около 300 знаков) и системы конвенциональных символов (при этом одно из животных смогло изобрести новый знак и новую комбинацию знаков) [Прибрам 1975], говорят о том, что человеком унаследован в филогенезе психологический механизм, более сложный, чем первосигнальный, но «еще» не второсигнальный, позволяющий в дальнейшем развитие специфической (человеческой) языковой способности; работу второсигнальной системы следует понимать, таким образом,

не как операции только над нейроэквивалентами словесных сигналов, а как функционирование «сложной системы корково-подкорковых связей», в которой «сложное соединение сенсорных сигналов», перекрываясь (т.е. объединяясь на новом качественном уровне), воздействует на механизмы речевой моторики [Там же: 410].

Как показали исследования Н.П. Бехтеревой, психическая деятельность представляет собой кодовые операции над «акустическими, смысловыми и акустико-моторными элементами», причем для «принятия решения человеческому мозгу, по-видимому, достаточно компрессированных кодовых форм», которые «в процессах мышления и памяти могут иметь самостоятельное значение» [Бехтерева 1976: 82]. И далее: «Долгосрочное хранение в памяти признаков предмета и слова, его обозначающего, возложено, по-видимому, не только на кору, но и на подкорковые области» [Там же: 81].

Упомянутые «компрессированные формы» суть не нейроэквиваленты речевой моторики, а семантические единицы, «смыслы». Когда испытуемым предъявлялись Н.П. Бехтеревой названия конкретных деревьев, в фиксированных импульсах реакций появлялись элементы особой конфигурации, общие для разных названий; родовое понятийное обозначение («деревья») вызывало активизацию именно этих общих импульсов. Новый понятийный уровень, таким образом, «зарождается в недрах старого». Следовательно, если мы в поверхностных структурах разных языков обнаруживаем несоответствие между наличными обозначениями разных понятийных уровней, это не значит, что в психике носителей разных языков не существует тех или иных понятий; может не быть тех или иных знаков, поскольку наличие последних определяется актуальностью номинации, т. е. потребностями коммуникации. Итак, код мышления не изоморфен кодам выражения, «язык, с помощью которого передается информация в мозге ..., не соответствует и не должен соответствовать тому языку, которым люди пользуются в общении друг с другом» [Прибрам 1975: 15].

Отсутствие подлинных универсалий в поверхностных структурах различных языков мы предлагаем рассматривать в качестве следа универсальности их глубинных структур. Дело не только в том, что данное содержание может быть адекватно передано «из языка в язык», но и в том, что поверхностная структура одного и того же языка обнаруживает разные принципы, на которых может быть выявлено лексическое или грамматическое значение знака, разные системы оппозиций. На языке аранта [См: Панфилов 1971: 110, 111] (Австралия) один и тот же звукокомплекс обозначает: ухо, чрево, пуповину, песчаный холм, а другой – волосы на голове, водоем на горе, яблоковидные плоды, мышцы на ногах и руках. По мнению

В.З. Панфилова, «анализ значений некоторых слов лексики языка аранта вскрывает отдаленный этап развития мышления» [Там же: 111], с чем можно согласиться. Однако тот же принцип омонимии (или полисемии, что в данном случае безразлично), согласно которому нечто, совершенно отличное от другого, может быть названо точно так же, как это другое, – свойство любого высокоразвитого языка. Между ухом и песчаным холмом не меньше и не больше разницы, чем, скажем, между музыкальной паузой и трюмом корабля (англ. омонимы «hold», «hold»), пивом и гробом (франц. омонимы «biér», «biér») или «мужским полом» и «паркетным полом». С другой стороны, известна противоположная тенденция – «скольжение в плоскости выражения» – «закрепление многих означающих при одном означаемом» [Степанов, Эдельман 1976: 209] (синонимия).

Наиболее общий принцип номинации противостоит обоим упомянутым: разное обозначается различно. «Алогизм» в принципах номинации возможен только потому, что знак, функционируя в речи, постоянно соотносится с ситуацией, с контекстом, а ситуация осмысливается и без помощи вербальной деятельности, как мы видели выше. Более того, в языке существует знак типа «обман», «ложный», «неправда», позволяющий оценить степень соответствия высказывания реальности, что лишний раз указывает на условия, разрешающие знаковую деятельность вообще. Только через соотнесение одного и того же англ. знака boil (кипеть) и boil (кипятить), hang (висеть) и hang (вешать), др.-китайск. «ван» (гибнуть и губить), лезг. «кун» (гореть и жечь) и др. [Недялков, Сильницкий 1969: 21] с контекстом или ситуацией возможно выявить каузативное или некаузативное значение соответствующих глаголов.

В то же время в том же английском языке каузативное значение может быть представлено формально: lie, lay (лежать, класть). С полным правом авторы типологических исследований каузатива могут утверждать, что «объем класса каузативных конструкций определяется не «внутренними», а «внешними» признаками, т. е. не формально-грамматическими особенностями его собственных элементов, а их соотнесенностью с классом каузативных ситуаций» [Там же: 5]. Следовательно, не поверхностная структура языка должна обязательно располагать тем или иным средством грамматического дифференцирования, а мозговые механизмы носителей языка должны фиксировать различные значимости ситуаций и различные способы их обозначения. Сам факт возможности обнаружения в исследовании ряда языков различных способов знакообразования и функционирования знаков показывает, что «языки не познаются языками», что «есть потенциальный единый язык языков», «есть общая логика знаковых систем» [Бахтин 1976: 127], действующая на

уровне глубинных структур, на общесемантическом уровне. Прав поэтому У. Чейф, предложивший различать семантические и «постсемантические» операции и показавший, в частности, что «семантическая структура онондага (ирокезский язык. – И.Г.) сравнительно незначительным образом отличается от соответствующей структуры английского языка..., серьезные различия между двумя языками возникают главным образом в результате постсемантических процессов, которые порождают заметно отличающиеся друг от друга поверхностные структуры» [Чейф 1975: 306]. Здесь мы вплотную подошли к проблеме, связанной с теорией лингвистической относительности. Нетрудно увидеть, что эта теория могла возникнуть только при отождествлении языка с мышлением, глубинной структуры – с поверхностной.

О возможностях экспериментальной проверки теории лингвистической относительности

Ранее мы обещали вернуться к рассмотрению экспериментов Э. Леннеберга и Дж. Робертса, которые понадобились потому, что сопоставление априорных суждений в рамках проблемы не могут привести к определенным результатам: слишком велики возможности самых различных интерпретаций самых нестрогих определений. Эксперименты, о которых идет речь, были проведены в конце 50-х годов, широко известными стали в 1968 г. [Звегинцев 1968: 74-76]. Суть их заключалась в том, что в одном случае француз, чеху и поляку предъявлялся ряд стуков одинаковой силы, а в другом случае носителям языка зуни (индейцы штата Нью-Мексико) предлагалось расчленить цветоряд для определения границ между цветами и отдельными оттенками внутри одного цвета. Испытуемый француз, по свидетельству авторов эксперимента, отметил последний стук в качестве наиболее сильного, чех – первый, поляк – предпоследний, т. е. в соответствии с системой словесных ударений в родных языках. Носители языка зуни расчленили цветоряд не так, как англоязычные американцы, а по системе цветообозначений в зуни. Но если перцептивная деятельность осуществляется «под диктатом языка», то и надстраивающаяся над ней интеллектуальная деятельность также должна зависеть от «языковой картины мира», т.е. изменяться от одного языкового сообщества к другому. Вспоминая афоризм Козьмы Пруtkова «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», можно сказать, что носитель любого языка должен всегда верить надписи, а не тому, что он видит в клетке.

Но если говорить серьезно, то результаты упомянутого эксперимента вызвали серьезные сомнения по следующим причинам.

1. Цветная орнаментика, отмеченная этнографами в качестве обязательного результата эстетического отношения к миру, присущая людям на уровне всех национальных и племенных объединений, не зависит от конкретной системы цветообозначения. Как мы видели раньше, цветоразличение в онтогенезе человека начинается задолго до появления речи, а также осуществляется глухонемыми, не обученными языку. Тесты на цветоразличение проходят представители самых различных национальностей, включая индейцев и африканцев, при обучении автовождению и летному делу. Эти тесты специально предусматривают выполнение не вербальной инструкции, где цвет назван, а практического задания, где необходимо соотнести цветовой эталон с цветовым пятном-заданием.

2. Если ни француз, ни чех, ни поляк не могут объективно оценить силу удара в «стукоряде», то, очевидно, только носитель языка с подвижным ударением (например, русского) способен к объективному восприятию. То же следует, видимо, сказать и о восприятии иноязычного акцента в сфере ударения, музыкального акцента и т. п. Это никак не подтверждается практикой. Тем не менее, нами был проведен ряд опытов с 22 носителями пяти различных языков (монолингвов) со следующими результатами:

1. Обычный тест на ритмичность, включающий репродукцию силы удара, не выявил никаких отклонений, зависящих от языка; трех-, четырех- и пятикомпонентные удары одинаково воспроизводились (т.е. с одним и тем же количеством допустимых ошибок) русскими, болгарями, французами, немцами и поляками.

2. Восприятие магнитофонных записей родных слов, псевдослов, слов иностранных языков (неизвестных испытуемым) проводилось в двух сериях: а) с соблюдением норм ударений в родных языках испытуемых, б) с «чужим» ударением. В обеих сериях испытуемые одинаково успешно зафиксировали как «свои», так и «чужие ударения». Опыт на обучение «чужому» ударению показал, что в 60% случаев оно воспроизводится с первого предъявления образца, а через четыре-пять предъявлений воспроизводится верно в 100% случаев.

Следовательно, сам факт эффективности обучения должен предполагать умение объективно различать силу удара. Надо исходить, видимо, из того, что обучаемость вообще базируется на универсальных потенциальных возможностях интеллекта носителей любых языков, что обучение следует рассматривать как долговременный массовый эксперимент, опровергающий главное в теории лингвистической относительности; при этом отнюдь нельзя отрицать различие интеллектуальных уровней индивидов, как и отказаться от принципа эволюционизма при рассмотрении интеллекта и филогенезе или антропогенезе [См: Муканов, Чистякова 1975].

Мнение, что исследования К. Леви-Стросса «ценно прежде всего тем, что оно поколебало веру в концепцию Леви-Брюля о пралогическом мышлении и показало идентичность мышления «дикаря» и современного человека» [Там же: 85] основано, во-первых, на недопонимании, так как Леви-Брюль никогда не защищал подобной концепции, которая ему неоднократно приписывалась; во-вторых, на переоценке значения методики К. Леви-Стросса, который обнаружил, опираясь на структурный подход, не идентичность мышления, а единый (бинарный) принцип отношения к реальности [См.: Стеблин-Каменский 1976: 23-30, 99, 100]. С полной уверенностью можно сказать, что реализация этого принципа лежит в основе поведения животного, различающего неподвижное от подвижного, съедобное от несъедобного, опасное от неопасного и т.п.

В заключение раздела имеет смысл отметить тот факт, что критика позиции Сэпира – Уорфа исходит в настоящее время не только от американских же специалистов (в цитировавшейся работе Д. Слобина и Дж. Грин «Психолингвистика» на с.214 прямо сказано, что «Уорф чересчур большое значение придавал поверхностным структурам языка, в то время как на глубинном уровне все языки обладают универсальными свойствами»), но и от самого Б.Л. Уорфа, который признал: «Утверждение, что «мышление» является материалом языка – это неверное обобщение более правильной идеи о том, что «мышление» является материалом различных языков». В.И. Звегинцев, процитировавший это положение Уорфа из последней его (к тому времени) работы, удачно, на наш взгляд, интерпретировал «различные языки» как результат взаимодействия *mental* и собственно национального языка [Звегинцев 1973: 186, 187].

Паралингвистика и проблема «следов глубинных структур»

Выше говорилось о том, что отсутствие универсалий (подлинных) в поверхностных структурах языков есть след универсальности глубинных структур, которые не могут быть измерены параметрами поверхностных. В качестве следов глубинных структур могут быть, по нашему мнению, признаны те объекты паралингвистики, которые выявляют подлинную универсальность: жесты, эмоциональные фонации, мимические и пантомимические информативные выражения (не социально воспитанные!), которые являются «следствием антропологического характера языка» и связаны «с развитием ранее нечленораздельных форм общения в животном мире» [Колшанский 1974: 78]. Исследования К. Леонгарда показали обширные группы универсалий паралингвистического характера [Leonhard 1976]. Имеется материал, который иллюстрирует возможности авербальных компонентов диалога выступать в качестве полноценных информа-

тивных единиц со знаковыми функциями «членов предложения» [См.: Горелов 1975].

С другой стороны, авербальные компоненты общения обладают такими глобальными семантическими и формальными характеристиками, которые позволяют выявить противоречие между формой и содержанием вербальной части сообщения и «мыслимой» глубинной структурой («фальшивое признание», «сказал с неуверенностью», «заметил иронически», «холодно бросил» и т.п.). Ждут своего исследования и такие объекты паралингвистики, которые общи для человека и животного, так как, манифестируясь, они адекватно воспринимаются в их глобальных значениях и человеком (относительно животных), и животными (относительно человека). Мы полагаем, что такие явления указывают на унаследованные человеком в филогенезе средства сигнализации, на которые в дальнейшем надстроились более сложные. Весьма примечательно, что новая система не только не отбросила генетически более старую и «несовершенную», не только «сосуществует» с ней, но и позволяет ее дальнейшее развитие и совершенствование (искусство пантомимы Марселя Марсо; ораторские приемы, актерская работа). Практика общения в незнакомой иноязычной среде также предоставляет богатейший материал в плане изучения способов передачи информации на основе авербальных универсалий. Последние обладают такими синтаксическими характеристиками, как постпозиция определения и «нулевое обозначение субъекта (в качестве темы)» [Степанов 1975а: 105].

О возможности соотнесения диахронии языка с процессом порождения речи

Данная идея, полностью разделяемая нами (процесс порождения речи назван нами «микродиахронией»), формулируется Ю.С. Степановым так: «процесс порождения речи в общем и очищенном виде повторяет процесс языкового развития ребенка (онтогенез), а этот последний повторяет в общем и очищенном виде процесс исторического развития языка (филогенез)» [Степанов, Эдельман 1976: 213]. Можно добавить, что указанные процессы объединяет не только общее движение «от смысла к тексту», но и такие общие черты, как: а) очередность средств сигнализации о смысле будущего высказывания. Так, нечленораздельные и жестовые сигнализации в антропогенезе (и филогенезе) появились раньше языковых средств. Одну и ту же очередность мы видим в развитии речи ребенка, где гуление и лепет предшествуют овладению языком, а также в процессе развертывания высказывания: паралингвистические объекты манифестируются раньше вербальной части высказывания; б) ведущая роль интеллекта и деятельности в широком смысле относительно речевой

деятельности. Если вербализация в конкретном акте общения начинается с потребности общения, с общего замысла высказывания, с постижения ситуации, то обучение речи (включая и самообучение) начинается также с постижения ситуации, с контакта, с потребности, с деятельности в широком смысле. Относительно возникновения речи человека Энгельс также высказался совершенно определенно: «Сначала труд, а затем и вместе с ним язык...» [Маркс, Энгельс Т.20: 490].

О НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

(к 100-летию со дня рождения П.К.Анохина)¹

Изучая речевую деятельность в социальном, личностно-психологическом или лингвистическом аспектах, мы подчас напрочь отвлекаемся от «плоти», с которой, собственно, и начинается, в которой исполняется и которой завершается любой речевой акт. Мы привыкли к терминосочетанию типа «органы артикуляции», забыв, что функция речеобразования исполняется до сих пор органами питания, дыхания и животной сигнализации. Следовательно, надо бы хорошо изучить механизмы исполнения первичных функций, которые – если взглянуть на дело трезво – не просто старше «наших нынешних», но, главное, прекрасно выполняют свое дело принципиально тем самым аппаратом, который сложился в ходе животной эволюции и работает по древнейшим нейронным схемам. Новое (человеческое) отличается от старого (животно-биологического) по своим функциям и социально выработанным мотивациям и потребностям. Материальный же субстрат этого нового, т.е. органы (центральный мозг, рецепторы внешней среды и нейронные проводники вместе с нейрохимическим информативным кодом, связующими периферию организма с центром), – они остались практически неизменными со времен предистории человечества.

Современные представления о речевой деятельности в значительной мере (если не полностью) связываются с учением И.М. Сеченова и И.П. Павлова о рефлексах и о двух сигнальных системах. Реально же И.П. Павлов, во-первых, никогда лично не занимался подробной разработкой «теории двух сигнальных систем» (это пытались сделать его последователи). Во-вторых, он не считал свою рефлекторную дугу удовлетворительной схемой поведения типа «стимул – реакция». В 1932 году в статье «Ответ физиолога психологам» он писал: «... человек есть, конечно, система (грубее говоря – машина), как и всякая другая в природе <...> но единственная по высочайшему саморегулированию <...> система в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая» [Судаков 1980: 4]. Таким образом, намеченный И.П. Павловым системный подход предполагал превращение рефлекторной дуги в замкнутое образование, в организм, способный не только реагировать на стимул извне, но еще и самостоятельно воздействовать на среду, способный к «самостимулированию». Указанный подход И.В. Павлова к системе вместе с идеей о возможности появления в орга-

¹ Публикация из архива И.Н. Горелова.

низме-системе «рефлекса цели» был развит и убедительно разработан П.К. Анохиным в его монографии «Узловые вопросы теории функциональной системы» [Анохин 1980] и многочисленных других работах. Кстати отметим, несколько забегая вперед, что приведенная выше цитата И.В. Павлова о «машинной» схеме всякого живого организма весьма близка к прогнозу кибернетического характера (а не к вульгарному механистическому пониманию сути дела). Но современник Н. Винера, общепризнанного «отца кибернетики», П.К. Анохин уже мог прямо высказаться о своих открытиях, относящихся к 1935 году: «... кибернетический «замкнутый контур» с «обратной связью» в физиологии был исчерпывающе сформулирован до появления первых работ Н. Винера по кибернетике» [Анохин 1980: 173].

Здесь нет возможности для подробного изложения теории функциональной системы П.К. Анохина, к которой мы отстаем самостоятельного читателя его книги и статей. Тезисно отметим все же некоторые из положений этой теории применительно к описанию речевой деятельности.

1. Внутри любого организма, эволюционно стоящего выше уровня простейших, различаются: а) центр сбора и переработки информации, получаемой непрерывно, и б) периферийные «датчики», т.е. рецепторы, принимающие – в каждом отдельном случае – «свою» (адекватную специализации рецептора) информацию, направляемую в центр (мозг). Как известно, рецепторы могут быть зрительными, слуховыми, обонятельными, осязательными, вкусовыми, болевыми, вестибулярными пр. (их общее число у человека достигает 22-х, а не «пяти чувств», как все еще принято полагать по классификации прошлых столетий).

2. Получаемая от рецепторов специализированная информация может быть передана по своим проводящим путям (нейронам и синапсам) исключительно в нейрохимическом коде. Его природа, разумеется, полностью исключает возможность передачи (у человека, например) непосредственно языковых (речевых) цепочек в их национально-культурных формах: последние должны быть преобразованы именно в нейрохимические кодовые единицы и их цепочки. Центр (мозг) обрабатывает и синтезирует также исключительно нейрохимическую кодовую информацию. И в этом же коде (другого кода нервные ткани просто не «понимают») мозг посылает свои «приказы-ответы» к периферийным исполнительным органам. Исполнение «приказа» поведенчески проявляется во всякого рода движениях – агрессии, бегства, еде, брачного сближения, подачи сигналов разного типа и др.

3. Сигнально-кодовые «приказы», «ответы», «данные о состоянии среды и организма» от рецепторов получили у П.К. Анохина названия «эфферентных» и «афферентных» (в зависимости от направления и функций) импульсов и «путей» их прохождения. Чрезвычайно

важно открытие физиологом явления «опережающей афферентации», т.е. «приказа к исполнению» какого-либо действия еще ранее того, как центр (мозг) получит от рецепторов констатацию о чем-либо актуальном для организма. Такого рода «заранее-приказ» возможен, конечно, на основе накопления предыдущего опыта, который сформировал себя как полезный, целесообразный. Иными словами, создал уже упомянутый выше «рефлекс цели». В этом словосочетании слово «рефлекс» («ответ», «реакция») уже утрачивает свое основное значение (ибо не может быть речи об ответе на еще не поступивший стимул). В простейшем виде (например, в поведении рыб) поисковые движения и готовность взять добычу (цель) производятся значительно раньше, чем поступает сигнал (от зрительного или обонятельного рецептора) типа «вижу цель».

4. Вместо рефлекторной дуги Сеченова и Павлова вышеописанный механизм опережающего действия образует «кольцо», «замкнутый контур» – как обеспечивающий систему саморегуляции, самообеспечения, т.е. поисковой эффективной активности.

В ситуации речевого общения именно вследствие опережающей афферентации коммуникант сплошь и рядом антиципирует (прогнозирует; поведение и речь как своего партнера, так и свое собственное речевое поведение. В этом случае мы можем констатировать «понимание с полуслова» или даже «без всяких, слов», можем говорить об «ожиданиях», т.е. нашей готовности к встрече соответствующего стереотипа – словесно-этикетного (общего) или личностно модифицированного характера. Ясно, что всякое ожидание является следствием предшествующего опыта.

Подобно тому, как зрительный, например, образ «пищевой добычи», полученный животным в составе окружающей среды, вызывает в нервной ткани нужный рефлекс (а сам «образ» доходит до центра в нейрохимическом коде, т.е. уже трансформированном виде), так и образ реальной действительности у человека подвергается перекодировке. Но двухполушарная кора человека позволяет познавать и запоминать реальность в двух разнотипных аспектах: а) конкретно-образном (например, знакомого лица или данного предмета, или его предметного свойства) и б) словесного обозначения, пригодного как для конкретности, так и для обобщения на уровне рода, вида, класса и т.д.

Словесный знак закрепляется за объектом разного уровня абстрактности, но – обязательно – вначале за конкретным объектом. Такая связь (как и все последующие) осуществляется через условный рефлекс, т.е. в механизме, общем для всех животных. Последние, как всем известно, не вырабатывают вербальных средств замещения образной реальности и вербальных же средств сообщения о ней в адрес себе подобных. Кроме того, животное, как известно, не может

испытывать потребности в человекоподобной мысленной деятельности на внебиологическом уровне.

Однако некий промежуточный уровень вербальной или мимикожестовой знаковой деятельности у дрессируемых животных достигается – опять-таки через системное замкнуто-рефлекторное воспитание: вербальный знак «Домой» адекватно понимается, например, собакой, как и десятки подобных знаков. Но, побуждая хозяина идти домой, собака не может воспользоваться словом и прибегает к имитативному движению в направлении дома в соединении с эмоциональной фонацией. То и другое любой человек понимает адекватно еще и потому, что в детстве он сам прибегал к подобным коммуникативным средствам воздействия

Животное способно, как уже говорилось, к восприятию только тех сигналов-знаков, которые рефлекторно связаны с биологическими потребностями. Обратим внимание на то, что между «рефлексом цели» и моментом достижения потребности могут появляться не только специально натренированные человеком сигналы (например, командные слова, звонок, световой сигнал и пр.), но и выявленные самим животным сигнальные элементы значимых для него ситуаций. Например, надевание хозяином пальто может стать вероятным сигналом «Прогулка!» для собаки. По сути дела – это момент контекстноподобного поведения собаки, в котором невербальное действие становится синонимом к сигналу «Гулять!».

Так жизненный опыт помогает уяснять значимый смысл ситуации в целом. Память значимых ситуаций – это избирательное запечатление в мозгу нейрохимических комбинаций определенного набора. Как показано Н.И. Жинкиным, универсально-предметный (или предметно-схемный) код человеческого мышления не обнаруживает (не может обнаруживать) национально-языковых форм высказывания, представляя собой нейрохимический эквивалент смыслов («зачем это?») и значений (элементов смысла). В этом плане концепция психолингвиста Н.И. Жинкина находит опору в физиологической концепции П.К. Анохина.

О ГИПОТЕЗАХ «РАЗДЕЛЬНОСТИ» И «СОВМЕСТИНОСТИ» В ОПИСАНИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БИЛИНГВА¹

К числу актуальных проблем психолингвистики и общего языкознания относится, безусловно, и чрезвычайно важная комплексная проблема, решением которой много лет занимаются специалисты самых разных областей – биологи и нейролингвисты, языковеды и психологи, философы и преподаватели языков, – проблема соотношения «языков мозга» и языка коммуникации, в частности, проблема механизмов функционирования языковых компетенций при билингвизме.

По мнению Л.В. Щербы, возможны случаи, когда оба языка (родной и иностранный) «образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта», что наблюдается у людей, «выучивших иностранный язык от иностранных гувернанток, с которыми они могли говорить только на изучаемом языке с исключением всякого другого. Поэтому им никогда не представлялось случая переводить с иностранного языка на свой родной и обратно... Поэтому оба языка образуют в данном случае две автономные области в мышлении лиц, ставших двуязычными таким путем» [Щерба 1974: 67]. Это мнение, основанное на личных наблюдениях и собственных допущениях, не проверенных экспериментально, может быть, разумеется, оспорено специалистами, исследующими интерференцию в речи обучаемых и констатирующими явления стойких смешений и на продвинутых стадиях обучения, и в итоговом, уже сформированном искусственном билингвизме. С другой стороны, Л.В. Щерба говорит о результатах усвоения второго языка в особых условиях, где с начала и до конца обучения не могло быть переводных упражнений, а сам процесс научения был как бы аналогичен процессу овладения родным языком – в условиях ситуативно обеспеченной коммуникации. Но возникает вопрос, во-первых, удастся ли при этом с самого начала «подавить» уже имеющуюся языковую компетенцию (родной язык) или же она реализуется в процессе незаметного внутреннего перевода? Если в конце концов все же достигается «подавление», то означает ли оно наличие двух автономных областей в мышлении, как говорит Л.В. Щерба, или же двух ав-

¹ По изданию: Горелов И.Н. О гипотезах «раздельности» и «совместности» в описаниях языковых компетенций билингва // Психологические и лингвистические аспекты проблемы языковых контактов. Калинин, 1984. С.13-21.

тономных областей коммуникативного назначения при одной и той же системе мышления?

Ответы на эти вопросы имеют принципиальное значение как в теоретическом, так и в прикладном плане; образование при билингвизме «двух систем мышления» (если бы такой тезис оказался реальностью) означало бы серьезное обоснование положений в пользу известной «теории лингвистической относительности»; совершенно иначе (сравнительно с нынешним) выглядели бы механизмы интерференции: одно дело взаимодействие двух вторичных сигнальных систем, другое – взаимодействие двух соответствующих им «систем мышления» (кодовых образований внутреннего типа, ведающих переработкой сигналов от внешней реальности и образующих – при посредстве языковой компетенции – «картину мира»); нейролингвистика и психофизиология современности должны были бы в этом случае пересмотреть достигнутые результаты относительно автономности «семантического кода», «кода значений», «концептуальной системы», с одной стороны, и языковой коммуникативной системы – с другой.

Для А.Е. Карлинского представляется бесспорным, что «элементы двух компетенций билингва хранятся в памяти раздельно, а не вместе» [Карлинский 1980: 15], но при этом он ссылается на работу П. Колерса [1972], где рассмотрены – методикой межъязыковых словесных ассоциаций – «совместная» гипотеза и «раздельная» гипотеза (мы сочли стилистически правильным назвать их соответственно гипотезой «совместности» и гипотезой «раздельности»). А.Е. Карлинский полагает, что вывод П. Колерса о недостоверности гипотезы «совместности» подкрепляет сформулированный им, А.Е. Карлинским, вышеприведенный тезис. Но дело в том, что П. Колерс совершенно противоположным образом трактует понятие «совместности». Для него «совместным» или «раздельным» является отнюдь не способ хранения элементов двух языковых компетенций в памяти билингва, не способ функционирования вторичных сигнальных систем коммуникативного назначения. Согласно гипотезе «совместности», воспринятые индивидом сигналы внешнего мира (от предметов, их качеств, отношений между ними и т.д.) хранятся в памяти в нейрофизиологическом внутреннем коде таким образом, что любой из языков, которым владеет индивид, «черпает свою семантику» из образованного «концептуального источника». Иными словами: для всех (и любого из них) языков имеется некий общий «концептуальный источник». В таком и только в таком смысле следует понимать гипотезу «совместности» П. Колерса. Согласно же гипотезе «раздельности», языковые компетенции индивида образуют раздельные «концептуальные источники». Поэтому, когда П. Колерс приходит к отрицанию достоверности гипотезы «совместности», то

он разделяет позицию Л.В. Щербы (не ссылаясь на последнего) и других сторонников этой позиции.

Формулировка «элементы языковой компетенции» слишком неопределенна: здесь не указано, что имеется в виду – национально-языковая форма (в коммуникативном проявлении и в нейрофизиологических аналоговых кодовых структурах) или же семантические структуры, которые, конечно же, взаимодействуют с формально-языковыми, но обладают той мерой автономности, которая позволяет говорить об универсальном характере мышления, компенсирующем специфику «поверхностных структур» любого языка. В свое время нам приходилось анализировать современные представления по проблеме и подкреплять их собственными экспериментальными исследованиями [Горелов 1974; 1977; 1980], и поэтому не будем повторяться. Отметим лишь, что в ряде случаев лингвисты не вполне точны в своих интерпретациях нейрофизиологических и психофизиологических текстов; авторы же последних далеко не всегда используют знакомые лингвистам термины в лингвистическом плане, из-за чего и возникают многочисленные ошибки. «С нашей точки зрения, – пишет Е.И. Бойко, – второсигнальная импульсация формируется не в речевых зонах, а возникает в процессе физиологического взаимодействия этих зон с потоками возбуждений, приходящих в корковые отделы анализаторов, следовательно, в каких-то промежуточных нейронных комплексах...» [Бойко 1976: 240]. Лингвист, для которого «второсигнальный» означает «языковой» (в смысле нейрофизиологического представления в мозгу лингвистического объекта), может, безусловно, усмотреть противоречие в приведенном высказывании (формирование сигналов языка «не в речевой зоне»!), но на самом деле никакого противоречия здесь нет: Е.И. Бойко пишет, во-первых, о формировании (а не функционировании уже сформированного), а, во-вторых, «второсигнальный» не означает для психофизиолога исключительно аналоговых (нейрофизиологических) структур, соответствующих «поверхностным структурам» национального языка. Сюда входит, как видим, обработка сигналов от внешнего мира, код обобщенных представлений. Отсюда и эффект «совместного действия непосредственных и словесных сигналов» [Бойко 1976: 241], то есть момент соединения формы языка, языковых значений и внеязыковых (понятийно-образных) универсальных структур – УПК [Жинкин 1982]. Указание Е.И. Бойко на «какие-то промежуточные нейронные комплексы» хорошо согласуется, на наш взгляд, с выводом о «наличии в аппарате мозга некоторой системы, занимающей промежуточное положение между «первосигнальной» и «второсигнальной», вербальной» [Горелов 1974: 105]. Поэтому только в смысле взаимодействия следует интерпретировать данные

последнего времени, «свидетельствующие о том, что правое полушарие имеет непосредственное отношение к языку и речи» [Черниговская, Балонов 1983: 63].

Выдвинутое еще Л.С. Выготским положение об этапности движения «от мысли к слову» в процессе порождения высказывания было позднее детально разработано А.А. Леонтьевым, Т.В. Ахутиной, другими представителями советской психолингвистической школы, а кратко может быть сформулировано, как это сделал А.Р. Лурия: «...этот процесс распадается на два больших этапа. К первому относится процесс превращения исходного замысла или исходной «семантической записи» в схему развернутого речевого высказывания... Вторым этапом речевого высказывания является этап включения высказывания в коды языка» [Лурия, 1979: 291]. Тем самым констатируется: а) наличие авербально сформированного замысла; б) наличие авербальной схемы будущего высказывания; в) наличие момента включения этой схемы (семантического порядка) в кодовый (мозговой) аналог поверхностной (собственно языковой в лингвистическом смысле) структуры. Как правильно говорится в одной из последних работ, под поверхностной структурой «подразумевается окончательное оформление в грамматическом и фонетическом отношениях высказывания» [Деглин и др. 1983: 77].

Таким образом, сам факт перевода мысли в слово с коммуникативными целями означает необязательность вербального мышления «для себя» и невозможность отождествления языковой компетенции с компетенцией мыслительной. В специфических условиях несформированности второй сигнальной системы (глухонмота от рождения) или временной ее утраты (тотальная афазия) интеллект может быть сформирован, может функционировать, если индивид включен в социум, если его обучили практически целесообразным действиям. Поэтому «экспериментально опровергается бытующая до сих пор идея о том, что человеческая психика рождается или просыпается только вместе с усвоением языка, речи» [Мещеряков 1974: 317]. В процессе филогенеза также следует констатировать этап доречевого развития, так как, «судя по всему, возникновение человеческой речи и языка не совпадает с началом трудовой деятельности», а развитый язык – это «плод многотысячелетнего развития уже в рамках истории человека современного вида» [Алексеев 1983: 23]. Трудовая же деятельность невозможна, если ее не организует достаточно развитый интеллект. Следует добавить, конечно, что на вербальном уровне функционируют не «чистые понятия», которых быть не может, а материальные «внутренние языки мозга», прототипы и аналоги которых существуют уже и на дочеловеческом уровне, что позволяет, например, высшим антропоидам не только осуществлять дей-

ствия в рамках наглядно-практического интеллекта, но и осваивать знаковые системы, изобретенные для них человеком с целью общения с ними [Иванов 1978: 79-82].

Забвение этих фактов, реальность которых доказана экспериментально и многократно, часто приводит к ошибкам – будь то «теория лингвистической относительности» или гипотеза «раздельности» П. Колерса. Любопытно, однако, сопоставить данные, опубликованное в 1910 и 1983 гг. относительно «совместности» или «раздельности» систем национальных языков в их корковом представительстве.

В 1910 г. Л. Леше, преподаватель иностранных языков в одной из киевских гимназий, опубликовал брошюру, развивавшую положения его статьи 1904 г. Исходя из известных автору работ афазиологов и психоневрологов XIX в. Пика и Куссмауля, Л. Леше высказал мнение о том, что не существует «физиологического основания утверждать, что изучение всякого иностранного языка должно непременно опираться на родной язык учащихся... При изучении всякого иностранного языка должен создаваться в мозгу приблизительно такой же аппарат, как и для родного языка, и создан он может быть, как и первый» [Леше 1910: 24].

Строго различая «звуковую» (языковую) и «вещественные» стороны систем мышления (под «вещественной» стороной Л. Леше понимал «совокупность представлений и общее представление о вещи», то есть образ конкретного и понятие), автор предлагал в процессе обучения иностранным языкам «сопрягать вещественную и звуковую стороны» так, чтобы известное «вещественное» ассоциировалось с «неизвестным, новым, звуковым» (то есть с иностранным языком). Отметим, что, следовательно, Л. Леше считал «новым аппаратом нового языка» не «концепт», не понятийную систему, а именно новую вторичную сигнальную систему коммуникативного назначения, ассоциированную с уже созданным кодом мышления. В то время как и много позднее, в психофизиологии господствовали предложенные «локалистами» теории узкой специализации функций коры, и Леше, разумеется, следовал им. Существенно сегодня не это, а внимание Л. Леше к наличию различных функций речевого плана (понимание, письмо, устная речь, чтение), их относительной независимости (при наличии и взаимодействии), к первичности звукомоторного аппарата. Л. Леше пришел к выводу об обоснованности прямого (натурального) метода обучения иностранным языкам, его большей эффективности относительно грамматико-переводного [Леше 1910: 24-36]. Не обсуждая этих воззрений методического порядка, отметим, что в целом «вещественная сторона» Л. Леше соответствует тому, что называется «превербитум» [Критчли 1974] и что нами названо «невербальным компонентом коммуникации» на этапах порождения и декодирования речевого сообщения [Горелов 1980].

В работах же 1983 г., где проанализированы исследования 70-х гг. и собственные эксперименты авторов, читаем: «...при формировании порождающих механизмов второго языка чрезвычайно важно участие механизмов, обеспечивающих глубоинные структуры высказываний на родном языке», при этом существенным является способ усвоения языка – материнский (прямой) или «школьный» (рациональный), так как в первом случае перевод осуществляется в гораздо меньшей степени, чем во втором [Деглин и др. 1983: 81].

Как отмечалось выше, глубинные структуры соответствуют «семантической записи» Л.Р. Лурия, тогда как поверхностные – языковой форме. Авторы приходят к тому же, по существу, выводу, что и Л. Леше в плане формирования достаточно автономных систем языков на общем уровне глубинных структур. При этом высказывается предположение, что «для второго языка... оба механизма, обеспечивающие порождение, локализованы в левом полушарии» [Деглин и др. 1983: 71]. Указывая на врожденные структурные и функциональные различия левого и правого полушарий, некоторые исследователи подчеркивают все же способности правого (субдоминантного) полушария участвовать в формировании речевых механизмов [Брагина, Доброхотова 1981: 189; Костандов 1983: 9, 153, 156]. В этом плане еще много неясного, хотя априори можно утверждать, что сами условия речевой деятельности (ориентировка в ситуации, возникновение мотивов высказывания и их реализация в непосредственной связи с эмоционально-образной сферой) «включают» правое полушарие в момент функционирования доминантного левого. Скорее даже наоборот: правое создает необходимые предпосылки для «включения» левого (речевого) полушария. Так что вопрос о взаимодействии всех разделов мозга в процессе речи (и не только речи) не снимается при попытках исследовать и локализовать различные функции. Важно, однако, решить вопрос о возможности создания автономных языковых представительства в мозге при общем («совместном») механизме мышления.

Материалы восстановления речи при афазии у полиглотов подтверждают такую возможность: «В большинстве случаев наблюдается диссоциация между «основным» (родным) языком... и другими языками... возможны временные замены языков» [Вальд 1961: 164]. По нашим наблюдениям, возможность восстановления русского (второго) при явном отставании родного (татарского) также подтверждается, хотя чаще всего восстанавливается вначале родной (основной) язык, а затем все остальные – в последовательности усвоения.

Последние работы свидетельствуют об особой сложности и противоречивости объекта и его интерпретаций. Например, констатируя факт связанности сознания со второй сигнальной системой, видный

биолог Д. Адам в одной и той же работе указывает на «ответственность правого полушария за переработку информации, не связанной со словами и числами», отмечая в то же время, что «основной словарь и некоторые идиоматические выражения употребляются без сознательных усилий» [Адам 1983: 101, 111]. Получается, что можно оперировать вербально без участия сознания (здесь не говорится о патологии или о вербализации во сне), но тогда сознание связано не только с речевым полушарием; правое же полушарие связывается не только с деятельностью подсознания.

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам.

1. Большинство проверенных фундаментальных данных указывает на создание в ходе практически интеллектуальной деятельности умственной (концептуальной) базы мышления человека. Эту базу составляют собственные впечатления индивида о мире, его личный опыт, а также социальный опыт, переданный в процессе социализации – при самом активном участии речевой и другой коммуникации. Привносимый в психику индивида из среды национальный язык, будучи «чрезвычайной прибавкой» (по Павлову), организует коммуникативные возможности и мышление индивида, но так, что в психике возникают универсальные, независимые от языковой специфики «картины мира», подчиненные опыту и объективным логическим законам сущего. На этой базе возникает и развивается, корректируется и осмысливается система любого национального языка.

2. При естественном билингвизме на той же базе формируются две равноправные системы: при функционировании одной из них вторая «затормаживается». При искусственном билингвизме такое торможение возможно, когда в новой языковой системе нет «пробелов», когда сформированы бессознательные автоматизмы связи между означаемым (общим) и означающим (новым). До тех пор дефицит средств новой системы понуждает к использованию средств уже хорошо сформированной компетенции (первый, основной язык). Это обнаруживается в явлении интерференции.

ФЕНОМЕН ПОРОЖДЕНИЯ РАЗНОКОДОВОГО ТЕКСТА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ¹

Излагается процесс решения экспертной задачи относительно принадлежности г-на Д. к языковой и бытовой культуре Германии в период его детства и ранней юности (до 1945 г.), утраченной в дальнейшем (1945 – 1991 гг.). Предлагается методика «оживления» родного (немецкого) языка через предъявление предметных реалий соответствующего времени. Обосновывается наличие стойких связей между образной эмоциональной памятью, с одной стороны, и номинативными единицами родного языка – с другой.

Предлагаемое сообщение построено на конкретном материале, на казусе (в первоначальном значении слова) и требует поэтому хотя бы лаконичного описания самого казуса. Сообщение включает в формулировку психолингвистической прикладной задачи, которая затем интерпретируется на основе теории «вербализации», т.е. процесса перехода от «мысли к слову», от универсально-предметного кода мышления (УПК по Жинкину) к высказыванию.

1. Казус Вильгельма Отто Д.² Если отвлечься от некоторых (для нас несущественных) ошибок в публикации Г. Жаворонкова, построенной со слов самого испытуемого и на некоторых документах, то состоящий на учете в милиции бомж, проживающий в Москве с документами на имя Судакова (по другим документам – на имя Кунца), родился в Германии в 1933 г. в Кенигсберге в семье военного интенданта. С 11 лет мальчик добровольно участвует в боевых действиях под Кенигсбергом, получает награды, а затем – после падения города в 1945 г. – начинает долгий путь скитаний по Прибалтике и другим местам СССР, включая лагеря, из которых выходит только в 1972 г. В 1980 г. с него снимают судимость, но постоянного места жительства он не находит, добывая средства к жизни случайными заработками, включая игру на трубе в подземных переходах Москвы. При задержаниях и опросах утверждает, что является немцем, желает получить подданство Германии, однако не может доказать ни владения немецким языком, ни того, что он рассказывает о себе и своей семье в период жизни 1933-1945 гг. Документально устанавливается лишь факт пребывания его в лагерях и на местах работы в 1947-1950 гг. (до лагерей). Не оправдывая ни в коей мере отсутствия

¹ По изданию: Горелов И.Н. Феномен порождения разнокодového текста в экстремальной ситуации // Мышление и текст. Иваново, 1992. С.28-51.

² «Московские новости» в № 52 от 31.12.89 опубликовали материал Г. Жаворонкова «Кто Вы, Вильгельм Отто Драугель?», а в марте 1990 г. автор настоящего сообщения был приглашен редакцией в качестве эксперта для «установления личности» (формулировка редакции) героя публикации. 5 марта автор провел экспертизу и сдал в редакцию соответствующий акт.

со стороны официальных служб реальных действий по проверке версии происхождения Вильгельма Д. (например, выезд в Калининград и проведение соответствующей глубокой экспертизы, розыски в архивах), отмечу, однако, что эти службы не получали подтверждения самого факта владения Вильгельмом Д. немецким языком, а участие в военных действиях в 1944–45 гг. мальчика в возрасте 11–12 лет естественно должно было казаться проблематичным, если не подтверждалось документально. «Асоциальное» поведение же «доказывалось» пребыванием в лагерях, судебными преследованиями и высказанными кем-то гипотезами о психическом заболевании Д.

При встрече с автором настоящего сообщения Д. прямо заявил, что немецкий язык «забыл полностью», не умеет не только говорить на нем, но даже «не может написать ни одного слова или прочитывать немецкий отрывок из газеты или книги... всю сознательную жизнь слышал только русский язык и на нем разговаривал».

2. Гипотеза о достоверности версии Вильгельма Д. Настоящая гипотеза возникла без всяких достаточных к тому оснований: топонимы и антропонимы, содержащиеся в публикации газеты со слов Д. и соответствующие реалиям, могли быть почерпнуты им с помощью расспросов немецких военнопленных в лагерях, которых можно было встретить в начале 50-х годов. Однако фамилия «Драугель» казалась – при литовском корне (*draugas* – друг) – вполне «онемеченной», территориально и социолингвистически вообще «уместной», непридуманной.

Отрыв от родной языковой среды, длительность которого (по версии) почти 45 лет, объяснял, на мой взгляд, почему Д. не мог обнаружить знания родного языка: активное владение им продолжалось не более 9–10 лет жизни от рождения. Наблюдения, отчасти описанные в специальной литературе [Spittner 1978: 131], отчасти имевшиеся в моем собственном опыте, подтверждают возможность полного разрушения бывшей языковой компетенции, ее «ухода» в подсознание с сохранением фрагментов в долговременной памяти (без выхода в оперативную); нельзя забывать, что функционирование родного языка у билингвов при субординативном билингвизме восстанавливается только под действием сильных социокоммуникативных стимулов, регулярных и естественных коммуникативных тренировок.

Готовясь к экспертизе, я предположил следующее.

1. Д., рассказывая о своем происхождении и о жизни до 1945 г., говорит правду, отклоняясь от нее в том, что для меня как эксперта не является существенным.
2. Родной язык Д. вытеснен русским, но знание его должно проявиться фрагментарно при воздействии на Д. сильных стимулов, мотивирующих хотя бы элементы прежней языковой компетенции.

3. В качестве сильных стимулов выступают: а) ситуация жизненно важной необходимости выполнить тестовое задание в соответствии с инструкцией эксперта, который, в свою очередь, стремится внушить Д., что редакция газеты официально гарантирует ему, эксперту, и самому Д., что в случае получения желаемых результатов стремление Д. (перемена подданства и выезд в Германию) будет обязательно удовлетворено; б) предметные реалии немецкого социума 30-40-х годов, знание которых практически обязательно для немецкого ребенка соответствующего возраста (до 12 лет), выросшего в благополучной немецкой городской семье; в) предметные реалии, знание которых обязательно для военнослужащего вермахта до 1945 г.
4. Культурно бытовые и другие реалии, избираемые мной в качестве сильных стимулов, должны быть исключительно немецкими, знание которых гражданами СССР практически маловероятно.
5. В ходе экспертизы с моей стороны должен быть использован для общения с Д. исключительно немецкий язык, причем ситуативно и в связи с предъявляемыми ему предметными реалиями. Это позволит создать ситуацию общения по принципу «прямого метода» (семантизация лексических единиц только в связи с предметом денотативного ряда), применяемого в методике обучения иностранным языкам и в восстановительной методике, которая используется при лечении афазий [Бейн, Овчарова 1970: 75]. Особое внимание следовало уделить ряду известных случаев восстановления одного из языков при афазии у полиглотов, утративших именно первую языковую компетенцию.¹ Во всех таких случаях использовались именно сильные стимулы, стрессовые ситуации.

Задача заключалась, по моему мнению, в том, чтобы создать в общении с Д. экстремальную ситуацию с помощью перечисленных сильных стимулов и активизировать таким путем (вызвать из долговременной памяти) образы давно известных (и позднее не встречавшихся) вещей вместе с их немецкоязычными названиями. Я предположил, что в ходе опыта Д., если он говорит о себе правду, должен будет обязательно пережить сильное положительное эмоциональное потрясение в связи с предъявленными предметами, что образ «потянет» за собой не только одиночное слово, но и, возможно, часть ассоциативного ряда и, может быть, фрагменты

¹ Подробно о таких случаях рассказывала мне покойная О.В. Ландкоф, около 40 лет жизни отдавшая практике восстановления речи у афатиков. Ссылки на ее опыт имеются в моей докторской диссертации [Горелов 1977]. См. также: [Горелов 1974: 102-103; Опель 1963: 88].

ситуативных соответствующих высказываний с вкраплениями немецкоязычных единиц. В программе-максимум опыта такой результат представлялся наиболее желательным. В программе-минимум предполагалось обязательным узнавание предмета и объяснение его функций и прочего на русском языке, что, на мой взгляд, также было бы свидетельством в пользу версии Д.

3. Тест-программа и ее осуществление. Для экономии места, т.е. во избежание повторений, тестовые задания будут перечислены в избранной последовательности (слева) вместе с сокращенными описаниями реакций Д. (справа). Замечания по вводной беседе (20 мин.) сводятся к следующему. После знакомства эксперт изложил свою позицию относительно публикации в газете и будущих пояснений Д., если таковые последуют, подчеркнув свое полное доверие к тому и другому. Д. был предупрежден, что ход беседы фиксируется диктофоном, чтобы в дальнейшем можно было составить документально подтверждаемый акт экспертизы. Изложены задачи экспертизы. Затем было сказано, что со стороны эксперта будет использован исключительно немецкий язык, но что Д. сможет все понимать, т.к. речь пойдет только о предметах (вещах), которые будут Д. по ходу беседы демонстрироваться. Задача Д. заключается в том, чтобы внимательно слушать эксперта, связывая его речь мысленно с наблюдаемыми предметами и, в обязательном порядке, пытаться хоть что-то выразить на немецком языке, хотя эксперту известно, что этот язык Д. совершенно забыл. Для того, чтобы показать, что поставленная задача в принципе может быть решена, была проведена небольшая своеобразная репетиция (иллюстрация метода общения). Фрагмент этой репетиции показан ниже.

Достигнута договоренность об обоюдном неофициальном обращении (на «ты»). В ходе «репетиции» тревожное состояние Д. несколько нейтрализовалось, он сказал: «Я понял. Некоторые немецкие слова я тоже понимал. Вот, du, richtig, gut guck mal... Но не могу никак связать сам хоть два-три слова по-немецки... Я все забыл. Честно – все!»

Между тем произношение звуков [g], [l], [t] и на этом этапе воспроизводится Д. с весьма обнадеживающими имитациями нормы, хотя и не всякий раз. На большинство моих высказываний (утвердительные, вопросительные, альтернативные) на немецком языке Д. реагирует совершенно адекватно, но не осознает, что я обращаюсь к нему только на немецком языке и что не все сказанное семантизируется предметно. Типичная реакция Д. – кивок или отрицательное движение головой в сопровождении фразы на русском: «Я понимаю сейчас, но не слова, а то, что показано рукой... Слова ich, hier, dort,

ja, so тоже сейчас понимаю. Но нет, опять не понимаю... Все забыл. Все!» Характерен пример:

Указываю рукой на сигарету.

– Schau mal: hier liegt meine Zigarette, nicht wahr?

Перевожу руку на карандаш.

– Und hier ist schon keine. Das ist ein Bleistift.

Показываю на спички в коробке.

– Dort sind Streichhölzer, wie? Sind das Streichhölzer?

– Aber du verstehst alles gut, du verstehst doch, nicht?

Снова показываю на предметы.

– Links sind die vier Bücher, rechts steht diese Schreibmaschine. Dazwischen liegt meine Tasche. Stimmt das?

– Jetzt paß mal auf, Willi, sei brav und tüchtig, ich zeige dir was aus deiner Kindheit!

Предъявление реалии 1.

Кладу перед Д. раскрытый классер с 30 марками. 23 из них – марки ГДР различных периодов выпуска, различной тематики, 7 – марки Германии выпуска 1938-1945 гг. (военная тематика).

– Ich bin Briefmarkensammler. Und du? Bist du auch einer gewesen? Als Kind, meine ich. Hier hast du Marken: suche die bekannten aus. Nimm die heraus und lege hierher. Verstanden? Na los, Mensch, sei aufmerksam und mach dich an die Arbeit. Je schneller desto besser.

Действия Д. сопровождаю репликами: Richtig! Wieder schon! Haargenau! Und diese – mit dem Hackenkreuz? Erkennst du den Mann, den Führer?

Когда вынимаю марки ГДР, показываю ему, он бегло взглядывает на них, энергично и досадливо отмахивается, всецело поглощен своей задачей. Все же я спрашиваю время от

Утвердительный кивок.

Отрицательное движение головой. Затем кивок.

– Нет, это карандаш. Ja, конечно.

Утвердительный кивок.

– Это правильно... Stimmt! Смеется. – По-немецки!

– Ja-ja! Doch! Понимаю, конечно... Я смотрю и понимаю все. Почти. Да.

Кивает, подтверждая.

– Ja... Schreib... rechts. Портфель, да... в середке. Правильно. Так?

Встревожен, очень внимателен.

– Kind? Ну-ну... Что там?

Оживляется, внимателен.

– Что это? Марки? Я в детстве тоже имел многие... О, немецкие, да? Таких не было... А эта – эта – вот! Эта была!

Вытаскивает, откладывает в сторону. Руки начинают дрожать.

– Вот эта – тоже, да! Nein? И эта – Panzer! Torpedoboot! Как по-русски? Торпедный? Вот еще – Bergschütze! Нет, Gebirgsjäger!

За полторы минуты задание выполнено, нужные марки найдены и отложены в сторону. Д. продолжает их рассматривать, комментировать по-русски. Возбужден. Жестикулиру-

времени, показывая марки ГДР:

– Diese da, nicht? Und die blaue?
Und diese? Nein? Auch nicht? Wieviel
hast du rausgenommen? Fünf? Sechs?

Описание реакций Д. словами крайне обедняет происходящее: он очень возбужден и взглядом требует постоянного поощрения, подтверждения правильности своего выбора. Очень доволен подтверждением.

Предъявление реалии 2.

Показываю поочередно черно-белые и цветные открытки с видами немецких городов: Берлин, Лейпциг, Альтенбург, Галле, Дрезден, Веймар, Потсдам, Магдебург, Айзенах, Шверин, Росток. Затем идет серия поздравительных открыток – к Рождеству, к Пасхе, к Новому году.

Показывая открытку, спрашиваю:

– Bist du hier einmal gewesen? Und hier? Kennst du die Stadt? Und diese? Ist hier eine Kirche? Bist du katholisch? Es wäre alles, Willi. Es gibt keine mehr. Was sagst du dazu, Mensch? 'ne schöne Überraschung, was?

Пытаясь успокоить Д., предлагаю:

– Vielleicht machen wir eine kleine Pause? Für Entspannung, was? Eine ganz kleine?

Предъявление реалии 3.

Д. по своей инициативе возвращается к открыткам и маркам, пересматривает их, комментирует по-русски, затем припоминает с большим усилием немецкие названия представителей родов войск (в связи с марками): Infanterie, Artillerie, Galauniform, ja. Внезапно вспоминает, что в раннем детстве был с отцом в Галле, рассматривает виды города очень внимательно, огорчен, что не узнает: «Нет, не помню! Ничего! Забыл!»

Предъявляю пластмассовый предмет, который вкладываю ему в руку. Он называется в быту Einadel, служит для прокола яиц перед варкой, чтобы они не раскололись от кипятка. Глагол, который использует Д., и отглагольное имя не являются в

ет, смеется. Выразительная мимика.

– Вот все, да? Сколько всего их – семь, sieben? Aus! Все правильно, да?!

– Это что? Виды? Германия! Deutschland, ja! Сразу видно: такие дома... Здесь нет фасонов домов. Нет, это Германия! Вот написано – Берлин! И – Дрезден! Хорошо узнаю. Но... вот еще, другие... Тут как это? Zum Neujahr! Ostern! Weihnachten! Alles deutsch! Ja!

– Nein! Hier auch... Was ist... Здесь не был, но понимаю, что... Ja, katcolisch, klar! Kirche! Все? Больше нет? Я еще посмотрю некоторые, ладно? Тыщу лет такого не видал, понимаете, да?

Слезы на глазах. Сильные переживания. – Нет не надо паузы, давайте уж все сразу. Пусть...

– А это что? Не знаю, что это (пожимает плечами). Только вот... Здесь что – иголка какая-то. Зачем? А... Я знаю! У нас такая была! Только больше! Для Ei! Eier pick! Понимаете, нет? Вот... Eierpicker, вот как называется по-немецки у нас! Боже

данном случае нормой и означают «клевать», «проклёвыватель» яиц.

– Erklär' mir mal, wozu das Zeug ist! Willi, erkläre mir doch, was ich mit dem Ding anfangen soll!

– Aha, kapiert!..

– Die Verkäuferin hat mir gesagt, es sei für Wachteleier, deshalb ist's so klein... Aber die Zeit drängt, lieber Mensch, ich zeige dir noch was.

– Oh, ich fühle mich gar nicht beleidigt, alles normal, Willi.

Предъявление реалии 4.

Выкладываю перед Д. картонные кружки, предназначенные для подкладывания под пивные кружки (бокалы, рюмки). Серия кружков куплена в сувенирном киоске в г. Галле, поэтому на них изображены – в цвете, но обобщенно – достопримечательности этого города. Спрашиваю, узнает ли он эти вещи, для чего они выпускаются, где и как применяются. В дальнейшем, поскольку Д. очень возбужден, пытаюсь его успокоить, прервать опыт, дать ему отдохнуть, но он отказывается.

Ниже весь текст принадлежит Д., который говорит чрезвычайно быстро и возбужденно с непредвиденными остановками, когда он снова возвращается к разным предметам, предъявленным ему ранее.

– Боже мой, как это было давно!.. Я ведь был совсем маленький, я сам пива не пил и не заказывал, но папа часто ходил в пивную рядом и иногда брал меня, если днем... Потом объяснял мне, что и как делают с этими кружочками я, конечно, хотел всегда взять их себе. Кельнер иногда мне сам дарил, если отец делал заказ часто... Вот этот кружочек... (внезапно вскрикивает, затем быстро выбирает открытку с городом Галле) Да oh Gott! Hier so was... diese alte здание, да? Эта Festung oder wie Her damals war и я с отцом, der Vater hahm mich mit в командировку, мы пришли und... сюда... wir – hier da saЯen wir в кафе таком здесь er trank Bier, ich nicht, klein, so was neun oder

мой, сколько же лет прошло! Тыщу лет! У мамы была такая вещь, у бабушки, у тети – у всех была такая вещь! Чтобы яйца не треснули в горячей воде, не вытекли чтобы. А то получится (жест) некрасиво, весь белок выйдет. Смешно даже думать, что это нужно кому-то было, so was, ah? So ist's, ah? Mein Gott Wachteleier!.. Na ja... Неужели ты мне еще что-то интересное принес из прошлой жизни? Ты не обиделся, что я говорю тебе «ты»? Ну и хорошо, спасибо, что нормально.

– Опять вот вижу всё немецкое. Ты, наверно, часто был в Германии, да? Это знаешь, как называется? (Задумывается, трет лоб, который влажен от напряжения). Это – для пива, например, для Bier. Вот, ты в кафе, в пивной заказал себе три-четыре Seidel Bier. Приносят заказ и под каждый Seidel (кружка?) подкладывают unter... вот – Untersetzer! Untersetzer heiБt... Drei Bier – drei Untersetzer, verstanden? Will man... rechnen, so считают просто эти штуки. Понял? И на скатерть не надо пачкать пивом – на картон, понял? Это ведь так давно...

sogar jünger, ich wollte мороженое есть, Eis ja mit Schokolade oder was еще там. Постройка aus Holz war, она такая легкая, да? Она noch ist hier? Oder schon kaputt?... Aus Holz, ja, und mit такими навесами... gestreift: weiß und blau. Sommer! Das war zu Sommerszeit und der Vater trank Bier, ich мороженое... Und weiß du, wie es heißt, hieß damals, nein? Ich hab es wie heute... Gott! Es hieß «Zu drei Wildkugeln». Понимаешь, мне Vater объяснял, er sagte: здесь собираются охотники. Поэтому так.¹ Ah, du, lieber Gott, verstanden? Es war doch wie heute у меня перед глазами, как тебя вот вижу. Война, наверно, все сожгла, и эту под навесами такую, знаешь? Вроде летней забегаловки для чего-то легкого, как здесь. Я бы мог сказать: привезите меня сюда, дайте поговорить с теми, кто местный житель в возрасте 60-70. Ведь каждый знал, конечно, что здесь было... На картинке, конечно, нет всего этого, но я точно знаю, ты понимаешь? Отец был интендантом, я уже говорил, в чине полковник – это много всегда, а тогда – понимаешь? Официанты суетятся, подают, бегают, спрашивают: «Wollen vielleicht Ihr Junge... Nein! Wünschen Ihr junger Herr noch etwas?» Представляешь? (Плачет.)

Предъявление реалии 5.

Предмет, называемый немцами Tropfenfänger или Tropfenfalle, состоит из валика, изготовленного из губки или поролона, сквозь который пропущена резинка (двойная), завершающаяся крючком. Валик помещается под носиком чайника или кофейника, через крышку протягивается петля (часто с фигуркой, приходящейся как раз над выступом крышки) и закрепляется крючком за ручку. Всё устройство предназначено для того, чтобы капли чая или кофе не попадали на скатерть, впитывались бы валиком. Отсюда и название «каплеулавливатель» или «капеловушка».

– Nimm das Ding und sage mir, wie es heißt und wozu es dienen kann. Aber sei bitte ruhig, Willi, weine nicht, sonst kann ich dir nicht helfen – du bist

– А вот это что-то новенькое... (рассматривает внимательно.) Кажется, начинаю припоминать... Ты уж не обижайся, что я так реагирую потом... Это ведь очень волнует – увидеть вещь, которую не видел почти полвека... Странно, но сказать не сумею (растягивает петлю)... А-а (смеется радостно), вспомнил: это на чайник надевается... под (жест) носик так подцепляется, а крючок – за ручку. Для чего? Ну, когда ты налил, то падают с носика эти Tropfen, а так они не на стол, не на скатерть, а на Dingsda. Называется Tropfen... нет, забыл, но ясно, да? Правильно? У нас было это, мать и сестры вообще такие аккуратные, отец требовал, чтобы везде, знаешь, Ordnung muß sein Ordnung, mein Gott, verstehst du?

¹ Нормативно «шальная пуля» по-немецки – verirrte Kugel, хотя «шальной» – также и «wild. Информанты предполагают, что использованное Д. слово вполне может принадлежать жаргону охотников и соответствовать действительному названию кафе такого рода.

davon beinahe krank. Die Zeit ist knapp, wir haben noch viel zu schaffen, es gibt keine Pause vor dem Mittagessen, ja? Abgemacht?

Предъявление реалии 6.

Предъявляются попеременно два карманных атласа Германии (1939), ГДР и ФРГ (1960). Д. предлагается найти знакомые города. Прошу его бегло сравнить карту 1939 г. с более поздней и постараться прочитывать названия немецких городов на его родном языке.

Прошу написать названия немецких знакомых городов по-немецки. Даю ручку и лист бумаги.

Предъявление реалии 7.

Показываю Д. раскрытый карманный песенник и говорю:

– Jetzt wollen wir lesen und singen – du und ich, beide zusammen, klar? Kennst du Noten? Die Noten sollst du gut kennen, du, «kleiner Trompeter»... Ich singe an, du liest und singst mit. Los!

Glücklich war ich damals, bestimmt glücklich, Mensch... Herr Gott, der liebe... Nein, ich weine nicht. Keine Angst, ich weine nicht mehr.

Д. быстро ориентируется, находит Кенигсберг, другие населенные пункты, которые знает по довоенному и военному времени. Кратко комментирует по-русски, называя немецкие топонимы на родном языке с хорошим произношением; русифицированных звуков при этом практически нет. Найдя по карте ГДР Карл-Маркс-Штадт, очень удивлен:

– Что за название? Здесь Кемниц должен быть, а? Chemnitz soll die Stadt heißen, was? Karl-Marx-Stadt? Nein, Chemnitz soll sein... Verstehst du? Und ich lese, ich lese deutsche Wörter, was? Ach, lieber Gott... Halle ist Halle, und andere und вдруг Karl-Marx... Вот тебе paz!

После паузы расписывается: «В. Другелъ», затем то же – по-немецки. Пишет: Keniksberk, Hale, Tresten, Laipzik, Berlin, Keln.

– Двойку мне за это? Совсем забл. Кстати, у нас в гимназии «двойка» была хорошая отметка, не как здесь. А «пятерка» – хуже не бывает. Ты мне пятерку по-гимназистски ставишь за писание? Если бы была школа как у всех...

– Ты что? (машет рукой с досадой.) Читать я совсем забыл – как писать, так и читать. Weder schreiben noch lesen. Verstanden? Glaubst du mir nicht? Was ist das? Oh, lieber Herrgott! Singen ja? Wir singen – du und ich? Jawohl, wir singen! Ach, du... Was du nicht sagst

«Trompeter»!.. Ja, Noten... Ich kann singen... Nach Noten, ja? Aber... Wort, was? Lesen kann ich nicht mehr.

Читаю первую строчку песенки «Ich ging emol spaziere...», пою ее, затем читаю вторую, пою, а Д. подхватывает: «Na-nu, na-nu, na-nu». Чтобы избежать механического повторения рефренных частей, переставляю куплеты и даю Д. прочитать, он читает верно, потом напевает громко в радостном возбуждении. Вместе читаем и поем три куплета.

– He, wo hast du es hergefischt, Willi? Im Liederbuch gibt's so was nicht, es steht doch nicht drin!

Предлагаю прочитать немецкий текст на закладке в песеннике:

«Ein einziger dankbarer Gedanke den Himmel ist das vollkommenste Gebet, т.е.: «Единственное выражение благодарности небу – это совершенная молитва» (Лессинг).

Объявляю Д., что тест завершен, что я сажусь печатать акт экспертизы, а потом сдам его Г. Жаворонкову (Д. знает в редакции только его).

После этого Д. делает паузу, что-то вспоминает, и выпаливает куплет, которого нет в тексте: он скабрёзного содержания.

– Ну конечно, такого там нет. Это же солдаты пели – так, по-мужицки, если можно сказать. Ты не обижаешься, что я это спел? Так, вспомнилось в секунду – я и спел, понимаешь?

– А читать, оказывается, тоже можно вспомнить. Только отрывок должен быть совсем другой – чтобы неизвестные мне слова, да? Вот это другое дело. Читать будем это. Я сам, что ли? Попробую.

Читает. Но понять не может:

– Lessing – das ist klar, ein einziger – auch. Gedanke – was ist das? Himmel – auch klar... Ach, lieber Gott, du im Himmel!.. Мне нужно месяц – два, чтобы читать, а?

– Спасибо тебе большое за все! Могу сказать еще по-немецки: Danke dir! А вот... ты можешь меня понять, если я скажу так: Nicht alles dort, in die Zeitung nicht alles. Ich sage dir, erzähle noch viel. Verstanden? Wir haben Zeit? Часа два noch ich brauche, ja?

Далее последовала беседа, точнее – монологическое высказывание Д. на смешанном русско-немецком языке в связи с обстоятельствами его прежней жизни. Дополнительно к показанному выше словарю Д. использовал еще 42 единицы, произнесенные в основном русифицированно в русских синтаксических конструкциях и в окружении русских слов, составивших примерно 80% всего сказанного, а

с многочисленными повторениями – до 95%. Понять его речь можно было только с переспросами и уточнениями на русском языке. Эмоциональный спад был очевиден: Д. говорил монотонно, устало, был очень разочарован тем, что «опять все забыл на немецком.» Из сказанного обращает на себя внимание единица «ЭКА-ЦВО», т.е. по-немецки – EK(A)-ZWO, устоявшаяся форма наименования «Железного креста» 2-ой степени, награды, полученной Д. в 1945 г. По моей просьбе Д. изобразил (верно) в натуральную величину этот орден, что явилось еще одним свидетельством в пользу достоверности его версии.

4. Обсуждение результатов теста. Тестирование Д. проходило с диктофонной фиксацией всего произносимого в диалоге. Расшифровка звукозаписи содержит, однако, некоторые (далеко не все, разумеется) указания или ремарки по поводу невербальных компонентов, используемых двумя сторонами. Если предметные действия (манипуляции) и жесты-указания со стороны эксперта заранее планировались (хотя и не выдерживались точно в соответствии с планом), то невербальные реакции Д. планироваться не могли. Отсутствие видеозаписи лишь отчасти компенсировалось моими собственными пометами, система которых позволяла делать это быстро (например: М – «мимика», УЖ – «указательный жест», С – «смех» и т.д., причем цифровой индекс при букве должен был означать степень интенсивности проявления эмоционального знака: М-2, С-3 – «хохот»); тем не менее, доверять расшифровке текста Д. полностью нет оснований – она не точно синхронизирована с вербальным высказыванием и дает – особенно в том сокращенном виде, который приведен в сообщении – приблизительное представление о речевом и неречевом поведении Д. Лишь отдельные эпизоды удалось отразить полностью и достаточно точно.

То, что предстоит интерпретировать, назовем «диалогическим текстом», представляющим собой комплекс вербальных и невербальных коммуникативных знаков, примененных обеими сторонами в целях взаимопонимания в одной и той же переживаемой участниками ситуации. На деле, конечно, ситуации субъективно были совершенно разными: эксперт знал (а Д. не знал), какими действиями и в какой последовательности, с помощью каких конкретных предметов он, эксперт, будет стимулировать высказывания Д.; мотивы и способы обращения эксперта к Д. отличались от мотивов и способов обращения Д. к эксперту; эксперт сознательно и целеустремленно использовал вербальный код (немецкая речь), тогда как Д. строил свои высказывания в смешанном коде – русская языковая система, элементы немецкого языка, спонтанные невербальные знаки; экс-

перт предварительно продумал, какие экстралингвистические опоры¹ будут им введены в речевые действия и в каком коде они будут обозначены, в каких моментах диалога они обозначены не будут, чтобы вызвать речевую (в желаемом коде) реакцию партнера; эксперт превосходил некоторые эмоционально-напряженные моменты, тогда как Д. не мог к ним подготовиться заранее. Таким образом, со стороны эксперта диалог был в значительной мере «игровым», Д. вся ситуация общения от начала до конца была воспринята совершенно искренне и поддерживалась спонтанно. Если считать, что анализу подлежат семь диалогических текстов (по числу предъявлений различных реалий), то действительно объединяющим семантическим фактором для обоих коммуникантов является ключевой артефакт, диктующий общую тему последующих высказываний «в связи с ним», «по поводу него». «Тема» в данном случае используется и как единица широкой (например, дидактической) семантики, и как термин теории актуального членения, применительно, однако, не к предложению, а к каждому из семи текстов-диалогов.

Специфический момент диалогов – необходимость фиксации внимания эксперта на фактах понимания обращенной к Д. немецкой речи (но без соответствующей оценки или констатации). Эксперту необходимо было – помимо всего прочего – выявить языковую компетентность Д. в сфере аудирования. В зависимости от результатов надо было строить и все дальнейшее общение (выбор кода), чтобы получить свидетельство о сохранной части первой языковой компетенции. В связи с этим моментом, не требующим особого и подробного описания в данном сообщении, следует подчеркнуть очевидный факт: Д., считавший, что полностью утратил немецкий язык, что «ничего не понимает по-немецки», адекватно ориентируется в ситуации общения и адекватно реагирует на «схваченные» им не только отдельные (ключевые) слова, но и на целостные немецкоязычные высказывания. Читатель сам легко отыщет такие моменты в тексте. В ряде случаев Д. удавалось понимать обращенную к нему немецкую речь без каких бы то ни было экстралингвистических опор, которые бы семантизировали сказанное.

Что касается активной смешанной русско-немецкой речи Д., то она в ходе тестирования обнаруживает несомненную динамику. Во-первых, достаточно сравнить немецкоязычные фрагменты в речи Д. на разных этапах. На этапе предварительного освоения метода беседы им произнесены отдельные слова (да, правильно, да-да), сделаны не вполне удавшиеся попытки имитации

¹ Все предметы, «втягиваемые» в коммуникативные акты, становящиеся объектами или средствами обсуждения, стимулами высказываний, называются нами «экстралингвистическими опорами».

единиц речи эксперта. Уже во втором диалоге (по поводу реалии 1) появляются отнюдь не самые частотные единицы языка из сферы «рода войск» или «вооруженные силы»: сильные стимулы (марки) активизировали в памяти давно (свыше 40 лет) не употреблявшиеся единицы (торпедный катер, танки, горные стрелки), не игравшие во взрослой жизни Д. никакой существенной роли. Однако, в возрасте подростка, да еще будучи филателистом, Д., несомненно, интересовался предметным содержанием серии «военных марок», от кого-то слышал термины (интересна автокоррекция по поводу «горного стрелка»: вначале было дано, видимо, «общегражданское» наименование изображенному егерю, а затем – терминологическое, уставное).

Во втором диалоге происходит нечто похожее: поздравительные открытки (надписи Д. вначале вообще не читал, а на почтовых марках их и не было) стимулируют активизацию в памяти стереотипных вербальных реакций, хотя они не соответствуют последовательности предъявляемых открыток: открытка, содержащая поздравление с рождением праздника, была первой, пасхальная – третьей. Впервые появляются инициативные краткие двучленные предложения.

Своеобразный вербальный (немецкоязычный) взрыв происходит в четвертом диалоге, где зафиксировано 30 новых (сравнительно с прежними) лексических единиц, 6 полных предложений (одно сложносочиненное) и одно уникальное (видимо) клише, соответствующее названию летнего кабачка. Чрезвычайно интересно другое клише, воспроизведенное Д. (из обращения кельнера к его отцу), – простонародная форма вежливости, соответствующая, видимо, русскому «Чего ваш сыночек изволят?»

В пятом диалоге несколько удивляет, что Д. не использует бытовые названия посуды на немецком языке (уж они-то должны были активизироваться в памяти), но вспоминает – в спонтанной речи, без всяких усилий – афористичное высказывание (Порядок должен быть), которое он приписывает своему отцу: скорее всего, этот ходячий лозунг многократно воспроизводился людьми, окружавшими Д. в довоенное и военное время. И все же следующая фраза (Счастлив я был тогда, дружище, счастлив) и сугубо уместный ответ на реплику эксперта, стремящегося его успокоить («Нет, я не заплачу. Не бойся, я больше не буду плакать»), – это верные по синтаксису и по выбору единиц инициативные высказывания, составляющие которых не подсказаны единицами из речи эксперта, ни в какой мере не являются их имитациями. В определенном смысле эти высказывания более самостоятельны, чем те, что возникают в седьмом диалоге (в связи с картой), а поэтому остается лишь констатировать факт, не пытаясь прикрыться тривиальным объяснением. Полагаем, что можно было бы представить процесс порождения текстов Д. как

не вполне симметричную синусоидную волну, «гребень» которой составляет 4-я тема (отчасти 5-я и 6-я), «вершина» обнаруживается, пожалуй, на 7-й теме (когда появляются подряд – без русскоязычных включений – 10 немецкоязычных предложений), после чего последовал незапланированный диалог Д., в котором буквально на глазах разрушался ранее достигнутый уровень владения восстановленной частью немецкого языка. Психологическая и энергетическая демобилизация, последовавшая за окончанием теста, «убрала» и главную мотивацию для напряженного умственного и волевого усилия Д.; закончились и предъявления сильных стимулов – образов «прошлой жизни» с ее языком, исчерпались эмоциональные всплески, сопровождавшие сильную положительную мотивацию речевой деятельности с использованием некогда родного коммуникативного кода. Определенное значение имело прекращение действия стимулирующего (и суггестирующего) фактора – участия эксперта в диалоге.

Переходя от общей картины к ее интерпретации, необходимо отметить, что автор придерживается единственно убедительной и никем не опровергнутой с 60-х годов гипотезы Н.И. Жинкина [1964] относительно механизмов порождения текста (высказывания). В дальнейшем эта гипотеза была дополнена и уточнена в работах А.А. Леонтьева [1969], Т.В. Ахутиной [1989], Т.Н. Наумовой [1985], А.А. Брудного [1968], она развивалась также и в трудах других специалистов – А.Н. Портнова [1988] и автора настоящего сообщения. Согласно этой гипотезе и положениям работ ее последователей, мышление осуществляется на невербальном уровне (исключая случаи мысленного проговаривания, своеобразной репетиции предстоящего диалога или монолога), в универсально-предметном коде. Информативные кодовые единицы, функционирующие на мозговом субстрате, имеют изначально образно-следовый ассоциативный «слой», своеобразную «основу», причем разный «толщины» («мощности»). Например, единице этого уровня соответствует, скажем, единица внешнего (коммуникативного) кода «Николай», или «Москва», или «то яблоко, которое лежит сейчас передо мной», или «мотив, который я сейчас мысленно напеваю». Ансамбли кодовых единиц этого уровня составляют нашу образную память. Но образный «след» любого типа имеет еще и приращенную к основе «ткань потенциального обобщения» элементарного протопонятия, позволяющего сравнить «Николая», «яблоко», «Москву», «данный мотив» с другим следом («Александром», «грушей», «Гродно», иным мотивом) и, выявив сходство, производить обобщение на протопонятийном уровне. Этот уровень, очевидно, доступен животному (предметно-конкретному) мышлению, но без него невозможно представить иерархию последующих уровней, единицы которых отличаются все

меньшей «мощностью» слоя, ответственного за конкретный образ, и все большей «мощностью» слоя, ответственного за усиление абстракции от «единичного» в сторону «особого». Единицам глубинного кода соответствуют внешне коммуникативные единицы типа «имя существа мужского пола», «плоды», «одежда», «мебель», «города», «любая мелодия». Ансамбли кодовых единиц мышления этого уровня составляют нашу понятийную память, все еще тесно связанную с образным слоем. Продолжая восхождение к абстракциям высших уровней, мы дойдем до их внешне-коммуникативных соответствий типа «свойство», «предмет», «состояние», «отношения», «пропорциональность», «конструкт» и т.д. и т.п., которыми мы с большей или меньшей ясностью оперируем, не «опускаясь» до переживаний связи этих единиц с конкретными образами. Однако ясно, что понять семантику этих единиц и их сочетаний мы не можем иначе как «спустившись» достаточное количество раз к исходному уровню и не иначе как на базе именно этого и последующего (над ним) уровней. Ведь овладение языком начинается с усвоения слов, которые могут быть семантизированы остенсивно, а не со слов «свойство» или «отношение». Кроме того, и эти обозначения абстрактностей сплошь и рядом используются нами не в их полных потенциях, а, скажем, в сочетаниях типа «Вася и Галя испортили отношения», «свойства натрия», «состояние здоровья дяди Миши», «Тетя Клава — предмет воздыхания соседа», «специфические пропорции человеческого тела у Эль Греко» и т.п. Здесь связь с конкретностью делает все составляющие сочетаний вполне конкретными, зримыми или представимыми с помощью иных рецепторов и анализаторов. Поэтому даже самый «тонкий» слой образности у любой единицы может активизироваться, вступать в разнообразные ассоциации любой «степени образности». А т.к. единицы внутреннего кода прикреплены к единицам кода внешне-коммуникативного (впрочем, реально в генезисе «прикрепление» осуществляется в обратном порядке: к образам-следам и их ассоциациям прикрепляются позднейшие второсигнальные эквиваленты), то разнообразные ансамблевые сочетания на уровне УПК приводят к соответствующему семантическому сочетанию внешне-кодовых единиц, и наоборот. Поэтому мы вправе констатировать эффекты «оживления образности» в поэтическом сочетании или, напротив, скорбеть по поводу полнейшей дестимологизации слова в сочетаниях из «сокровищницы» канцелярита. Представляется, что в первом случае активизируется как раз образно-следовой слой внутрикодового эквивалента словосочетания, а во втором — «распредмеченный» или «опустошенный» слой. А поэтому, скажем, «Твое лицо в его простой оправе» (А. Блок) — это поэзия оживления семантики слова «лицо», а

«предлагается выставить кандидатуру лиц» (М. Зощенко) – это «опустошение», «распредмечивание» семантики того же слова. Думается, что единственный механизм этих процессов следует представить себе как активизацию разных «слоев» кодового эквивалента одной и той же внешне-коммуникативной формы русского языка (лицо). И то, что мы называем «разными значениями», «разными стилистическими оттенками» одной и той же единицы, «реализуемыми в разных контекстах», есть активизация того или иного «слоя» данной единицы под влиянием адекватных (интенции говорящего) «слоев» единицы окружения. Или же: активизация соответствующего интенции «слоя» ключевой единицы индуцирует выбор и активизацию нужных «слоев» единицы окружения. При стилистической глухоте и хорошо известной диффузности представлений, при плохом владении языком может вообще не быть избирательной интенции (как может не быть и субъективной оценки ключевой единицы). Тогда к ключевой единице «присоединяется» наиболее вероятный ряд (и получается клише) или случайный ряд из разных стилистических слоев, и мы получаем эффект речи персонажа М. Зощенко, где «паразит» соседствует с «индифферентный», а «рванные портки» – «параллельно с этим».

Говоря о «прикрепленности» набора различных единиц коммуникативного кода к их внутренним эквивалентам, т.е. реальностям «глубинных структур» [Горелов 1987], мы имеем в виду возможность выбора семантико-синонимических, т.е. различных по форме, средств выражения одной и той же (по ансамблю «слоев») мысли. В случае идеального билингвизма, т.е. не субординативного, а координативного, с полным равноправием средств выражения формами разных двух языков одного и того же смысла («мысли») мы должны считаться с организацией в «памяти языка» двух независимых друг от друга вторых сигнальных систем. При нарушении этой независимости неизбежна межъязыковая интерференция. Реально такой координативный билингвизм, по-видимому, не описан со всей строгостью, но существует в нашем представлении, как существует в нем же возможность произвольного (или даже полубессознательного) «переключения» с одной системы на другую. Вероятно, нечто похожее имеется в языковых системах (и, конечно, в интеллекте) синхронных переводчиков высокого класса, по крайней мере, в рамках той сферы специального перевода в которой они работают.

Еще Л. Леше, учитель двух (французского и немецкого) языков киевской гимназии, ознакомившись с работами по афазии у двуязычных больных, несколько категорично (но вполне в духе тогдашнего уровня знаний в этой области) выразил мнение о том, что обучение иностранному языку следует организовать именно исходя из

возможности создания независимых языковых систем; и только в этом случае можно избежать интерференции. Средством осуществления цели должна стать, по мнению Леше, система «натурального» (позднее – «прямого») метода, при котором наблюдаемые предметы и ситуации описываются на новом языке, «минуя родной»; грамматико-переводный метод при этом должен быть отброшен, грамматика вводится интуитивно (из практики употребления), артикуляционная база остается постоянно одноязычной и т.п. Как и все создатели отечественного и зарубежного «натурального» («прямого») метода, Л. Леше требовал от учителя иностранного языка не только полного знания предмета (свободного владения языком в речи, при чтении и на письме), но и умелого владения методикой использования средств наглядности, опираясь на которые, учащиеся без особого труда смогут понимать произносимое и читаемое. По существу, Леше требовал приближения учебного процесса к естественным условиям коммуникации и введения того, что я называю ЭксЛОП («экстралингвистическая опора») в процессе одноязычного коммуникативного обучения. Будучи, на мой взгляд, совершенно правым в методических требованиях, Леше ошибался, полагая, что интерференции можно будет избежать «почти сразу» [Леше 1910: 19]. Чрезвычайно любопытен тот факт, что совершенно независимо от методики обучения иностранным языкам и без всяких знаний ее истории, афазиолог (практик и теоретик) Э.С. Бейн разработала абсолютно аналогичную методику восстановления речи при афазии с использованием средств наглядности и других «внешних опор», назвав свою методику «прямым методом» и противопоставив ее традиционной (до сих пор, кстати) «беспомощной методе конструирования фраз из отдельных слов при помощи грамматических правил, которые больные не осваивают» [Бейн 1964: 20]. Иными словами, механизм разрушения второй сигнальной системы при тотальной и других формах афазии (кроме моторной в легкой степени) заключается в нарушениях связи между образно-следовой памятью (протопонятия, элементарный уровень УПК), с одной стороны, и «памятью слов» – с другой. Сейчас мы не вдаемся в иные аспекты нарушений (например, межуровневые в самом УПК), а указываем лишь на главное. Сохранность интеллекта при афазиях – это доказанный факт [Горелов 1977], но его функционирование без помощи собственно коммуникативного кода языка – тоже факт. Следовательно, в таких случаях человек может опираться лишь на УПК, на то, что было в свое время названо «функциональным базисом речи», и на сохранившиеся в памяти и моторике стереотипы поведения.

В случае с Д. мы имеем полностью сохранившийся интеллект и коммуникативную систему в виде русского языка. Элементы родно-

го языка (немецкого) явно не стерлись полностью, но лишь сильно «потускнели», будучи вытесненными второй коммуникативной системой. Мотивировать субъективно «оживление» прежних связей Д. практически не мог, т.к. его личность была в течение десятилетий «вписана» в новую среду обитания и социальных отношений, обслуживаемых исключительно русской речью. Это значит, в частности, что реалии жизни в СССР были накрепко связаны в его сознании и подсознании с русскоязычными их обозначениями, с русскоязычными системными ассоциациями. Даже при помощи извне, при помощи эксперта или учителя, и перспективе «перемены жизни в случае успеха» процесс «переименования» с использованием только средств некогда родного языка был бы обречен на длительную и болезненную ломку, вряд ли отличался бы существенно от процесса обучения немецкому языку носителя русского. Другое дело – создание ситуации общения, в которой необходимо произвести не «переименование», а вспомнить существующее в памяти (хоть и загнанное в ее глубины) имя, которое было (единственное!) прикреплено только к данному предмету и не имеет подходящего аналога в русском языке. К тому же в русской культуре нет соответствующего артефакта, чем, собственно, и объясняется отсутствие имени. Поэтому главная задача теста – найти и предъявить испытуемому ряд таких артефактов, которые уже давно не существовали в его повседневности, но обязательно наличествовали в той жизни, в которой вещь могла быть связана исключительно с ее названием в системе родного языка; только в случае удачной находки такого рода можно было бы надеяться на решение сверхзадачи – оживления элементов родного языка.

Нельзя упускать из виду еще одно важное обстоятельство: слово не существует в словарной форме изолированно от других – если мы имеем дело не со словарной единицей, а со словом в языковой памяти человека. Именно поэтому решение кроссворда возможно: нам дан тематический фрейм, контекст, из всего набора «по теме» мы выбираем единицу, чьи параметры (число букв, наличие беспорной буквы на пересечении слов) также даны.

Если слово нам понятно, то только потому, что употреблялось в реальной ситуации в связи с другими, было в других текстах. Стало быть, если некий артефакт имеет название и если он был объектом значимых для субъекта действий, то и само его название вступало в сочетания с другими словами того же языка. Специфичность данного артефакта сопровождается специфичностью связи его наименования с другими языковыми единицами.

Можно показать на примере, в чем состоит эта специфичность, даже если подобные друг другу артефакты существуют в соседних

культурах, но отличаются каким-то свойством. В нашем опыте русскоязычные студенты немедленно назвали предъявленный им предмет (сапожок для мелочей, издавна изготавливается в России и СССР, как правило, из фаянса или дерева), после чего по моей просьбе составили ряд ситуаций – предложений, где встречались сочетания «положила пуговицу в сапожок», «кинула кнопку в сапожок», «вытряхнула содержимое сапожка, чтобы найти пуговицу» и т.п. На вопрос, можно ли найти пуговицу среди других мелочей, не вытряхивая сапожок, был дан единодушный отрицательный ответ с примечанием: «Если, конечно, не вынимать все мелочи поочередно, но это долго, никто так не делает». Немецкий текст «Я посмотрела, нет ли ключика в сапожке, увидела, что, к счастью, он именно там и был, и я высыпала все содержимое на стол, схватила ключик и открыла шкатулку» был признан «странным»: не ясно, как можно было увидеть ключик». После этого я показал студентам типичный немецкий сапожок для мелочей, изготовленный из прозрачного стекла для того, чтобы можно было увидеть нужный предмет, не высыпая всего содержимого. Следовательно, словосочетание «увидела, что ключик в сапожке, а потом высыпала содержимое» есть типично немецкое (может быть, не только немецкое?) словосочетание. В тестах с Д. воспоминание о названии вещи приводило к оживлению и других ассоциаций, тянуло за собой и другие немецкие слова, чего и хотелось достигнуть. В другом опыте со студентами предлагалось интерпретировать текст на немецком языке, где был такой фрагмент: «Она поставила мышку на исписанные листки и побежала к телефону». По ситуации студенты догадались, что мышка – это пресс, прижимающий листки к столу, мешающий им разлететься от сквозняка. Но догадка пришла только после того, как я обратил их внимание на абзац, предшествующий фрагменту: «От раскрытого окна сильно дуло, приятно охлаждало щеку и затылок. Ей показалось, что ветерок подгонял ее руку. Два листка было уже исписано». Дальнейшая беседа со студентами показала, что краткого словесного определения инокультурной реалии совершенно недостаточно для формирования достоверного образа: реальная мышка была бронзовой (студенты считали ее черной и чугунной), маленькой (она представлялась большой), имела вертикальный хвостик, удобный для манипуляций с ней (хвост в образе был вылит вместе с туловищем, не выходя за его контур). Но главное, на что необходимо обратить внимание, – в немецком языке реальны специфические синтагмы типа «поставить мышку», «мышка на листках», которых нет и практически не может быть в русском языке. Поэтому правы, безусловно, те, кто требует изучения языка в самой тесной связи со страноведческим материалом: текст может соответствовать в полной

мере нормам языка, если реальность, стоящая за текстом, соответствует нормам культуры (включая реалии повседневного быта, «мелочи»), причем последние первичны, как первичны и образы вещей относительно их названий. Само собой разумеется, что в случае с Д. следовало иметь в виду непосредственное воздействие вещи на эмоциональную сферу Д., памятуя, что эмоция всегда предметна, т.е. чем-то вызывается, стимулируется. А поскольку это «что-то» может быть не вполне сознаваемым, надо было, напротив, вывести в поле ясного сознания явно значимую вещь, играющую в определенном смысле роль символа широкого круга других вещей, опоры для другого вида деятельности, включая речевую. Предмет должен был сыграть текстообразующую функцию на правах темы, в связи с которой должна была быть названа тема, предикативная часть диалога с ее типичными составляющими: какое это, для чего оно, что об этом я могу сказать.

В экстремальных условиях, созданных для Д. обстоятельствами его жизни и подчеркнутых экспертом ради необходимых следствий, Д. не должен был и не мог контролировать свои реакции полностью, пытаться выглядеть респектабельно, постоянно рефлексировать. Его частная, но очень важная задача заключалась в мобилизации внимания и всех ресурсов памяти только в связи с необходимостью использовать забытый немецкий язык. Реальная форма этих реакций определялась социальным статусом, образованием (практически минимальным, т.к. после 11 лет Д. не учился нигде систематически, освоил чтение на русском языке, как и письмо, в лагерях) и эмоциональным состоянием, близким к стрессовому. Уже поэтому неизбежными текстообразующими элементами Д. были невербальные компоненты, появившиеся в полном диапазоне, данном М. Аргайлом (ссылаюсь на него по работе А.Н. Портнова и Т.А. Силич), исключая «жесты при исполнении ритуалов» и «непосредственный телесный контакт» [Портнов, Силич 1990: 19]. Практически непрерывно в текстообразовании участвовали неречевые фонации (изумления, радости, печали, сомнения, напряжения и пр.). Чрезвычайно богатыми были мимические выразительные движения, классифицированные практически исчерпывающе К. Леонгардом [Leonhard 1976]. В силу темперамента Д. и сильного его возбуждения в период тестирования (особенно при первоначальном знакомстве с предъявляемыми предметами) самым широким и разнообразным спектром были представлены жесты и телодвижения, например, дейктические жесты, эмоциональные, а также персонально характеризующие партнера-коммуниканта (Д.). В приведенном описании довольно часты (на деле их было значительно больше) ритуальные клише, превратившиеся в междометия (поскольку для верующего католика,

которым остался Д., поминание Бога всуе – грех, фрагменты этих клише или полная их форма не может быть истолкована иначе). Весьма интересно, что в 7-м диалоге фигурирует не только повторяющийся междометный комплекс ритуального происхождения, но и фрагмент из «Отче наш» на немецком языке (...der du im Himmel), чего сам Д. не заметил. После тестирования выяснилось, что он на немецком языке не помнил ни одной молитвы, в лагерях же молился на русском языке, выучив с помощью заключенных-баптистов несколько формул и молитв.

То, что мы уже называли ЭксЛОП, играло роль формальной и текстообразующей (т.е. и смысловой) темы. Но в дальнейшем, судя по структуре высказываний Д., по его жестикуляции, взглядам, направляемым на тот или иной предмет, последний (превращаясь в знак) мог играть роль различных членов предложения – от обстоятельство места и времени до прямых и косвенных дополнений.

«Взглядовые», жестовые и мимические невербальные компоненты в ряде случаев (особенно в диалоге по поводу пребывания Д.-ребенка в Галле в кабачке «У трех шальных пуль») были, по существу, главными текстообразующими элементами, придававшими всему остальному (фрагментам русской и немецкой речи) связность и семантическую целостность. Но так как эти компоненты приобретали смысл лишь в связи с предъявленными предметами, то последние, бесспорно, также следует считать текстообразующими структурами высокоинформативных семи текстов.

Для решения экспертной задачи одинаково важны, конечно, как обширные русскоязычные, так и скупые немецкоязычные высказывания Д. Но очевидно, что фигурирующие в коммуникативном акте предметные реалии выполняют – как и вербальные части – ведущую текстообразующую функцию. Без обращения к ним общий текст обнаружил бы самые существенные семантические и синтаксические лакуны.

Читатель-специалист, надеюсь, найдет в представленном сообщении достаточно материала для дальнейших психолингвистических, социолингвистических и других размышлений.

ПРОБЛЕМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА¹

Лингвистика, неотъемлемая составляющая теорий коммуникации и информации, как это ни покажется странным, играет весьма пассивную роль в разработке необходимых программ, планируемых, реализуемых и анализируемых кибернетиками.

Работ, серьезно затрагивающих актуальные лингвистические проблемы, в кибернетической периодике и в монографиях по кибернетике гораздо больше, чем собственно лингвистических работ, затрагивающих проблемы кибернетики в аспекте лингвистического обеспечения искусственного интеллекта (в дальнейшем – ИИ) и даже в аспекте машинного перевода. Если не считать статьи Р.Г. Пиотровского [1981], то за последние пять лет в наших академических журналах лингво-филологического направления не появилось ни одной работы подобного рода.

Причин сложившегося положения, полагаю, достаточно. Многие лингвисты не желают заниматься кибернетикой не только (и не столько) потому, что надо доучиваться, приступая к чтению кибернетической литературы, привыкать к новому понятийному аппарату; в гораздо большей степени следует, на мой взгляд, объяснять своеобразную «кибернетическую аллергию» лингвистов тем, что они не знают, насколько лингвистична проблема ИИ, насколько ее решение способно служить интересам «чистой» лингвистики – во всех ее частных аспектах и в ее методологических основаниях.

Не следовало бы забывать, что именно прикладные задачи обучения языкам породили плодотворные лингвистические идеи, реализованные в наглядно-тематических и в частотных словарях, транскрипционных системах, перечнях речевых структур, сравнительно-типологических исследованиях. И разве не методике обязаны своими достижениями лингвисты, взявшиеся изучать языковые смещения, начинающиеся в речевой интерференции? К сожалению, мало еще лингвистов, заглядывающих в историю собственной науки. Но такой подход лишает возможности своевременно видеть и перспективы.

В новой работе Ю.Н. Марчука [1983], где автор – его же словами – «неизбежно касался сложных лингвистических проблем», можно познакомиться с весьма характерными обстоятельствами, опреде-

¹ По изданию: Горелов И.Н. Проблема лингвистического обеспечения искусственного интеллекта // Вопросы языкознания. М., 1984. № 5.

дившими всю историю теории и практики машинного перевода: на всех трех этапах (1946– 1957 гг., 1957–1967 гг., 1967 г. до настоящего времени) сложнейшие лингвистические проблемы пытались и пытаются решить кибернетики. Они прошли долгий и весьма трудный путь, оказавшийся – при всем энтузиазме и при всех бесспорных достижениях – чреватым радикальной сменой воззрений. В начальный период было мало «ясности в вопросе о возможностях и границах формализации применительно к такому сложному общественному интеллектуальному феномену, каким является естественный язык» [Марчук 1983: 19]. Сегодня приходится делать вывод, что «поручение составления алгоритма перевода математикам вообще бессмысленно» [Там же: 10]. Можно предположить, что «бессмысленно» – из-за отсутствия у математиков фундаментального лингвистического образования, что, как правило, соответствует действительности. Но если касаться начального периода развития теории и практики машинного перевода, то главное заблуждение математиков сводилось к убеждению, что лингвистикой разработаны, конечно, не только общие теории языка в целом, но и строгие частные описания отдельных национальных языков и их специфических признаков, причем так, что их возможно свести в справочники, подобные таковым, скажем, в инженерной физике или в строительном деле. «Приходится сожалеть, – пишет Ю.Н. Марчук, – что лингвистическая теория в части автоматической обработки текстов не располагает на сегодняшний день такими выводами, которые могли бы составить содержание таких справочников» [Там же: 7]. Но, право же, нет необходимого содержания и нет таких выводов отнюдь не только «в части автоматической обработки текстов»! Ю.Н. Марчук справедливо отмечает, что «к лингвистическим моделям предъявлялось два требования – последовательность и непротиворечивость выделения существенных свойств лингвистического объекта, с одной стороны, а с другой – способность объяснять наблюдаемые факты и предсказывать ранее неизвестные свойства объекта» [Там же: 13]. Абсолютно справедливо желание автора «дополнить эти два требования также и третьим, а именно: лингвистическая модель должна воспроизводить языковые и речевые объекты... строение модели имитирует строение объекта тогда и только тогда, когда воспроизводятся некоторые (скажем точнее: существенные.– И.Г.) характеристики этого строения» [Там же: 14]. Но ведь надо признать, что и первые два требования лингвистика не всегда выполняла.

В распоряжении математиков, приступавших к разработке теории и практики машинного перевода, вместо ожидаемых справочников оказались словари и грамматические описания в терминах членов предложения и частей речи. Математики были уверены в строгости

этих терминов с их многовековой традицией, подтверждаемой как будто бы и школьным обучением. Но «именно в «априорности» и сила традиционного учения о частях речи – выверенная веками возможность охарактеризовать любой объект, – и его слабость, открытость для критики логических основания, лежащих в основе классификации» [Милославский 1981: 41]. А вот еще: «Сеть членов предложений плохо служит улавливанию его конструктивных основ... Сама возможность и высокая степень вероятности различных синтаксических характеристик одних и тех же конструкций подтверждает неадекватность системы членов предложения и их критериев синтаксической действительности» [Болотова 1982: 24-25]. Спрашивается, что могли сделать математики с таким «справочным материалом»? Ю.Н. Марчук, основываясь на нынешних результатах машинного практического перевода, приходит к выводу, что «члены предложения являются универсальными семантическими эквивалентами в области грамматики, данными по тексту», чего нельзя сказать о частях речи, и что «русским язык является единственным языком, систематически освещенным с позиций частей речи и членов предложения» [Марчук 1983: 65]. Но как же быть, во-первых, с таким фактом, что вне пределов членов предложения остаются, например, союзы, предлоги, междометия, частицы, ряд наречий? Как использовать «универсальные семантические эквиваленты в области грамматики» по отношению к таким регулярным и высокочастотным «не-членам предложения»? Как их использовать, если членом предложения может быть не одно слово (для машинной техники оно, как известно, определяется как «нечто между двумя пробелами в строке»), а словосочетание – с рядом «пробелов»? Как быть, во-вторых, с указанными «универсалиями» применительно к инкорпорированным комплексам или к результатам многочисленных усилий связать член предложения с частью речи единой системой критериев? Я вовсе не отстаиваю «честь лингвистики», не подвергаю сомнению цитированных положений из книги Ю.Н. Марчука. Я хотел бы, напротив, ссылаясь на эту книгу, показать, что практика машинного перевода, его программы способны проверить достоверность лингвистических построений. Приложенные к книге образцы машинного англо-русского перевода и его редакторской правки со всей очевидностью подтверждают заключительное замечание автора весьма полезной для лингвистов книги: сегодня возможно «применение машинного перевода в тех системах», где он достаточен как неотредактированный продукт в качестве лишь сигнальной информации» [Марчук 1983: 215].

На пределы возможностей автоматического перевода сегодня четко указывают и сами кибернетики: несмотря на интересные опыты

сочинения компьютером рассказов [Meenan 1980], машина никогда не заменит человека в области художественного перевода. Да это и не нужно. Необходима, однако, эффективная помощь лингвистики в чрезвычайно нужном и неотложном деле – в обучении машин автоматическому переводу научно-технических текстов и аннотированию.

«Инженерная лингвистика», «лингвистика для роботов», «лингвистическое обеспечение искусственного интеллекта» – все это выходит далеко за рамки задач МП. Обратившись к проблеме язычного диалога человека с машиной, процитируем вначале в отрывках редакционную статью из академического журнала 1982 г.: «Сейчас это направление становится одним из важнейших в теории управления и технической кибернетики. В его рамках тесно переплетаются методы, характерные для дискретной математики и психологии, математической логики и лингвистики, теории автоматов и биологии... Понимание и ввод слитной речи, распознавание трехмерных зрительных сцен, формирование сценариев поведения по древу целей, понимание текстов... Надо особо подчеркнуть, что появление интеллектуального интерфейса – единственный путь к широкому внедрению ЭВМ... Национальные программы развития вычислительной техники в ряде стран (США, Япония, Франция) уделяют разработке интеллектуального интерфейса исключительное внимание, считая, что она является определяющим направлением развития вычислительной техники в ближайшие десятилетия» [Искусственный интеллект 1982: 3-4, 7].

Судя по публикациям и аннотациям из сигнал-информации, только в 1982 г. в мире было проведено и опубликовано более 60 крупных работ, связанных с уже действующими диалоговыми системами на базе естественного языка. В этом количестве не учитываются ни роботы-сиделки, понимающие и выполняющие инструкции больного и врача (в рамках небольшого набора), ни автоматические справочные бюро различной специализации, отвечающие устно и письменно (на языке пользователя) на вопросы, касающиеся узкой области (например, номера телефонов, адреса, расписания поездов и самолетов и т. п.).

Я имею в виду только такие системы, которые способны соотносить предъявляемые им сообщения на базе тысяч лексических единиц и сотен правил их комбинирования с машинной памятью, в которой хранится большой запас экстралингвистических знаний («банк сведений»), так что экономически целесообразно использовать машину в непосредственном диалоге на естественном языке для практического обсуждения ряда вопросов. Последние могут касаться, например, степени новизны изобретения, степени достоверности сведений, наличия/отсутствия возможности получения информации

по специальным отраслям. Диалоговый режим снимает проблему языка-посредника, т.е. ЭВМ становится высокорентабельной, а искомые результаты достигаются в весьма сжатые сроки. Но, не обольщаясь, следует признать наличие и в этих системах неспособности к такому диалогу, который – даже на весьма ограниченном, «детском» словаре – мог бы имитировать диалог с ребенком (в рамках, доступных его пониманию) в полном смысле этого слова, т. е. в «человеческом режиме» общения. Не в том суть, что машинные синтезаторы речи пока не умеют передавать интонаций и тембра. Дело в количестве и качестве тех реальных степеней свободы (в комплексе человеческих возможностей), которые позволяют общаться, опираясь на предшествующий опыт, на осознание реальности ситуации и на подсознательно получаемую внешнюю и внутреннюю информацию. В результате вербальная часть может быть перестроена и варьирована в самых широких пределах (при самом бедном словаре) коммуникативных возможностей порождения и восприятия. Эта часть может пересекаться, например, со всевозможными контекстами в любой, субъективно актуальный, момент. Грубо говоря, робот может на вопрос о состоянии здоровья ответить точно и в медицинских терминах (чего не может, например, ребенок). Но робот не может на этот вопрос ответить: «– А, ничего... Не обращай внимания!» Если же заложить в программу робота такую возможность, то она будет использована вероятно, а не мотивированно. На первый взгляд, как кажется, подчеркиваемое различие не имеет значения для решения проблемы делового диалога с ИИ. Но на самом деле мы обсуждаем вопрос о соотношении вербального и невербального в речевом акте.

В подавляющем большинстве случаев практики создания ИИ, а также в исходных теоретических позициях кибернетиков (и лингвистов) интеллектуальная или же квазиинтеллектуальная деятельность рассматривается исключительно как система операций с темя знаковыми системами, которые выступают во внешней коммуникация, т.е. с языками. Большинство кибернетиков мыслит, судя по всему, в терминах информативного кода, довольно близкого к системе, например, шахматной игры. Имеет смысл задуматься, почему успехи шахматной машины, соперничающей сегодня весьма успешно с прекрасным шахматистом-перворазрядником, а подчас и с мастером, – почему эти успехи значительно опережают естественно-языковую компетенцию диалоговой машины? В свое время Ф. де Соссюр эффектно, но не слишком серьезно провел аналогию между естественным языком и шахматами, а затем и сам попал в «метафорическое поле», им же созданное, что обусловило очевид-

ный разрыв между намерениями и возможностями лингвистического структурализма.

Никто не имеет права отказать шахматной игре в творческом, эвристическом аспекте. Следовательно, нельзя отказать ЭВМ в возможностях имитировать творчество, реализовать эвристический поиск, хотя именно в этом пункте больше всего ломаются копы сторонниками и противниками возможностей ИИ. И в лингвистике не затихают споры относительно того, является ли речь творческим процессом. Точнее: почти никто из лингвистов не упустил возможности подчеркнуть творческий характер речи. Интересно, кстати, выяснить, почему не так уж много лингвистов умеет играть в шахматы на машинном уровне, но с завидной легкостью (как будто это и не творчество вовсе) многократно объяснит коллегам суть и детали своих профессиональных достижений. По мнению Л. Чейфа, «лингвистика... должна принять к сведению, что четкой или автономной семантической структуры в основе речи (или предложения) не может существовать. Речь – это творческий процесс, посредством которого лежащее в ее основе знание, в значительной степени аналогичное по своей природе, выкристаллизовывается в пропозиционные и языковые структуры» [Чейф 1983: 72].

С помощью социолингвистического обследования достаточного массива художественных текстов можно доказать, что авторская индивидуализация речевых стилей персонажей достигается в основном не через индивидуальные дифференциации, а через дифференциации между социальными (возрастными, половыми, образовательно-культурными, общественно-иерархическими и пр.) группами персонажей. И если бы, к примеру, горьковский Барон разговаривал не с Сатиным и не с Настей, а с другим Бароном, стилисту пришлось бы туго в попытках показать, как существенно отличаются речевые характеристики обоих Баронов.

Л. Чейф прав, подчеркивая эвристический характер речевого соотнесения (при порождении и восприятии сообщения) достаточно стабильных поверхностных структур с достаточно нестабильными ситуациями общения. Различные ситуации психически группируются в типы по принципу аналогий. И по тому же принципу используются речевые структуры. Именно отсюда и возникают наши речевые (и языковые) ритуалы-клише в условиях, например, повторяющихся – по смыслу – ситуационных типов («приветствие», «прощание», «поздравление», «выражение благодарности» и т.д. и т.п.) – вплоть до зачина и концовки в рецензиях на статью. Но следовало бы конкретно выявить удельный вес и соотношение творческого (в плане, предложенном Л. Чейфом) и рутинного в текстах, соответствующих ситуативным типам, внутри них. Можно предполо-

жить, что ситуативным типам будут соответствовать достаточно типизированные наборы средств выражения, внутри которых можно будет найти варианты с разными вероятностными характеристиками – от самой малой до самой высокой. Представим себе теперь, что «банки сведений» диалоговых систем блокируются не со словарями естественного языка и не с его грамматикой, а с наборами готовых средств обозначения и выражения фрагментов знаний. Допустим также, что ЭВМ располагает способностью распознавать (по признаку, скажем «ключевой единицы» или нескольких «ключей») тот или другой вариант записанного в ее вербальной памяти типа. Тогда построение диалога «человек-машина» будет самым существенным образом облегчено сравнительно с нынешним, где используются самые сложные (самые уязвимые поэтому) принципы пословного конструирования. Существующие организации словарных единиц (вместе с «банками сведений») в так называемые «фреймы» тематического типа, конечно, гораздо лучше, чем на «дофреймовском» этапе. Но и фреймы не могут решить дела: уж слишком сложны для машины самые разнообразные и неоднозначные правила использования каждого слова. Полагаю, что сам уровень понимания и использования языка машиной (языка, предназначенного для коммуникации в диалоге, т. е. естественного языка) останется прежним, низким, если фреймы останутся прежними. Отсюда ясно, что без лингвистического решения совершенно новых (и для лингвистики – тоже) задач описания речевых структур в ситуативных типах создателям диалоговых систем ИИ не обойтись. Пусть на начальной стадии наборы будут бедными, жесткими. Но они составят корпус «деловой прозы», на практичность которой указывали не раз А.П. Ершов и его коллеги [Ершов 1981: 109-119].

Что же касается творчества в речевой деятельности, то оно сводится, как правило, к эвристическому исследованию типа ситуации, типа высказывания и совмещения второго с первым – при использовании комбинаций из готовых элементов языка и речи.

Следует отметить, что «материальная символическая система», о которой пишет один из крупнейших современных американских кибернетиков, Т. Виноград [Виноград 1983], – это то же самое, что универсальный предметный код (УПК) Н.И. Жинкина, о котором он сообщил читателям «Вопросов языкознания» 20 лет назад [Жинкин 1964] и о котором снова можно прочесть в посмертном его труде [Жинкин 1982: 95]. Другими словами, это «язык мозга», «внутренняя речь» (не смешивать с «внутренним проговариванием»!), функционирование которых и составляет материальный субстрат нашего мышления.

В отличие от других кибернетиков, Т.Виноград понимал, приступая к созданию своего диалогового робота [Виноград 1976], что имитация человеческого речевого поведения и человеческого интеллекта мыслимы лишь в том случае, если ЭВМ будет построена на тех же принципах взаимодействия мышления и языка (а не на операциях с коммуникативным языком, отождествленным с языком мозга!), какое имеет место у человека. Мы знаем, что отождествление языка и мышления привело вначале к гипотетической «теории лингвистической относительности», затем к попыткам ее экспериментального подтверждения и – параллельно – к внедрению ее в качестве основы для «лингвофилософии» [Альбрехт 1977]. В отечественной психолингвистике «теория лингвистической относительности», критиковавшаяся ранее многими отечественными лингвистами, была и экспериментально опровергнута [Горелов 1977, 1980] с опорой на положения Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина. А.Р. Лурия, А.А. Леонтьева и др. Любопытно, что Мохамед Хассан Абдулазиз (Кения), как и многие нынешние критики «теории лингвистической относительности» за рубежом, связывает альтернативную концепцию с усилиями Н. Хомского [Абдулазиз 1982]. Следует учесть, что первая публикация Н.И. Жинкина об УПК относится еще к 1960 году [Жинкин 1960], в связи с чем стоит только пожалеть об определенной неинформированности на фоне «информационных взрывов». Подобно человеку, робот Т. Винограда не просто манипулирует языком (английским) в очень ограниченном масштабе, а связывает вербальные инструкции от пользователя с реальной собственной практической деятельностью и комментирует ее. Он не просто «выучивает», скажем, что «геометрические тела могут быть разной формы, разного цвета, разного веса, разной величины и могут занимать разное пространственное положение» (в пределах специальной площадки, «сцены»), но и практически (с помощью телеглаза и тактильных датчиков своей «руки») выполняет инструкции по манипулированию геометрическими телами. Это значит, что данное устройство связано с внешним миром системой собственных сенсорных рецепторов («зрение», «осязание», «пространственная моторика», «гравитационное ощущение»). Слово языка, которому обучен робот, семантизировано, таким образом, не в вербальном контексте, а в невербально учитываемой ситуации, экстралингвистически. Поэтому Т. Виноград с полным правом формулирует в статье свое возражение Н. Хомскому: «Языковое употребление и мыслительная деятельность, бесспорно, оказываются в пределах сферы биологических систем (здесь автор не биологизирует ни мышления, ни языка, не отрицает их социальной природы, а имеет в виду их нейрофизиологические субстраты. – И.Г.) и приложение к ним более системно

ориентированного подхода может дать объяснения, которые выведут семантику из пределов «мистерий» Хомского» [Виноград 1983: 168]. Отсюда следует, что «внутренний язык представления знаний» ЭВМ диалогического назначения перспективнее всего формировать в «человеческом режиме» – «от живого созерцания», от практической деятельности (с параллельным языковым обучением) к абстрактному мышлению и снова к практике, на новом качественном уровне. В принципе – так же, как обучается ребенок родному языку или как О. Есперсен, будучи сторонником прямого (натурального) метода, предлагал обучать иностранным языкам. То, что это – не фантазия, а будущее (частично и – настоящее), подтверждается распространенностью термина «персептрон» в обозреваемой области [Хант 1978], функционированием устройств автоматического распознавания устной и письменной речи, самим роботом Т. Винограда.

Все практические методики скоротения, а также специальные исследования Р.М. Фрумкиной [1970, 1971], И.А. Зимней [1970, 1976], Н.И. Жинкина [1970, 1982] Н.Г. Елиной [1976], Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова [1983: 69, 75-79, 113-161] показали, что весьма многое из того, что лингвисты часто приписывают тексту (в плане его содержательности, цельности, связности на содержательном уровне), в нем не содержится. Несколько упрощая, можно сказать, что после обнаружения «подтекста» (не в тексте), «затекста» (вне текста), «предтекста» (вне текста) и «контекста» (частично вне текста) собственно текст придется рассматривать лишь как некую последовательность графических или звуковых сигналов, отсылающих реципиентов в область внетекстового. Вполне убедительно А.И. Новиков показал, что областью семантики текста следует считать денотативный уровень его организации, но эта организация раскрывается реципиенту лишь в процессе декодирования текста, в процессе его понимания (с опорой на экстралингвистические знания). Поэтому денотат «нельзя считать лингвистической единицей». Смысл текста также «не бывает полностью лингвистическим, ... так как опирается не столько на языковое знание, сколько на соотношение предметов действительности, составляющих сферу обозначаемого... Поэтому для исследования собственно лингвистических закономерностей необходим учет и всех экстралингвистических явлений, входящих в семантику текста» [Новиков 1982: 21]. Экспериментально доказана парадоксальность ситуации, которая обнаруживается в процессе чтения: «обработка некоторых слов занимает меньше времени, чем требуется для того, чтобы их прочитать или услышать» [Шенк, Левовиц, Бирнбаум 1983: 410]. Естественно, такое «чудо» может произойти лишь в том случае, если значительная часть текста реально не обрабатывается (т.е. обрабатывается на суб-

сенсорном уровне, «боковым зрением» или вполуха»), а другая часть («значимая») отыскивается по антипационной программе реципиента, которая реализуется с опережением реального процесса восприятия текстовых фрагментов. Реципиент узнает типовую ситуацию, относительно которой сигнализируют «ключевые опоры», и все с большей уверенностью находит в тексте то, что в нем «может быть», т. е. адекватное типу ситуации типовое языковое выражение. Ведь мысль (смысл), как и образ реальности, симультанны, гештальтны (комплексны), а языковое выражение их – последовательно, линейно. Справедливости ради укажем, что еще в 1968 г. русский читатель мог познакомиться в переводе с работой инженера Дж. Л. Фланагана, где говорилось, что человек обрабатывает текст не в порядке последовательного восприятия его элементов, а «целыми кусками» [Фланаган 1968]. Если действительно настало время, как утверждают Р. Шенк, М. Левовиц и Л. Бирнбаум [Шенк, Левовиц, Бирнбаум 1983], «предоставить нашим машинам те же преимущества», то это означает кибернетическое подтверждение соответствующих концепций в лингвистике текста и необходимость (для машины) выйти за рамки выученного коммуникативного языка – в область экстралингвистики.

Однако не будем забывать, что диалог с человеком требует от машины владения и поверхностными языковыми структурами. Наше предложение ввести в машинную вербальную память не отдельные единицы словаря, а наборы готовых средств выражения на уровне словосочетаний и предложений (даже и блоков предложений) не снимает задачи понимания и уместного в данном контексте их употребления. Неизбежная вариативность внутри таких наборов требует также способности идентификации, сличения реального фрагмента с эталоном, хранящимся в машинной памяти. Следовательно, робот должен уметь производить синтаксические трансформации, производить действия также и в плане анализа по НС (хотя и на уровне более сложных единиц), в плане генеративной грамматики. По этим и другим причинам кибернетики давно пытаются использовать в самом широком диапазоне уже имеющийся в лингвистических исследованиях материал, фрагменты лингвистических теорий. Достаточно указать, например, что в работе Ю.Я. Любарского [1982: 154-165] на материале М.И. Стеблина-Каменского исследовались возможности машинного опознания метафоры. В разделе под названием «Сохраняющие смысл преобразования текста» В.С. Медовой [1982] использует результаты исследований Е.В. Падучевой в области семантики синтаксиса [Падучева 1974], Работа Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова и А.М. Шахнаровича [1979] оказалась в поле внимания знакомого нам кибернетика Э.В. Попова [1982]. А в журнале

«Техническая кибернетика» показано, как введенная в машину опубликованная классификация лингвистических способов выражения пространственных отношений обнаружила неполноту и противоречивость [Варосян, Поспелов 1982: 86]. К сожалению, дело не только в неудачных частных классификациях. Если в 1974 г. признавалось, что «любые описания языка в рамках формальных теорий не адекватны большинству явлений, характеризующих язык» [Discussing language 1974: 152], то и в 1982 г. (как и сегодня) приходится констатировать: «...давно уже испытывается острая неудовлетворенность из-за отсутствия определений самых необходимых, самых обиходных понятий, начиная с понятия «язык» и кончая понятиями «предложение» и «слово». Не лучше обстоит дело с разграничением основных уровней языка – фонетики, морфологии, синтаксиса и семантики» [Кибрик 1982: 16]. Между тем в 1981 г. Н. Сейнджер показал успешное практическое применение «компьютерной» (цепочечной) грамматики английского языка», которая «работает» на базе 9500 слов, используя нетрадиционные подразделения их на классы, а также специфический метод анализа языка в целом [Sager 1981]. Судя по литературе, работа Н. Сейнджера, к сожалению, еще не получила оценки лингвистов.

Достижения в области ИИ, включая диалоговые системы, весьма впечатляющи. Конечные цели отдалены во времени, но решения промежуточных задач на этом пути уже осуществляются. Самое активное участие лингвистов в этой работе – не просто социальный заказ. Выполняя его, лингвисты взамен получают экспериментальную проверку своих теоретических построений на надежность. Научная добросовестность не может позволить игнорировать такую возможность.

ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ: ПРОЦЕССЫ И СРЕДСТВА¹

1. В процессе своей жизни люди не только общаются друг с другом и не только активно используют «ядерные» лексические единицы типа: «общение», «язык», «понимание» («непонимание»), «взаимодействие», «текст» и их синонимы, но (с разной степенью глубины) давно постигли значения этих слов, ставших для них очевидными по содержанию, форме, способу использования. Научное постижение тех же (смежных, ассоциативно вызываемых) слов-понятий столь же старо, как неудовлетворительно по результатам. Это не зачеркивает ценности предложенных моделей общения. Однако имеющийся прогресс, по-видимому, остается несоизмеримым с тем комплексом «зиганий», который предстоит еще когда-нибудь назвать «научным знанием». Ибо именно громадный всеобщий опыт общения, древность языков (а в них – лексических единиц) является одним из серьезнейших препятствий научного познания процесса общения. Позволим себе простое наблюдение на доступном материале. Просмотрим, например, еженедельник «Неделя» (16 страниц). Это издание представляет собой типичный образец средства массовой информации. Через «Неделю» ее авторы и редакция ведут опосредованный квазидialog («квази», т.к. читатели авторам «не видны», подлинной взаимности реплик и реакций не достигается ни в реальном общем пространстве общения, ни в реальном времени нормативного диалога) с читающими, т.е. осуществляют с ними некую модификацию общения. Некое число писем и редакцию, факты пересказов содержания ряда материалов в среде читателей, возможные опросы читателей – все это доказательства факта общения. Легко себе представить, что даже самый внимательный читатель, если он не из группы чичиковского слуги Петрушки, не сочтет необходимым ознакомиться со всеми текстами еженедельника. Кто-то будет привлечен рекламными объявлениями, кто-то (возможно, большинство) пропустит их. Какая-то часть будет решать кроссворды, другая – нет. В редких случаях будут изучены выходные данные, состав редколлегии. В этом проявляется качество избирательности, свойственное адресату. Но этим же качеством обладают и авторы еженедельника, и редакционные работники (кроме корректоров издательства). Каждый пишет и отвечает «за свое». Возникает вопрос: не распространяется ли свойство избирательности на принципы порождения и восприятия текстов любого типа? Речь идет о том, что и

¹ По изданию: Горелов И.Н. Проблема общения: Процессы и средства // Новости искусственного интеллекта. М., 1992. №4. С.67-87.

как в текстах любой типологии что будет изложено, что – не упомянуто, что – подчеркнуто и т.п.

Из всего корпуса словаря определенного номера «Недели» [1992, №52] выпишем и подсчитаем единицы, входящие в семантические поля «ядерных» единиц. Например, в поле «текст» попадают: «реклама», «сообщение», «прогноз», «справка», «доктрина», «корреспонденция», «материал», «статья», «информация» и еще около 80 единиц (вплоть до «звонка», которого ждет редакция от читателей, и «заказов» которые ждут фирмы).

В поле «общение» входят «разговор», и «выражение согласия», и «доказательство читательской активности» и т.п. – тоже около 80 разных лексических единиц. С учетом повторяемости получим около 1000 слов всех грамматических классов. При этом междометия на 1-й странице («Тик-так», «Тук-тук» и «Ку-ку») могут быть интерпретированы вместе с фотоклише и как сигналы, и как тексты: «Тик-так» – символ идущего времени, приближающегося к Новому году; «Тук-тук» – символ проклеивающегося из яйца (фото) совсем юного цыпленка-93»; «Ку-ку» – амбивалентное обозначение рокового отсчета времени жизни вместе с иронией по поводу надежд и пр. Как видим, огромное число слов-понятий, слов-символов, слов-сигналов составляет весьма внушительный арсенал средств метаописания: язык о языке, текст о тексте, само общение ради придачи ему заданных свойств общения же и т.д. Но все это найдено и использовано интуитивно, без изучения научной стороны организации процесса общения. В связи с этим обратимся к словарно-справочной статье, посвященной коммуникации [Горелов 1990: 233]. Эта статья принадлежит автору. Поэтому критические замечания, которые ниже последуют, являются самокритичными.

КОММУНИКАЦИЯ (лат. *Communicatio*, от *Communico* – делаю общим, связываюсь, общаюсь) – общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д. -специфическая форма «взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. В отличие от К. животных (биологически целесообразного совместного поведения, направленного на адаптацию к среде и регулируемого, в частности, сигнализацией), человеческие формы К. характеризуются гл. обр. функционированием языка – «важнейшим средством человеческого общения» (В.И. Ленин).

В этом тексте, отражающем, в частности, и условия помещения статьи в несколько конъюнктурном издании (необходимость ссылок и цитат, которые не указывают на реальные первоисточники), хорошо заметны тенденции «антире-дукционистского» толка (следует «отделиться» от «биологизаторства» в пользу социальной обусловленности в рамках исторического материализма). Поэтому еще и по

соображениям лаконизма, обязательного для данного жанра в статье не в дальнейшем никаких разъяснений по поводу коммуникации у животных.

Восполним этот недостаток с помощью разделяемых мной положений работы философа, лингвиста и семиотика А.Н. Портнова [Рукопись]. Он пишет: «В наш время, когда интенсивно ведется поиск биологических основ нравственности биологических корней искусства,... в «биологический контекст» можно включить многое, тем более, что существует достаточно большая литература, в которой «язык» самыми разнообразными связями сопрягается с «биологией»... Коль скоро мы принимаем происхождение человека из «царства животных», то мы должны признать и «естественное» происхождение общения и языка. Но не случайно, очевидно, бросается в глаза то обстоятельство, что специалисты, охотно и свободно обсуждающие преемственность интеллектов высших животных и человека, куда более осторожны, когда речь заходит о «языке». Более того, сплошь и рядом преемственность между «животным» и «человеком» в этой части напрочь отрицается. Не всегда, впрочем, последовательно. Известный лингвист Э. Бенвенист, категорически отрицающий «язык» животных (птиц, рыб, млекопитающих), готов признать существование эффектного коммуникативного средства у пчел (после анализа известной работы К. фон Фриша [Frisch 1954]. Но так как это средство устроено примитивнее человеческого языка, Э. Бенвенист предлагает термин «язык» сохранить лишь применительно к человеку, а пчелиное коммуникативное средство назвать «сигнальным кодом» [Бенвенист 1974]. Однако терминологические нюансы не снимают проблему [Панов 1980; Хайнд 1975].

Вернемся к нашей статье и приведем из нее следующий абзац: «В коммуникативной функции язык проявляет свою орудийно-знаковую функцию и сущность, благодаря чему К. становится важнейшим механизмом становления индивида как социальной личности, проводником установок данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки. Индивидуальные мотивации и формы поведения могут быть приняты социумом, если они представляют собой вариации в определенных границах; К. является средством коррекции асоциального поведения (проявления) индивида или «группы». Но «сигнальный код» – по Бенвенисту – также выполняет функцию регуляции поведения пчел (и любого другого животного, в сообществе которого обнаружены коммуникативные средства), регуляцию поведения особи и ее «социализацию». Животный социум также позволяет использовать идею индивидуального и группового, если они не нарушают родо-видовых «установок». Заключительное в цитированном абзаце предложение вполне последовательно «биоло-

гизировано»: «К. служит формированию общества в целом, выполняющая в нем связующую функцию», замена «общество» на сообщество», «стаю» или «стадо» не приводит к изменению смысла сказанного.

Человек не перестал быть животным («общественным животным»), ибо он хочет остаться животным. Вместе с тем те средства общения, которые он использует в своем социуме (а также в отношениях с животными), невозможно называть полностью «естественными», т.е. унаследованными в эволюционном понимании от животных. Часть этих средств естественна (действительно унаследована) и понятна человеку и животному, которых он приручает или дрессирует. Эти средства – фундамент **кинесики**, т.е. совокупность пантомимических, жестовых, мимических и фонационных (но не вербальных, т.е. не входящих в систему языковых знаков, т.е. не «ку-ку», не «тук-тук», не «тик-так», которые мы нашли на первой полосе ранее упоминаемого номера «Недели») средств. Сигналы-кинемы выражают эмоциональные состояния. Они имитируют (как правило, в начальной форме) намерения что-либо взять (указательный жест, редуцированный от жеста обладания), куда-либо передвинуться, что-то увидеть, на что-то отреагировать (жест избегания, например, отдергивания руки от горячего, холодного или неприятного). Часто кинемы это то, что лингвисты называют «междометиями» (фиксируя их жесткие модификации в словарях). Реально они представляют собой некодифицированные, чрезвычайно разнообразные и ситуативно (как и жесты) значимые, даже конкретно значимые, фонации.

На эти кинемы (фоно-кинемы) со временем наслонились национально-специфические кинемы и кинемы, имеющие функцию описания формы и размера некоторого объекта. Эти кинемы наднациональны в своей основе и опираются, очевидно, на когнитивную деятельность человека и на его практику «ощупывания-обследования» объекта, привлечшего внимание. Но не исключено, что танцы пчел (те «па», которые моделируют направление полета за взяткой и пр.) и жесты направления (указания), которыми мы пользуемся – одной природы.

От описательного (и указательного) жеста недалеко до рисунка дописменной истории. То и другое «воспроизводит» наблюдавшиеся объекты (причем в первую очередь по контуру). Далее легко перейти от рисунка к рисунчатому (иконографическому или иконическому) письму, где сообщения выглядят как последовательность изображений того, о чем информируется. Позднее, вероятно, возникает иероглифика с более сложными отношениями между значением и формой его фиксации, но все же с рудиментами рисунка). Наконец, возникает алфавитное письмо, где знак-буква уже не является рисунком чего-то конкретного и целостного, но, возможно, как-то все же связан с означаемым. Например, «о» – изображает артикулиру-

ший соответствующий этому звуку рот. Похожее по форме птичье яйцо называется в древнегреческом тем же звуком (откуда «оология» – научная дисциплина, изучающая птичьи яйца), в латыни название яйца начинается также с «о» (по букве и по звуку). Существуют гипотезы и относительно других букв, устанавливающие их связи с расположением органов артикуляции в ротовой полости. От этой связи звука и буквы, графического и звукового слова (что вовсе не всегда имело место, если вспомнить клинопись) можно перейти к эволюции акустического (речевого), вторичного относительно языка жестов и эмоциональных фонации, языка. Сейчас популярно мнение о произвольности языковых знаков, об их конвенциональности (условности). Наиболее сильный аргумент в пользу этого – наличие различных (в практическом и фонологическом отношении) языков, число которых доходит до 3 тыс. Но со времен Блаженного Августина (354 – 430 н. э.) не прерывается и поддерживается видными учеными гипотеза об изначальной единой мотивированности звуковой формы обозначении букв. Часть нынешних слов многих языков сохраняет корень, образованный от эмоциональных фонации, бывших некогда первыми языковыми единицами. Таковы, например, фонационные корни глаголов «ухать», «ахать», «хохотать» в русском, имеющие аналог в других языках. Корни других слов содержат имитации звучаний (вспомним «тик-так» и «ку-ку» из «Недели»). С.В. Воронин и его многочисленные ученики показали, разрабатывая фоносемантику (одну из самых новых отраслей современного языкознания), что огромное число графических единиц языков (их обследовано около 100) являются мотивированными по своей звуковой форме, а не являются произвольными, чисто условными [Воронин 1982]. Логично предположить, что каждый знак языка на начальных стадиях его развития должен был быть понятным всем, кто им пользуется. Но на той древней стадии формирования языка, когда абстрагированное от всего и вся обозначение три невозможности решить дело «общим собранием») некоторого предмета не могло возникнуть само по себе и тем более принято сообществом. Напротив, семантизированное по своей форме языковое выражение не могло соотноситься с абстрактным понятием (в таких понятиях еще не могло быть нужды). Слова типа «хрю-хрю» или «мяу-мяу» сразу вызвали представление о том, какое животное какие звуки издает. И тем же самым знаком «мяу-мяу» можно было обозначить не только фонацию, но и само животное. Не жесткая ограниченность, а изначальная многозначность присуща и такому (казалось бы, примитивному) способу словообразования. Не случайно также, что так называемые «междометные» или «звукоподражательные» корни становятся во всех развитых языках продук-

тивными основами, от которых возможно образование слов многих классов и форм: «хрип» – «хрипеть» – «хриплый» – «хрипящий» – «охрипнуть» – «охрипший» – охриплость» – «хрипловатость» – «хрипяще» – «всхрипнуть» – «хрипло» ... Отсюда следует, что в языке как средства коммуникации не просто живы некоторые «рудиментарные» механизмы, но они остаются продуктивными, хотя огромный позднейший лексикон состоит, конечно, из конвенционально принятых единиц, не мотивированных по означаемым или по способу образования (от эмоций, например). Это обстоятельство заставляет задуматься и над тем, что имитация и эмоциональные фонации – это ведь еще и уровень животных. Поэтому идея общего (в некотором смысле) функционального базиса речи и общения в целом (т.е. для человека, его предшественников и «смежников») не кажется абсурдной или совсем плохо аргументированной.

2. Л.Н. Портнов пишет: «После публикации книги Дж. и М. Биллов [Beadle, Beadle 1966] генетический код (ГК) как язык трактовали многие исследователи. Мы не будем останавливаться здесь на достаточно хорошо известных структурных параллелях между ГК и национальным языком (НЯ) [Якобсон 1983: 369-420]. Отметим, что они действительно значительны. (Мне кажется, что сейчас, почти тридцать лет спустя после упомянутой работы, гипотеза о структурных и иных параллелях перестала быть «достаточно хорошо известной»). Отождествление же ГК (и вообще «кода») с «языком» имеет очень давнюю историю; эта история продолжается, и взаимная подмена терминов стала обычным делом, что доказывается, в частности, и бытовым, газетным «синонимическим» рядом: «язык» – «код»; «информация» – «сообщение»; язык» – «стиль»; «информация» – «текст» и т.д. и т.п. – все, как в «Неделе» (которую мы анализировали выше). Вяч. Вс. Иванов, исходя из указанного сходства полагает необходимым в будущем специалистов по генной инженерии и вычислительной лингвистике «готовить на общих факультетах, где в число курсов посещаемых будущими специалистами по этим наука о дискретных системах передачи информации, должны войти и молекулярная теория эволюции сравнительно-историческое языкознание; уже сейчас подобная программа начала реализовываться на некоторых биологических конференциях [Иванов 1982]. Вяч. Вс. Иванов считает, что в данном случае структурное сходство двух систем отражает некоторые более глубокие механизмы эволюции средств фиксации и передачи информации. Нетрудно заметить, что Вяч. Вс. Иванов усиливает здесь экспликацию положения Р. Якобсона: «(Это (ГК и НЯ. – И.Г.) два фундаментальных резерва информации, передаваемой от предков к потомкам, хранилища молекулярной наследственности и языкового наследия – двух необходимых предпосылок

культурной традиции». Как следует понимать сказанное? Здесь явно речь идет не о констатации аналогии между ГК и НЯ в смысле языков с более жесткой структурой (ГК) и менее жесткой (НЯ) [Налимов 1974], но в аспекте эволюционном допускается, что структуры ГК каким-то (нам неизвестным) образом детерминируют (программируют) основные характеристики структуры НЯ, в первую очередь: построение языковых знаков из ограниченного числа исходных элементов, к которым прилагается ограниченное же количество правил. В итоге возможно создание бесконечного множества сообщений. Т.В. Гамкрелидзе закономерно (в логике его построений) вспоминает теорию четырех первоэлементов языка (Н.Я. Марр), считая, что теория эта, представляющая своеобразную структурную модель языка, весьма близкую к генетическому коду, не иррелевантна для науки и может служить иллюстрацией проявления в ученом интуитивных и неосознанных представлений о структуре генетического кода [См: Гамкрелидзе 1985, 1988]. И далее, указывая на структурные параллели между ГК и древнекитайской символической системой с ее трансформациями четырех бинарных элементов, Т.В. Гамкрелидзе пишет: «Эта символическая система, как и марровская модель языка, поразительно совпадает вплоть до количественных параметров со структурой ГК, выступающего, очевидно, в качестве их неосознаваемого субстрата. Здесь необходимо напомнить читателям, что, по Марру, вся лексика всех языков образуется из четырех элементов (сал, бен, йон, рош). Это не значит, конечно, что именно таков состав гласных и согласных у всех корней всех слов всех языков. Огромное число вариантов, однако, сохраняет те фонетические характеристики, которые представлены в каждом из трехзвучных наборов обобщенно; например, «с» – это еще и «з», и «ш», и «ж», входящие в класс спирантов (фрикативных, щелевых). «Н» – любой сонорный, символизирующий также и «м», и «л» с их вариантами и т.д. Следует также констатировать невозможность доказать или опровергнуть реальным языковым материалом современности (или с привлечением историко-языковых данных) правоту теории четырех элементов. По мысли самого академика Н.Я. Марра, в исторически обозримый (по письменности реконструируемый) период развития языка можно наблюдать либо рудименты, либо намеки на них, едва пробивающиеся сквозь толщи скрещений разных языков, формальных и семантических сдвигов в сфере лексики и грамматики. И все же значительная (по количеству) группа языковедов прилежно занималась «четыреэлементным анализом» на материале лексики функционирующих языков современности. КПД этих исследований (об этом говорилось и писалось неоднократно) – ниже, чем у тележки Кьюно. Но идея совмещения двигателя (тогда еще парового) с ко-

лесным экипажем без лошади привела менее чем через сто лет к первым автомобилям. Поэтому согласимся с тезисом о «релевантности» теории Марра для науки, если не можем пока безоговорочно его опровергнуть на основании противоположного тезиса. И продолжим статью А.Н. Портнова. «Близка к точке зрения Т.В. Гамкрелидзе, — пишет он, — позиция французского культуролога Ш. Моразе. Он считает, что мышление человека на бессознательном уровне оперирует особым кодом, представляющим собой комбинации некоторых базовых элементов. Всего существует 64 таких комбинации, зеркально отражающих ГК. Он прослеживает проявления этого комбинаторного кода в древнекитайской, древнеегипетской, халдейской традициях, в некоторых философских учениях античной Греции. Ш. Моразе полагает, что ГК не просто способен к бессознательной актуализации в филогенезе мысли, но что мыслительный код и есть инобытие ГК [См.: Moraze 1986]¹.

А.Н. Портнов пишет в начале своей статьи: «Процесс проникновения биологических (отчасти и просто «биологизированных») понятий в семиотику, лингвистику, теорию коммуникации и создания новых полей междисциплинарного синтеза (нейролингвистика, нейросемиотика, биолингвистика, биосемиотика, биопсихолингвистика и т.п.) происходит достаточно давно. И так же давно начался процесс проникновения семиотического и лингвистического инструментария и понятийного аппарата в отдельные отрасли биологического знания. Этот процесс, как, видимо, чаще всего бывает на ранних этапах становления междисциплинарных областей исследования, происходит без должного уровня методологической рефлексии. Прежде всего — рефлексии над природой изучаемой реальности, над границами применимости заимствуемых понятий, над характером знания, получаемого в данном случае и, наконец, над целями такой работы. Достаточно редко вдумываются и над тем, что может дать такого рода синтез каждой из «участвующих сторон», будет ли достигнуто (и если да, то как) более глубокое понимание природы изучаемого объекта, природы двух областей знания» [Портнов. Рукопись].

Сказанное верно. Но вот решить или даже предположить, приступая к работе в самом начале, «будет ли достигнуто» и — особенно — «если да, то как» нечто рачительное или даже просто значимое — невозможно. Либо создать все условия для раскованности научной мысли, для обмена самыми фантастическими (и «безумными») идеями, либо возвращение к «выверенным» монополярным группами постулатам. Другое дело, что нужна параллельная полная свобо-

¹ Заметим от себя, что странно, конечно. 64 комбинации четырехэлементный анализ Марра считать признаком аналогии все с тем же ГК в его количественных параметрах. Но таковы мнения цитируемых авторов — И.Г.

да критики с любой стороны всего, что высказано, и навык модального (а не категоричного) способа формулировки собственных идей. Такой навык обычен, если присутствует «червь сомнения», если жива готовность к скептицизму, обращенному и вовне и внутрь. Плодотворнее, видимо, допущение «одновременного», дуального, по сути и направленности, принципа рассмотрения, любого объекта, и принципа одностороннего, специализированного исследования с задачей (после многих «проб») этапного синтеза.

По этой причине, обсуждая проблему общения, мы не можем миновать «попутного» обращения – ни к средству общения (поэтому говорим о языке и других средствах), ни к формам общения (поэтому затронули ряд вопросов, связанных с «косвенным диалогом» через газету). Уместно после гипотезы Ш. Моразе о коде мышления как «о форме бытия ГК» вернуться к приведенной выше словарной статье, к ее продолжению: «К. складывается из коммуникативных актов (единица К.), в которых участвуют коммуниканты, порождающие высказывания (тексты) и интерпретирующие их». Здесь не сказано, что в состав «текстов» – высказываний входят все невербальные компоненты (жесты, мимика, фонации, позы, социальные признаки коммуникантов, включая их возраст, пол, одежду и пр.). Но об этом будет сказано подробнее несколько позднее. Далее: «Начальный и заключительный этапы К. средствами нац. языка (порождение и интерпретация текста, понимание) восходят к механизмам внутренней речи, ее глубинным структурам на уровне У ПК (универсально-предметный код по Н.И. Жинкину), где нац. языковая специфика нейтрализована общечеловеческими схемами смыслообразования. Напротив, в поверхностных структурах собственно К. эксплицируется высказывание (текст), где все составляющие образуют нац. языковой вербализованный продукт, призванный информировать о к.-л., идеях, интересах, эмоциях коммуникантов» [Горелов 1990: 233].

До сих пор автору этой работы представлялось, что УПК не есть и не может быть формой инобытия ГК. Последний представлялся материальной (молекулярной) структурой, ответственной за передачу (наследование) сложнейшей биологической программы от предков к потомкам, программы не только родового, но и видового способа существования. Наверняка программой предусмотрены способности к «мышлению вообще», к «знаковому поведению вообще». Программная передача конкретных специализированных склонностей, как представляется, весьма сомнительна. Мы потому и знаем о феноменах типа музыкальной одаренности нескольких членов семьи И. Баха, что такие феномены редки. Несколько чаще, видимо, проявляются сходные одаренности двух родственников (Брюлловы). Но

несопоставимо чаще наследуются биологические (расово-национальные и морфологические) признаки. Можно сказать, что однотипная родинка, цвет глаз или форма носа есть в ряду потомков признак «инобытия» данных фрагмент программы данного ГК. Внутренний код мозга, УПК мышления, несомненно, содержит некие универсалии; в комплексе, который мы только что назвали «способность к знаковому поведению», запрограммированы потребности в контактировании (точнее – к поиску контакта и к сигнализации о своем присутствии, к «призыву»). Крик, гуление ребенка – это, безусловно, унаследовано, ибо наблюдается и у глухонемых от рождения (даже у слепоглухонемых). Однако уже слоговая продукция (лепет) характеризуется системой слогов языка среды, определенными НЯ. Понимание младенцем НЯ и начала его собственной речи – это безусловный результат научения, хотя способности к научению (и в принципе, и в фундаментальных подходах типа «сличи А с Б», «найди различное в А и Б», «найди общее в А и Б» и т.п.) должны быть запрограммированы в ГК, а затем «запущены к реализации» под воздействием внешних и внутренних стимулов.

3. Н.И. Жинкин показал, в частности, что структура УПК не изоморфна структуре любого НЯ [См.: Панов 1980]. Сам УПК обязан обладать универсалиями (поэтому мышление разных людей в принципе изоморфно), которые могут в чем-то быть аналогичными структуре ГК. Но отсюда следует, что структура ГК не изоморфна структуре НЯ. Скорее всего, речь может идти лишь о каких-то нестрогих аналогиях.

В словарной статье, которая уже неоднократно использовалась, говорится: «К. в любом случае обусловлена экстралингвистическими факторами (ситуативная конкретность, presupпозиция, нац.-культурная традиция)». И далее: «а в структуре языка коммуникативных актов, в текстах вербальной природы, – спецификой лингвистического ограничения, особенностями самого средства общения». Теперь представим себе (в самом общем, резко упрощенном виде) каковы могли бы быть перспективы создания искусственно-интеллектуальных устройств, если бы структуры ГК, УПК и НЯ были бы изоморфны, и то, что ныне называется «генной инженерией» вызвало бы «мозго-мыслительные» и «нейролингвистические» действующие искусственные аналоги к жизни! Осталось бы лишь предусмотреть возможность обучения таких аналогов программам будущей деятельности и наделить их в ходе обучения (и самообучения) соответствующими базами знаний, а также наделить ИИ-системы «потребностью общения», «личными интересами», «желаниями воздействовать на себя подобного», «потребностями в самовыражении».

В нашей словарной статье нет ясного «личного момента» в связи с понятием «общение». Сказалась приверженность автора к примату «социального» над «личностным». Между тем, как сейчас уже ясно, именно биологический уровень характеризуется принципом «особь ради рода и вида», а развитой социальный «социум ради личности». Гармонизация отношений этих двух реальных составляющих, очевидно, является не только осознаваемой (или неосознанной) социальной задачей, причиной конфликтов и т.п., но и сутью объективного движения к гомеостазису системы в целом.

Возвращаясь к началу данной статьи, отметим, что указанная избирательность авторов и читателей газет, избирательность в тематике и в способах изложения информации, в оценках фактов (и в отборе самих фактов) – все это обнаруживается в любой сфере общения, в любом диалоге. Причем, чем ниже уровень интересов и сферы мотивации, тем проще («специализированней») и уже шкала выбора и тем беднее должен быть язык, все более приближающийся к «новоязу» Оруэлла и к набору клише. Здесь уместно отметить свойство орудийности языка (в смысле, близком к буквальному, – как «орудия мысли»). Язык используется как орудие воздействия и взаимодействия, а в худшем случае как орудие манипуляции сознанием и поведением. Важно подчеркнуть не бесспорную значимость НЯ в процессе развития человека, в процессе становления его мышления, в процессе общения, а как раз его «вторичность», подчиненность мыслительной системе потребностям. Важна также констатация генетической последовательности «от мысли, от практической деятельности – к языку». Именно эта последовательность, именно такая система «соподчинения» (а не система «рядоположения», тем более – не система «диктата языка») заставила сформулировать положение, звучавшее в середине 70-х в нашей специальной литературе вполне крамольно: «... экспериментально опровергается бытующая до сих пор идея о том, что человеческая психика рождается или просыпается только вместе с усвоением языка, речи. С нашей точки зрения, язык на первых порах (а не вообще – И.Г.) лишь оформляет уже сложившуюся в ее элементарном фундаменте человеческую психику, возникающую в актах предметно-практического поведения» [Мещеряков 1974: 317].

Можно сослаться и на [Горелов 1974], где, в частности, указывается на факты сохранения интеллекта при афазиях тотального типа, на возможность решения задач определенного уровня до или вне формирования речи индивида. Сходные проблемы затрагиваются и в [Горелов 1980].

Как показано Н.И. Жинкиным, мышление реализуется не средствами НЯ, а в коде У ПК [Жинкин 1982], хотя «средние и высшие

уровни» самого УПК формируются именно с помощью НЯ. Процесс порождения речи представляет собой процесс «вербализации», т.е. процесс перевода с УПК в «поверхностные структуры», т.е. в лексико-грамматическую форму данного НЯ. Только готовые клише быстро и беспрепятственно «выскакивают» из памяти при речи. В нормальных случаях проявляются паузы, их «заполнители», переформулировки, автокорреляции и др. признаки вербализации. С другой стороны, коммуникант, воспринимающий сообщение, должен иметь время и средства для эффективной «дсвербализации», т.е. для «декодирования» вербального сообщения и превращения его (в коде УПК) в то, что может быть расшифровано, понято, усвоено. Если, скажем, в простом случае сообщение типа: «Из США прислали альбом с репродукциями модернистов – сплошные подражания Малевичу, только вместо «Черного квадрата» – синий прямоугольник и красный круг» декодируется сразу (в УПК есть уже нейроаналоги образов «квадрата», «круга», «прямоугольника», схема связей между фамилией и аналогами понятий «художник», «модернизм», «США», «альбом», «прислали» и т.д.), то в других случаях восприятие может быть затрудненным ил невозможным. В УПК гуманитария нет (может не быть) ничего, способствующего пониманию сообщения типа: «Читатель, возможно, заметил, что это правило дает основание вспомнить возможность замены переменных, относящихся к квантору существования, сколемовским функциям». Изложенного достаточно, чтобы понять, почему в ходе косвенного общения (опосредованного книгой, газетой, рукописью) или непосредственного может обнаружиться «эффект смысловых ножниц» или «нуль – эффект понимания». По этой причине компонента общения – установление обратной связи – является, по существу, всегда обязательной, а коммуниканты постоянно (хотя и не всегда осознанно) контролируют эту компоненту и корректируют себя как партнера по коммуникативному акту. Впрочем, не исключены и специальные типы такой организации общения, при которых важно (кому-либо) как раз и не допускать подлинного понимания высказывания, маскировать его подлинный смысл.

4. Завершим цитирование словарной статьи. «К. может осуществляться средствами вторичных семиотических систем: языки наук, музыкальная нотация, правила игр; азбука Морзе, языки программирования в диалоге с ЭВМ или же средствами «первичных языков», трансформированных в современные виды хореографии, изобразительного искусства, кино и т.п. Понятие К. используется также в теории информации, в исследованиях, разрабатывающих проблему «искусственного интеллекта», задачи создания диалоговых систем «человек-компьютер». При этом «коммуникация» понимается как

синоним «общения». Математический и технический подход к проблематике К., наблюдаемый в концепциях К.Э. Шеннона, К. Черри и большинства кибернетиков зарубежья, создававших компьютеры 1-3 поколений, ограничивал содержание К. машинными возможностями, условиями функционирования технических систем. Последующие проекты и реализация компьютерных систем 4-5-го поколений показали в ходе их теоретических обсуждений (Н. Нильсон, Д.А. Поспелов, А. Эндрю, Дж. Симоне и др.), что при любой форме К. человеческого уровня или даже ее машинной имитации невозможно ограничиваться пониманием К. только в связи с «кодом», «шумом» (помехами в «каналах связи»), «информацией» и ее «трансляцией». При таком подходе игнорируются и факт включенности любого коммуникативного акта в совместную деятельность (речевая деятельность) (т.о. К. представляется самодовлеющей, каковой она не является). И, наконец, игнорируются все существенные составляющие К., влияющие на выбор конкретных средств «кода», на порождение самой «информации» и на способы и результаты ее интерпретации, «а процесс коллективной деятельности и на функции когнитивных структур».

Несколько упрощая, можно было бы сказать, что понимание «коммуникации» в кибернетике ориентировано на логику вычисления, а не на психологию общения, тем более – не на психологию чувств, интересов и личностных мотивов. И это при том, что для личности, которая скрывается за понятием «коммуникант», этот психологический комплекс в одних случаях может быть единственным существенным, а в других – одним из наиболее важных стимулов к общению.

Развитие коммуникативных средств начиналось с эмоциональных фиксаций потребностей. Затем появился рисунок. Казалось, что с развитием рационального в человеке условные средства символизации будут не только доминировать, но и вытеснять «наивно-чувственное» из его натуры. Алфавитное письмо (в особенности – книгопечатание) должно было бы завершить дело. Но почти сразу же в книгу пришел рисунок. Фотография оказалась достовернее описания. Фотография породила кино, которое стало цветным и стереоскопичным. И все это ради иллюзии чувственно воспринимаемого мира. Постоянно происходит движение в сторону «наивно-чувственного», желания видеть и слышать видимое. Наша сенсорика, унаследованная от животных предков, не дает нам покоя, ибо мы остаемся частью живой природы.

Интеллектуальный интерфейс, о котором так много говорят в искусственном интеллекте, еще далек от совершенства. У него должно быть лицо, он должен всматриваться в нас и понимать нашу мимику.

Он должен обладать голосом и понимать речь, сам обладая речью. Потребности, наверное, люди оставят за собой, как и мотивы и цели, как страх перед смертью, как все эмоции вообще, связанные с этим страхом и радостью жизни. Создавая компьютер будущего, мы должны понять, наконец, как мы сами умеем мыслить, говорить и общаться друг с другом.

5. Завершая статью, подчеркнем еще раз, что в области изучения процессов коммуникации сложилась несколько парадоксальная ситуация; Многие проблемы, вроде бы уже решенные, утверждения относительно которых приобрели характер «общих мест», сейчас, с позиции сегодняшних знаний, видятся под новым углом зрения. Вот один из примеров такого рода.

Н.И. Жинкин неоднократно пояснял идею своего универсально-предметного кода мышления, делая это приблизительно так. Если признано, что язык – знаковая система, а текст – знаковый продукт, то должно быть ясно: при чтении или слушании мы можем что-то понять только в том случае, если в мозгу существует некий «дешифратор». Он переводит знаки текста в особую кодовую систему. Мнение о том, что мы «мыслим на языке» (имеется в виду родной или какой-либо второй, третий НЯ) странно. Выходит в таком случае, что мы понимаем нечто неизвестное (зашифрованное) с помощью того же самого неизвестного – текст через текст или язык через тот же язык. Более логично предположить, что знаки языка дешифруются с помощью системы особого рода. В ней «оживляются» «образы», «следы», «нейрохимические аналогии» и т.п., но не слов НЯ, а семантики, стоящей за словами НЯ: «следы» впечатлений о внешнем мире, «следы» фантастических сущностей, «следы реальных свойств реальных объектов или приблизительных (или искаженных) представлений о них. Если бы не было этих «следов», то слово НЯ не выполняло бы функций той системы, которая была названа И.П. Павловым «второй сигнальной». То есть, если бы мы «мыслили на языке», то словосочетание «красный помидор» не могло бы вызвать в памяти ничего кроме словосочетания же «красный помидор». Но реально-то вызывается зрительный образ и вкусовые ощущения реального помидора!

Игнорируя положение о специальном внутреннем УПК, большинство лингвистов (в том числе и занимающихся компьютерной лингвистикой) продолжают говорить лишь о чисто языковых структурах. И то, что они называют «глубинными структурами», оказывается, чаще всего, некими абстрактными схемами, производными из «поверхностных структур» (т.е. из структур текстов на национальных языках), а поэтому обладающими практически теми же свойствами, характеризующимися теми же категориями, что реальные

«поверхностные структуры». Ошибка заключается в том, что в составе «глубинных структур» функционируют два их типа. Один, как единица УПК, отражает когнитивные, универсальные, не зависящие от специфики национального языка сущности («семантический код»). Другой, функционирующий именно там, где есть мозговой аналог «поверхностного» коммуникативного, национального языка, преобразует конструкцию УПК в систему специфических знаковых структур – аналогов предложений, словосочетаний, слов. Поэтому мы, в частности, можем, используя этот уровень, мысленно о чем-то говорить, реализовать акт речевого мышления. Но, решая шахматную или технико-конструктивную задачу, мы не можем прибегнуть к помощи мозгового аналога НЯ – он нам не поможет: нам нужны образы конкретной позиции фигур на доске или конфигурация деталей, плат, конденсаторов и т.п. К сожалению, эти результаты работ Жинкина и его последователей как раз и игнорируются большинством лингвистов, придерживающихся традиционных взглядов на процесс общения.

А ведь следовало бы задуматься над тем, как происходит овладение речью у ребенка. Оно осуществляется в раннем онтогенезе с легкостью (и без опоры на лингвистико-дидактические пособия, при слаборазвитом мышлении, при практически весьма слабой волевой сфере, при нетренированной памяти и т.п.) и с результатами (за первые пять лет жизни!), разительно отличающимися от результатов взрослых, изучающих второй язык. Необходимые эксперименты могли бы дать, наконец, ответ на вопрос о том, что из предпосылок к овладению языком наследуется, а что – присваивается через обучение. Ибо господствующая ныне точка зрения не может считаться хорошо обоснованной. Утверждения типа: «Для построения этого предложения необходимо выбрать из памяти 21 слово и применить примерно 100 правил словообразования, словосочетания, словоизменения и синтаксиса», весьма характерно для структурной лингвистики. Если данное утверждение (легко проверяемое) ошибочно, то только в сторону «уменьшения числа операций». Скорость порождения предложения, конечно, очень велика, что объясняется автоматизированным навыком речи. Но для ребенка, усвоившего сложнейший язык к моменту его пятилетия, число правил (якобы необходимых, но взятых из наших лингвистических описаний «устройства языка») вдесятеро меньше, чем сто, все равно было бы совершенно непосильным в процессе нормальной речи. И ответа на этот вопрос пока нет.

ТЕЗАУРУС К СТАТЬЕ

В следующем ниже тексте поясняются основные понятия, использованные в статье автора, относящиеся к процессам коммуникации.

ЗНАК – системный, искусственно созданный (или естественный, но искусственно используемый в заданной функции) элемент, призванный замещать собственной материальной формой некоторое понятийное содержание (относительно класса материальных или идеальных объектов, их свойств и отношений) и в этом смысле наделяемый значением, явно отличным от материальной формы самого знака. Отсюда признание двусторонней сущности знака («означаемое» – семантика, означающее – форма знака).

ЗНАК ИКОНИЧЕСКИЙ – напоминающий своей материальной формой (статичной или динамичной) какое-то свойство означаемого. Например, «крякря» фонетический комплекс, имитирующий фонацию утки, а поэтому могущий выступать в значениях «кряканье» (крик утки) самой «утки» или чего-либо «уткоподобного». Таким же иконическим знаком является жест, описывающий в динамике некий мыслимый треугольник (значения «треугольник», «форма треугольника», «любовный треугольник» и пр.), «жест размера» (значения: «такого размера», «маленький», «большой» и пр.). Иконичными могут быть составляющие искусства пантомимы, «изобразительные иероглифы» схемы пути, топографические знаки, контурные характеристики, управляющие оркестром движения дирижера (со значениями «в таком темпе», «интенсивнее», а в переносных значениях «громче», «медленнее» и пр. **ЗНАК ИКОНИЧЕСКИЙ** является мотивированным (в своей форме) по свойству означаемого.

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫМ (или ПРОИЗВОЛЬНЫМ) ЗНАКОМ является напротив, тот, чья форма не мотивирована по свойству означаемого. В цифровой системе наблюдается смешанный принцип: «единица» символизируется в «римской» системе как одна палочка, схожа с ней и единица «арабской» системы, т.е. знаки-символы иконичны. Но в «римской» системе иконичны также II, III, V (обобщенное изображение ладони с отставленным большим пальцем, которых пять) и X (две ладони, симметричные по вертикали), тогда как в знаках «арабской» системы 2, 3, 4, 5 и др. иконичности нет.

Не лишенным основания кажется и предположение, что 0 (ноль) также мотивированный знак (дыра, пустое место).

КОД – искусственно созданная знаковая система, характеризующаяся конвенционально установленными формами и значениями своих единиц, набором их возможных изменений и отношений друг к другу (парадигматика), правилами их сочетания (синтагматика). КОД относительно закрытая система жесткого типа. КОД вторичен по отношению к ЯЗЫКУ НАЦИОНАЛЬНОМУ. Введение кодовой единицы в систему возможно первоначально лишь с помощью знаков НЯ, которые, став в кодовой системе, как правило, терминами, извлекаются из различных НЯ. Можно говорить об

эволюции КОДА, но только в смысле изменений, которые производятся по воле специалистов (носителей кода) через конвенции внутри сообщества таких специалистов. КОД принципиально не может быть описан лишь средствами своих единиц. Всегда требуется привлечение знаков ЯЗЫКА. С помощью КОДА нельзя также описать более или менее полно и сущностью что-либо, не входящее в понятийную систему данного кода. Так, например, используя коды (термины) математической логики, невозможно описать суть и форму музыкального выражения, стихотворения, скульптуры и т.п.

ЯЗЫК (национальный) – открытая (если данный НЯ не «мертв») эволюционирующая знаковая система, безусловно, искусственная (и творимая своими носителями), чрезвычайно мощная и гибкая (если достаточно развита и имеет богатую письменную традицию) настолько, что в состоянии предоставить собственные ресурсы для метаописания, т.е. для описания самой себя, и для объяснения (и введения) в коммуникативный процесс любой другой (вторичной) семиотической системы. Оговоримся, что значения и способ употребления знаков НЯ возможен лишь с опорой на экстенциональные определения (т.е. при соотнесении знака НЯ с фрагментом реальности вне самого языка) и в коммуникативных ситуациях, где постоянно и многократно повторяются акты соотнесения данных единиц ЯЗЫКА с уже знакомыми ранее или с опорой на экстенциональные определения, семантизирующие сказанное или неописанное. Только после усвоения индивидом (и группой) большого запаса знаков и способов их сочетания возможно оставить непосредственное соотнесение знака с фрагментами объективного мира (до следующей «порции» введения субъективно новых знаков). Наблюдения за живой речью неизменно фиксируют функционирующие в ее состав знаки иной природы, иной системы (например, указательные жесты), позволяющие семантизировать, т.е. уточнять и актуализировать значения многих единиц НЯ, называемых лингвистами «дейктическими» (выделяющими, указательными): «там», «тот», «этот», «такой», «столько», «здесь», «туда», «оттуда», «сюда» и т.п. иди заменять эти и подобные знаки НЯ вообще. НЯ не является (вопреки общепринятым утверждениям) универсальной, всеобъемлющей и всемогущей системой. Так, нельзя средствами НЯ передать мелодию и ритм музыкального произведения. Междометия (вроде «хрю-хрю») не исчерпывают всех акустических параметров реальных фонации, а «тук-тук» вообще, будучи артикуляторным по природе, не может точно имитировать механические, неартикуляторные звучания. Невозможно средствами НЯ описать вкусовые, обонятельные и многие другие ощущения. Поэтому, скажем, словосочетания «вкус жареной курицы» или «незрелого ореха», «запах миндаля» или «аромат фиалки» могут понять только те из носителей языка, которые обоняли, ели, пробовали на вкус соответствующие объекты. Весьма неточны так называемые «словесные портреты» (поэтому их приходится заменять фотороботными), не сравнимые по достоверности с фотографиями или художественными портретами. Отсюда ясна приблизитель-

ность, иногда вынужденная, а то и нарочитая «зашифрованность» музыкально-ведческих и вообще искусствоведческих текстов, бессмысленных без знания анализируемого произведения. В ряде случаев использование знака НЯ менее экономно, чем имитирующий реальность объект, чертеж, схема. Сам факт функционирования многочисленных вторичных семиотических систем (кодов), включая «языки программирования» или «язык хореографической пластики» свидетельствует об ограниченности номинативных и иных возможностей НЯ, остающегося, тем не менее, наиболее мощной известной нам знаковой системой.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК – не существующий реально и идеальный конструкт, абстрактно объединяющий в своем понятийном содержании либо инвариантные свойства всех языков, либо импликации, содержащие ссылки на конкретные национальные языки, их свойства и подразумеваемые универсалии. Можно сказать, что в любом НЯ есть грамматика, есть лексический состав, есть фонетический аспект, есть (или может быть) письменная и устная форма существования.

ОБЩЕНИЕ – этому процессу посвящена наша статья. Знакомство с ней позволяет считать словосочетание типа «общение с природой», «общение с искусством» нетерминологичными. Первое из указанных следует интерпретировать в свете сказанного как словосочетание «язык природы». Второе требует конкретного Разъяснения, контекстуальных условий. Если речь идет об искусстве сценическом, то общение имеет место, хотя оно более «однонаправленно» (от актера к зрителю), чем обычный диалог, реализующийся в двух направлениях. «Общение киноискусством» предполагает некоторую метафоричность (и в определенном смысле похоже на «общение с книгой», «общение с прессой»), «Общение с искусством скульптуры» – метафора, если не учитывать легендарную любовь Пигмалиона к статуе или известные (редкие) патологии. Таково же – «общение с живописью». В прикладной работе по проблемам общения легко в связи со сказанным встретить классификацию «непосредственное общение», «опосредованное общение» (с градациями от «телефонного разговора» до телевизора и книги). «Общение с компьютером» – («диалог с компьютером», «разговор с ЭВМ» и т.п.) – разновидность опосредованного общения, имеющего признак двусторонней связи (в отличие от кино, телевизора, книги), возможности взаимной коррекции, переспроса просьб об уточнении запроса информации, причем этот момент настолько впечатляющ, что наблюдается непроизвольный антропоморфный подход оператора или пользователя к ЭВМ. Известны реакции человека на работу системы ЭВМ, практически не отличающиеся от реакций на поведение человека-собеседника (выражение одобрения, восхищения, досады, гнева).

Вне зависимости от формы «очеловечивания» компьютера, перед психологами стоит задача перевода этого взаимодействия в игровой (по типу Брехтовского принципа «остранненности») план. Другими словами, необхо-

димо добиться двух целей, реализуемых одновременно: а) достижения привычного для человека уровня обмена информацией при минимуме ее потерь (доказано, например, что слушатель лекции, не видящий лица лектора и признаков его активной заинтересованности в читаемом и в реакции слушателей, теряет до 20% информации, объективно содержащейся в лекции), б) сохранения пользователем самосознания своего статуса и каждый момент работы с компьютером, сохранения коммуникативной и иной дистанции с ним.

«ЯЗЫК ЖЕСТОВ», «ЯЗЫК МИМИКИ», «ЯЗЫК ПОЗ» – дочеловеческая и человеческая система значимых выразительных движений (каждое со своей формой и возможным набором значений). На дочеловеческом уровне имеет сигнальную сложную функцию, информирующую других особей стада (стаи, семьи) об эмоциональном состоянии, о биологически целесообразных предстоящих действиях (поединки самцов, коопуляция, отражение нападения извне, организация погони и пр.) Часть знаков и их последовательностей животные наследуют генетически, другую часть усваивают через обучение в сообществе, причем обязательно в связи с ситуацией той или иной типологии и обязательно через имитацию «старших», а затем и друг от друга (в «горизонтальной» страте). Без вмешательства человека или представителей других видов такие «языки» остаются в большинстве случаев закрытыми системами и имеют ограниченный набор «единиц» («кинемы», например) с ограниченным же набором «значений» (устрашение, призыв, сигнал опасности и пр.). Кавычки здесь использованы потому, что не ясно, в состоянии ли животное осознавать свои сигналы, всегда (и все) ли сигналы есть реализации осознанных животным собственных интенций, или же сигнализация всегда (или по большей части) производится инстинктивно. Человек может использовать любой знак (и сочетания знаков), включая и «дочеловеческие», вне ситуации-стимула, по собственной (игровой, например) интенции, может в широком диапазоне маскировать и варьировать выбор и форму знаков: может, наконец, лгать, шутить, подавлять свои «знаковые проявления» вообще. Нет, по-видимому, строгих доказательств возможности действий такого рода у животных. Замечено, однако, что в игре с младшими и животные «приглушают» позы, фонации и другие знаки агрессивности.

У птиц-пересмешников и у певчих птиц фонационно-сигнальная система более богата за счет заимствований у других видов и даже имитаций механических звуков. Пока что нет точных данных о пределах «открытости» таких систем и о точных функциях подражательных фонации. Однако известно, что дрессурой можно добиться у попугаев имитации сотен (до 800) знаков НЯ, причем ситуативно верно используемых (например, использование имени хозяев и членов семьи, названий кормов и др.), включая ритуалы приветствия и прощания. Если обучение всегда подкрепляется лакомствами и лаской, то продуцирование («инициативное») заставляет думать о мотива-

ции связанной с потребностью в общении: сытый попугай часто отказывается от подкрепления «речи» лакомством, а также обнаруживает избирательность в выборе коммуниканта». Дрессура млекопитающих обязательно включает демонстрацию: требуемого движения (поднятие ноги, поворот тела и пр.) самим дрессировщиком, т. е. налицо имитация образца. При дрессировке животных люди пользуются спойм НЯ. «Понимание» команд и обращений (а также эмоциональной настроенности человека) в этом процессе фиксируется непреложно. Кавычки же означают, что «глубина понимания» и мотивы концентрации внимания к человеческой речи не могут быть отождествлены с соответствующими человеческими свойствами. Утверждения, что собака (кошка и др.) понимают слова НЯ исключительно в ситуации, скажем, подготовки к прогулке, к кормлению и пр., не верны. Определенный набор слов (включая кличку) вызывает соответствующие реакции и вне конкретных ситуаций, распознаются животным в потоке «посторонних» слов как в эксперименте, так и в наблюдениях бытового характера. Все это, как и материалы экспериментального обучения высших животных (обезьян) знаковой (жестовой, «бирочной», «кнопко-компьютерной» и др.) деятельности показывает, что при вмешательстве человека высшие животные могут выйти за пределы знаково-сигнальных внутривидовых систем и реализовать потенциал межвидового общения, овладевая набором средств коммуникации, предложенных им человеком. Пределы роста «словаря» животного, возможности обучения животных животными же новым системам коммуникации, до конца не выявлены. Но можно утверждать, что, по крайней мере, обезьяны в своей знаковой деятельности с участием человека выходят далеко за рамки обычной рефлекторной (включая и познавательный рефлекс) концепции поведения.

На человеческом уровне нет причин отказываться от гипотезы относительно «языка жестов» в качестве естественного и первичного. В генезисе порождения речи, (т.е. в каждом коммуникативном акте) сначала проявляются именно невербальные компоненты (жест, мимика, изменение позы, изменение дистанции), и лишь затем возникает вербальная часть высказывания. Поэтому мнение (широко распространенное) о «дополнительном» или «сопроводительном», или «усилительном» характере невербальных компонентов коммуникации (НВК) ошибочно. Другое дело, что в ходе общения начальный этап реализации НВК может быть выражен слабо, а затем усилиться, дополниться и т.д. НВК могут оказаться коммуникативно достаточными (заменяя не только отдельные члены предложения но и целые высказывания) и тогда они блокируют вербальную часть высказывания. НВК-система не только не отмирает, но и усовершенствуется (в театральном действе, в мимансе и хореографии, в ораторском искусстве), правда, модифицируясь при этом. Изолированный НВК-знак, конечно, ограничен по своим номинативным ресурсам и в этом смысле не может сравниться с полноценным лексическим знаком. Большой натяжкой являются и утверждения о

наличии «синтаксиса кинем». Но с опорой на ситуацию, на коммуникативный опыт партнеров и др. «семантизирующие» факторы оказывается возможным достаточно сложное «объяснение без слов» (см. описание Н. Миклухо-Маклаем своего первого «разговора» с папуасом Туем) [Миклухо-Маклай 1956: 18-19].

ЯЗЫКИ ЖИВОТНЫХ – сигнальные системы разной сложности, никогда не достигающие уровня даже самых примитивных человеческих НЯ. Принято различать в таких языках симптомы и сигналы. **СИМПТОМ** – неотделимый от тела животного признак его принадлежности к полу, возрасту, а также функциональный признак поведения животного. Например, окраска, оперение, «кормящее движение» птицы-самки (и открытый клюв птенца), способные играть роль стимула для изменения поведения другого животного. **СИГНАЛ** – производится животным и не имеет сам по себе значения того действия или того объекта, о котором «говорится в сигнале» (крик-призыв, крик-устрашение, обнажение зубов, поджимание хвоста). Сигналы различаются по степени интенсивности, по возможности варьирования («синонимия»), по сочетанию последовательности коротких и длительных сигналов одной семантики с сигналами другой семантики и пр. У высших животных сигнальные системы часто различны по природе и функциям, но могут выступать одновременно (фонация, позы, мимика, симптоматика). Территориальные «метки» и др. «маркеры», воспринимаемые, другой особью как «сигналы присутствия» или «сигналы призыва» следует, видимо, относить к промежуточному уровню между «симптомом» и «сигналом». Плохо изучены сигналы животных, обращенных к человеку. Очень может быть, что здесь не только ярко выражена «адресация», но и регулируется «интенсивность» и проявляется то, что следовало бы связать с волевым моментом и видоспецифической интенцией, усиленными опытом общения с человеком. Думается, что кавычки при слове «общение» здесь не нужны, если отдавать себе отчет о недопустимости антропоморфного подходе к животному, ясно видеть границы и «глубину» коммуникативных действий, связывающих человека и животного.

«ЯЗЫКИ МОЗГА» – нейрохимический код, физиологическая структура которого изучена довольно подробно. Но имеющиеся результаты не объясняют, каким образом материальные носители сенсорной информации преобразуют ее в «идеальное» – в образы, представления, абстрактные конструкции и схемы; каким образом нейронные ансамбли и синапсные состояния преобразуются во внешний НЯ и обратно, обеспечивая процессы вербализации и девербализации, мышления в целом.

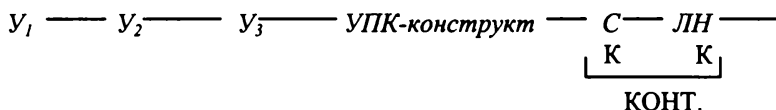
«ЯЗЫК НАУКИ» – см. КОД.

«ЯЗЫК ПРИРОДЫ» – метафора, подчеркивающая тот факт, что явление природы может быть объективно и субъективно значимо, требует «понимания», обладая собственными закономерностями существования и проявления. Если утверждать, скажем, что молния (не слово «молния», а

само явление) есть «знак природы» или «знак грозы» или «зловещее предзнаменование», то последнее утверждение является мифологичной интерпретацией, а первые два – либо метафорами, либо результатом неусвоенного понимания двусторонней природы знака. Молния сама по себе не есть только «форма» или только «значение», не то и другое «вместе», а как составляющая более общего явления (гроза) – нерасчленимое (в семиотическом плане) явление физической природы с собственными (электромагнитными, например) параметрами описания.

Приложение 2

ОБЩИЙ СЛУЧАЙ АКТА РЕЧЕПОРОЖДЕНИЯ (СХЕМА)



где U_1 – общая установка на общение (+ или -)

U_2 – установка на общение с конкретным партнером (+ или -)

U_3 – смысло-тематическая установка («отсечение неподходящих тем») *УПК-конструкт* – формирование замысла высказывания (семантическое наполнение)

C – формирование синтаксического типа 1-го предложения в зависимости от мотива и интенции говорящего (запрос информации, повествование, оправдание и т.п.)

$ЛН$ – лексическое наполнение синтаксической схемы

K – очевидные коррекции (исправление ошибок, переформулировки)

КОНТ. – «фаза контроля», запускающая автокоррекции.

В норме U_1 , U_2 , U_3 реализуются почти без интервалов.

Последующие стадии реализуются не в строгой последовательности, а с наложением друг на друга. Моменты выбора $ЛН$ манифестируются паузами и гезитациями (проявлениями нерешительности иного рода – «заполнители» пауз, случайные вводные и пр.). В норме от U_1 до момента окончания первого предложения средней длины (7 ± 2 значимых слов в разговорно-устном общении) проходит 2.1 сек (в среднем).

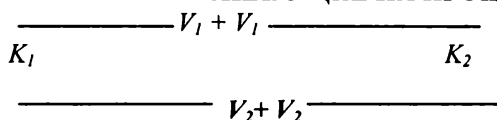
ОБЩИЙ СЛУЧАЙ АКТА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (СХЕМА)

K_1 , K_2 – коммуниканты

V_1 – вербальная (словесная) часть коммуникации, собственно речь

V_2 – невербальная (жестовая, мимическая и пр.) компонента (НВК)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС



ХАРАКТЕР И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ (СХЕМА)

Самоочевидные: наличие коммуникантов и возможностей непосредственного или опосредованного (телефон, письмо, газета) общения, умеренные «шумы»

Остальные:

1. Наличие общего или сопоставимого культурного контекста для выбранной сферы общения (возможности взаимной адаптации в период общения). Сопоставимость пресуппозиций.
2. Общность языка (и при разных уровнях владения).
3. Общность когнитивных возможностей – в рамках совпадения интенций или их сопоставимости.
4. В ряде случаев – возможность опоры на экстралингвистические фрагменты объективного мира, служащие объектами общего для коммуникантов внимания и интереса.

Список основных научных работ И. Н. Горелова¹

Издания монографического характера

1. О формировании первичных речевых навыков на базе типовых конструкций и о способах семантизации лексико-грамматического материала // [глава 1 монографии] Обучение немецкому языку устным активным методом на начальной стадии. М., 1964.
2. О некоторых приемах стимулирования к речевому общению на уроках немецкого языка // [глава 2 монографии] Обучение немецкому языку устным активным методом на начальной стадии. М., 1964.
3. О начальном этапе обучения чтению и письму на немецком языке в системе активного устно-слухового наглядного метода // [глава 5 монографии] Обучение немецкому языку устным активным методом на начальной стадии.. М., 1964.
4. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе. Челябинск, 1974.
5. Паралингвистика: прикладной и концептуальный аспекты // [глава в монографии] Национально-культурная специфика речевого поведения». М., 1977.
6. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.
7. Проблема связи «знак – представление» в психолингвистическом эксперименте // [глава в монографии] Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983.
8. Соотношение вербального и невербального в коммуникативной деятельности // [глава в монографии] Исследования речевого мышления в психолингвистике. М., 1985.
9. Вопросы теории речевой деятельности. Таллинн, 1987.
10. Разговор с компьютером. Психолингвистический аспект проблемы. М., 1987.
11. Безмолвный мысли знак. М., 1991 (в соавт. с В.Ф.Енгальцевым).
12. Умеете ли вы общаться? (учебное пособие). М., 1991 (в соавт. с В.Ф. Житниковым и др.).
13. Основы психолингвистики: Учебное пособие. М., 1997 (в соавт. с К.Ф. Седовым).
14. Основы психолингвистики: Учебное пособие. [2 доп. изд.]. М., 1998 (в соавт. с К.Ф. Седовым).
15. Основы психолингвистики: Учебное пособие. [3 доп. и пер. изд.]. М., 2001 (в соавт. с К.Ф. Седовым).

Статьи, тезисы, рецензии

16. За новые методические и организационные основы преподавания иностранных языков в школе // Иностранные языки в школе. 1957. № 6 (в соавт. с Р.П. Недялковым).

¹ Список составлен Е.А. Елиной. Полный список публикаций И.Н. Горелова насчитывает около 400 наименований.

17. Опыт обучения немецкому языку устным методом в группе учащихся Ш кл. // Иностранные языки в школе. 1959. № 3 (в соавт. с Р.П. Недялковым).
18. Вопросы истории и практики обучения иностранным языкам // Материалы международного семинара по вопросам преподавания иностранных языков. М., 1961.
19. Об использовании прямого, или натурального метода обучения иностранным языкам в советской школе // Ученые записки ПГПИИЯ. 1961 (в соавт. с Р.П. Недялковым).
20. О психологическом обосновании методики обучения иностранному языку // Вопросы психологии. 1961. № 1.
21. За прямой метод в преподавании иностранных языков // Вестник высшей школы. 1962. № 4.
22. [Рец. на кн.:] Салистра И.Д. Методика обучения немецкому языку // Иностранные языки в школе. 1962. № 2 (в соавт. с Р.П. Недялковым).
23. Нужна новая методика преподавания иностранных языков // Вестник высшей школы. 1962. № 9.
24. К вопросу о возникновении и развитии натурального (прямого) метода преподавания иностранных языков // Вопросы перестройки методики преподавания иностранных языков в вузах. Воронеж, 1963.
25. Вопросы истории, теории и практики отечественного натурального (прямого) метода преподавания иностранных языков: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1963.
26. О некоторых принципиальных вопросах методики // Иностранные языки в школе. 1963. № 4.
27. Проявления интерференции и некоторые условия их предупреждения (начальная стадия обучению немецкому языку) // Материалы и тезисы докладов XIV итоговой научной конференции. Оренбург, 1965.
28. Афатический аграмматизм и типичные ошибки в немецкой речи школьников и студентов // Материалы и тезисы докладов XV итоговой научной конференции. Оренбург, 1967.
29. Некоторые экспериментальные данные психологии усвоения немецкого языка на начальной стадии обучения // Ученые записки Оренбургского госпединститута. 1968.
30. О некоторых проявлениях интерференции и возможностях их прогнозирования и предупреждения // Поиски оптимальных методов обучения иностранным языкам: Материалы симпозиума. Воронеж, 1968.
31. О семиотическом подходе к естественному языку // Материалы XVI научной конференции. Оренбург, 1968.
32. К проблеме бессознательного в мышлении, поведении и речи // Материалы XVI научной конференции. Оренбург, 1968.
33. Проблемы методики обучения иностранным языкам в свете теории установок // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи: Тезисы докладов III Республиканской научной конференции. Горький, 1968.

34. О возможной примарной мотивированности языкового знака // Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака. Л., 1969.

35. Интерференция в устной и письменной немецкой речи студентов и школьников. Оренбург, 1969 (в соавт.).

36. О значении и методике исследования интерференции // Интерференция в устной и письменной немецкой речи студентов и школьников. Оренбург, 1969.

37. Статистическая характеристика проявлений интерференции // Интерференция в устной и письменной немецкой речи студентов и школьников. Оренбург, 1969 (в соавт. с Э.С. Горovenko).

38. О лексическом типе интерференции // Интерференция в устной и письменной немецкой речи студентов и школьников. Оренбург, 1969 (в соавт. с М.Ф. Пальговой).

39. О грамматическом типе интерференции // Интерференция в устной и письменной немецкой речи студентов и школьников. Оренбург, 1969 (в соавт. с Г.Г. Солодилиной).

40. О некоторых особенностях речи и мышления младших дошкольников // Дошкольное воспитание. 1970 № 5.

41. Проблемы методики обучения в свете общей теории усвоения языка // Проблемы обучения иностранным языкам. Владимир, 1970.

42. О проявлениях автономности планов выражения и содержания при одновременном решении двух различных вербальных заданий // Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970.

43. К вопросу об индивидуальном в речи // Вопросы филологии. Омск, 1970.

44. Ситуативная обусловленность порождения эллиптических конструкций // Материалы XVIII научной конференции. Оренбург, 1970.

45. Психолингвистическая модель начального курса обучения иностранному языку // Вопросы научной организации преподавания иностранного языка в вузах. Горький, 1970.

46. К проблеме поиска компонента высказывания при порождении речи // Материалы XVIII научной конференции. Оренбург, 1970.

47. Об орудийной сущности языка как объекта исследования // Вопросы филологии. Омск, 1971.

48. О некоторых формальных признаках учета говорящим экстралингвистических условий коммуникативного акта // Актуальные вопросы обучения иноязычной речи. Свердловск, 1972.

49. Речевая структура в зависимости от антиципации содержания ожидаемой реплики // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1972.

50. О некоторых «неязыковых» характеристиках диалогических текстов // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1973.

51. Ономатопея и словообразование // Вопросы романо-германского языкознания. Челябинск, 1973.
52. О прикладном (методическом) значении частотного вокабуляра словоформ современного немецкого языка // Вопросы немецкой филологии. Челябинск, 1973 (в соавт. с Г.И. Васиной и др.).
53. Антиципация в процессе восприятия сообщения // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1974 (в соавт. с Н.Г. Елиной).
54. О возможности одновременной переработки разнокодовой информации // Предварительные материалы экспериментальных исследований по психолингвистике. М., 1974.
55. Некоторые условия реализации эффекта обманутого ожидания // Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1975 (в соавт. с Н.Г. Елиной).
56. О возможности различения, запоминания и классификации объектов при отсутствии субъективных номинаций для них // Проблемы психолингвистики. М., 1975.
57. Речевая деятельность и проблема «уменьшения избыточности» // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1975.
58. Проявление авербальной системы коммуникации в диалоге // Немецкий язык и литературоведение. Челябинск, 1975 (в соавт. с С.М. Бердышевой).
59. Элементы частотного вокабуляра современного немецкого языка // Немецкий язык и литературоведение. Челябинск, 1975 (в соавт. с М.Е. Гладышевой).
60. Опыт экспериментального исследования характера и динамики действия грамматической интерференции синтаксических подтипов // Немецкий язык и литературоведение. Челябинск, 1975 (в соавт. с С.С. Сорокиной).
61. Экстралингвистические компоненты диалога // Материалы IV научно-методической конференции преподавателей кафедр иностранных языков. Челябинск, 1975 (в соавт. с Н.М. Малышевой).
62. Элементы научной организации труда в вузе // Совершенствование воспитательного процесса в вузах. Челябинск, 1975.
63. Проявление авербальной системы коммуникации в диалогической речи // Немецкий язык и литературоведение. Челябинск, 1976 (в соавт. с Л.А. Беус, С.М. Бердышевой).
64. О «следах» смыслового синтаксирования в разговорной реплике // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1976.
65. Синестезия и мотивированные знаки подъязыков искусствоведения // Проблема мотивированности языкового знака. Калининград, 1976.
66. К проблеме оценки уровня речевых умений и навыков выпускников школ и слушателей подготовительных отделений // Вопросы преемственности курсов иностранного языка средней и высшей школы. Свердловск, 1976 (в соавт. с М.М. Кинибаевой).

67. О связях общеобразовательного уровня студентов с уровнем их успеваемости (по данным предварительного исследования). Магнитогорск, 1976.
68. К проблеме поиска дополнительной информации (ДИ) в тексте в процессе обучения его содержательному анализу // Проблемное обучение в специальном вузе. М., 1977.
69. Проблема «глубинных» и «поверхностных» структур в свете теории речевой деятельности // Известия АН СССР, Сер. лит. и языка, 1977.
70. Проблема функционального базиса речи: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1977.
71. Авербальные «следы» в тексте // Виды и функции речевой деятельности. М., 1977.
72. Опыт психолингвистического подхода к проблеме «лингвистической относительности» // Виды и функции речевой деятельности. М., 1977.
73. Психолингвистический опыт оценки внимания слушателей // Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропаганды: Материалы для обсуждения на Всесоюзной научно-методической конференции. М., 1977.
74. О функциональном базисе речи // Известия Северо-кавказского научного центра высшей школы. Ростов-на-Дону. 1977. № 3.
75. Восприятие речевого сообщения в условиях массовой коммуникации // Вопросы психологии. 1978. № 4.
76. Парадигматика и синтагматика как возможные показатели динамики семантических отношений в раннем онтогенезе речи // Психолингвистические исследования. М., 1978.
77. Становление парадигматики как показатель динамики семантических отношений в онтогенезе речи // Тезисы VI Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1978.
78. Перевод и типология кодовых переходов // Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Совершенствование перевода зарубежной научно-технической литературы». М., 1978.
79. Новая книга об аграмматизме // Дефектология. 1979. № 16 (в соавт. с А.М. Шахнаровичем).
80. Rezeption // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Berlin, 1979 (в соавт. с А.М. Шахнаровичем).
81. Проблемы обучения стилистическому анализу в специальном вузе на основе данных теории речевой деятельности // Лингвистика, психолингвистика и обучение второму языку. Челябинск, 1980.
82. Культура, язык и социализация личности // Взаимоотношение развития национальных языков и национальных культур. М., 1980.
83. О реальных и мнимых текстовых сигналах «свой / чужой» // Этнолингвистические аспекты речевого общения. Самарканд, 1980 (в соавт. с Н.Г. Елиной).

84. Авербальный компонент как универсальная модально-семантическая характеристика речевого акта // Восприятие языкового значения. Калининград, 1980.
85. Теория речевой деятельности. Методическая разработка к спецкурсу. Магнитогорск, 1980.
86. Интерпретация текста. Методическая разработка к спецсеминару. Магнитогорск, 1980.
87. Сравнительная типология русского и изучаемого языков. Методическая разработка к семинарам. Магнитогорск, 1980.
88. Для чего изучают иностранные языки? (Методические указания) // Магнитогорск, 1981 (в соавт. с Я.Г. Биренбаумом).
89. О критериях оценки эффективности работы куратора // Содержание и формы работы куратора в вузе. Магнитогорск, 1981.
90. Текст как особая форма высказывания // Проблемы лингвистической интерпретации художественного текста. Свердловск, 1982.
91. Динамика инициальных и финальных моментов общения в онтогенезе // Тезисы VII Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1982.
92. [Рец. на кн.:] Дридзе Т.М. Язык и социальная психология // Филологические науки. 1983. № 2.
93. О неязыковых средствах речевого учебного общения // Русский язык в школе. 1984. № 4.
94. Проблема лингвистического обеспечения искусственного интеллекта // Вопросы языкознания. 1984. № 5.
95. Учить языку – учить общению // Русский язык в эстонской школе. 1984. № 4.
96. О гипотезах «раздельности» и «совместности» в описаниях языковой компетенции билингва // Психологические и лингвистические проблемы языковых контактов. Калинин, 1984.
97. Глубинная структура как психолингвистическая реальность // Прагматика и семантика синтаксических единиц. Калинин, 1984.
98. Речь и этикет: книга учит искусству общения // Русская речь. 1984. №5.
99. Невербальные компоненты мышления и коммуникации и функциональный базис речи // Принципиальные вопросы теории знаний. Ученые записки Тартуского университета, 1984.
100. Лингводидактика и типология иноязычных текстов // Психолого-педагогические и лингвистические проблемы исследования текста. Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции. Пермь, 1984.
101. Об эволюционном аспекте семиотики: от антропоида к «гомо говорящему» // Мировоззрение и методологические вопросы современного научного познания. Саратов, 1985.
102. О критериях отнесения глагола к ЛСГ «перемещения» (на материале русского и немецкого языков) // Проблемы грамматики и семантики. М., 1985.

103. Релевантные признаки афоризма // Психолингвистические исследования: лексика, фонетика. Калинин, 1985.
104. Моя точка зрения // Русский язык в эстонской школе. 1985. № 1.
105. Ритмосемантический компонент речевого воздействия // Материалы VIII Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., ИЯ АН СССР, 1985 (в соавт. с Д.С. Ивахновым).
106. На что обиделся Максим Максимыч? // Русская речь. 1985. № 4.
107. Энантиосемия как экстремальный семантический сдвиг // Психолингвистические проблемы семантики и понимания текста. Калинин, 1986.
108. Процессы усвоения текста на уровнях поверхностной и денотативной структур // Теория и практика обучения иностранным языкам в высшей школе. Саратов, 1986.
109. Происхождение языка: гипотезы и новые подходы к проблеме // Известия АН СССР, Сер. яз. и лит. 1986. № 6 (в соавт. с Н.Н. Слоновым).
110. Экстралингвистическая обусловленность явления энантиосемии // Вопросы романо-германского языкознания. Саратов, 1986.
111. Энантиосемия как результат столкновения противоречивых тенденций языкового развития // Вопросы языкознания. 1986. № 4.
112. О требованиях к программным средствам обучения иностранным языкам в системе «студент – компьютер» // Проблема компьютеризации процесса обучения иностранным языкам в пединститутах. Ульяновск, 1986.
113. Как и в каких случаях помогают межъязыковые параллели? // Русский язык в эстонской школе. 1986. № 4.
114. Рече-коммуникативный акт в гомеостатическом аспекте // Гомеостаты и гомеостатические сети управления, их приложения в биологических, природных и технических системах. Иркутск, 1986.
115. Типы прагматических сигналов текста // Исследования целого текста. Материалы Всесоюзного совещания. М., 1986 (в соавт. с Н.Г. Елиной).
116. Фразы, фразы... // Русская речь. 1987. № 2.
117. [Рец. на кн.:] Долинин К.А. Интерпретация текста // Филологические науки. 1987. № 2.
118. [Рец. на кн.:] Скребнев Ю.М. Введение в коллоквиалистику // Филологические науки. 1987. № 4.
119. Язык без слов // Наука и жизнь. 1987. № 4 (совм. с Л.А. Фирсовым).
120. О значимых реакциях на интерпретацию преступлений средствами массовой информации // Результаты исследований и перспективы борьбы с преступностью. Тезисы докладов на республиканской научной конференции. Вильнюс, 1987 (в соавт. с Л.И. Аувяэртом).
121. Звукосимволические единицы и комплексы в их номинативных, синтаксических и стилистических функциях // Актуальные проблемы языковой номинации. Саратов, 1988.
122. Синестезия в подязыке музыковедения // Функциональная светомузыка на производстве, в медицине и педагогике. Казань, 1988.

123. Интервью // Перевод как процесс и как результат: язык, культура, психология. Калинин, 1989.
124. [Рец. на кн.:] Павлов В.М. Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования // Вопросы языкознания. 1988. № 1.
125. О роли установки и речи в рекламе // Совершенствование хозяйственного механизма торговли. Тарту, 1988.
126. Невербальные компоненты общения на допросе // Проблемы повышения эффективности применения юридической психологии. Ученые записки ТГУ. Тарту, 1988 (в соавт. с В.Ф. Енгальцевым).
127. Разрешающие возможности национального языка в знаковой ситуации «Текст – изображение» // Тезисы республиканской научной конференции «Философские проблемы сознания и современность». Иваново, 1988.
128. Языковое сознание как система актуализированных декларативных и процедуральных знаний // Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации «Языковое сознание». М., 1988.
129. Речевое воспитание дошкольников // Дошкольное воспитание. 1988. № 1.
130. Funktionen nonverbaler Komponenten in der deutschen und russischen gesprochenen Sprache // Linguistische Studien. Berlin, 1989.
131. Фоносемантические функции «продленных гласных» // Проблемы фоносемантики. М., 1989.
132. Collective Subject of Decision Making in a Problem-Business Game // Twelfth Research Conference on Subjective Probability, Utility and Decision Making. М., 1989 (with N. Slonov).
133. Прикладные аспекты фоносемантики // Фоносемантические исследования. М., 1990.
134. Cogito ergo sum // Новинтех. 1990. № 1.
135. Соотношение установок и типология читателей (на материале текстовых интерпретаций) // Тезисы выступлений на семинаре «Художественный текст: проблемы изучения». М., 1990.
136. Кинесика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
137. Коммуникация // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
138. Прикладные аспекты фоносемантики // Фоносемантические исследования. Пенза, 1990.
139. Интерференция в сфере лексики и грамматики немецкого языка. Саратов, 1990 (в соавт.).
140. Билингвизм как «программа-минимум» для формирования межкультурного сознания // Психоллингвистика и межкультурное взаимопонимание. Тезисы X Всесоюзного симпозиума по психоллингвистике. М., 1991.
141. К тезису Н.В. Крушевского об особом языковедческом значении изучения живых («новых») языков // Минуле і сучасне волинї історичні по-статї краю. Луцьк, 1991.

142. Изосемия: феномен или закономерность? // Вопросы романо-германского языкознания. Саратов, 1991.

143. В каждой шутке есть зерно истины // Новости искусственного интеллекта. 1991. № 2.

144. Два случая краткосрочной реконструкции утраченной языковой компетенции // Новости искусственного интеллекта. М., 1992. № 3.

145. Размышление о гитлеризме // Национальная правая прежде и теперь. СПб., 1992.

146. Das nationale Bewußtsein der sowjetischen Jugend: Lücken, Ursachen und Perspektiven // Kulturelle Identität der deutschsprachigen Minderheiten in Rußland / UdSSR. Ost-West-Kongress-Kassel, 1992.

147. Феномен порождения разнокодового текста в экстремальной ситуации // Мышление и текст. Иваново, 1992.

148. Проблема общения: процессы и средства // Новости искусственного интеллекта. 1992. № 4.

149. Соотношение консонансных и диссонансных эффектов в поэтических синестезиях И. Бехера и В. Маяковского // Современный Лаокоон. Эстетические проблемы синестезии. М., 1992.

150. Верифицируется ли поэтический текст? // Принципы изучения художественного текста. Саратов, 1992.

151. Корректные и некорректные аналогии как основы общепринятых констатаций и неформальных рассуждений // Искусственный интеллект. Саратов, 1993.

152. К формированию операций отрицания в онтогенезе речи русско- и немецкоязычных дошкольников // Язык, сознание, культура, этнос: теория и прагматика. IX Всероссийский симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1994.

153. Естественнонаучное и гуманитарное знание как комплекс: принцип дополнительности в действии // Тезисы республиканской научно-практической конференции. Пермь, 1994.

154. Психолингвистика // Информатика. Энциклопедический словарь для начинающих. М., 1994.

155. Немецкая лыжня на российском снегу // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1994 (в соавт. с Н.Г. Елиной).

156. Тема – сюжет – мотив – исполнение (на материале сравнения стихотворений Г. Гейне и Г. Зейделя) // Исследования по художественному тексту. Материалы III Саратовских чтений по художественному тексту. Саратов, 1994.

157. К проблеме качественной оценки уровня развития высказывания ребенка (на материале речи русско- и немецкоязычных дошкольников // Становление детской речи. Саратов, 1995. Вып.2.

158. Вуппертальский проект как история надежды // Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск, 1994.

159. Речевая продукция детей как средство преодоления состояния депривации в раннем и среднем онтогенезе // Проблемы детской речи. СПб., 1994 (в соавт. с А.А. Петровой).
160. Опыт кратковременной реконструкции лексики забытого (родного немецкого) языка в экспериментальных условиях // Мышление и текст. Иваново, 1994.
161. Возможна (и нужна ли) мотивирующая ИИ-система? // Новости искусственного интеллекта. 1994. № 1.
162. Социопсихолингвистика и проблемы управления обществом // Философия языка и семиотика. Иваново, 1995.
163. О специфике семантики и синтаксиса вопроса в онтогенезе русско- и немецкоязычных детей // Становление детской речи. Саратов, 1995. Вып.2 (в соавт. с А.А. Петровой).
164. Кто помнит чудное мгновенье? // Новости искусственного интеллекта. №2. 1995.
165. Знание слов и знание вещей // Немецкий язык: теория и практика. Ульяновск, 1996.
166. Этнокультурная ассимиляция: прогнозы и реальность (на материале немецких переселенцев из СНГ в ФРГ) // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996.
167. Становление функционального базиса речи в онтогенезе // Становление детской речи. Саратов, 1996. Вып.3.
168. Невербальные и вербальные компоненты коммуникации: к типологии взаимодействия // Человеческий фактор в правоохранительных системах. Материалы международной научно-практической конференции. Орел, 1996.
169. Безнадежность или надежда // История и культура российских немцев. Саратов, 1996.
170. Немецкое в русской истории, культуре и повседневности // Morgenstern. Uljanovsk, 1996.
171. Дialeктные реликты немецкого языка в альпийском фольклоре // Вопросы романо-германского языкознания. Саратов, 1997.
172. Импринтинг и речь как базовый комплекс социализации // Политический дискурс. М., 1997.
173. О работах И.Е. Аничкова по методике преподавания иностранных языков // И.Е. Аничков. Труды по языкознанию. С-Пб, 1997.
174. Лексика с инициальными элементами halb- (пол-, полу-) в немецком и русском языках. Опыт сопоставления // Вопросы романо-германского языкознания. Саратов, 1997.
175. О двуязычных словарях нового типа // Лексика и лексикография. М., 1998.
176. О филологе Пауле Рау // Материалы международной научной конференции историков и краеведов, посвященной 100-летию со дня рождения П.Д. Рау. Саратов, 1998.

177. Этнокультурный аспект квазиэквивалентной лексики (КЭЛ) // Труды международного семинара «Диалог-98» по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Казань, 1998.

178. Поэтические «звуконигры» Генриха Зайделя // Филология. Саратов, 1998.

179. Лексико-синтаксическая монотонность текста как особая форма его эмотивности // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград; Саратов, 1998 (в соавт. с М.В. Тимофеевым).

180. Psycholinguistik in der UdSSR und Rußland 1966-1996 // Статья по докладу на международном конгрессе по лингводидактике германистов России и ФРГ в Вологде. Изд. в ФРГ, 1998.

181. Nachahmung des deutschen Akzents als Ergänzungsübung beim Einüben der deutschen Aussprache // Klangsprache im Fremdsprachenunterricht-Thesen des Symposiums. Woronesh, 1998.

182. Теория и практика удержания власти в «третьем рейхе» // Этнос и власть: проблемы гармонизации межнациональных отношений. Саратов, 1999.

183. К проблеме предпосылок этноконфликта // Этнос и власть: местное самоуправление и этнические конфликты. Саратов, 1999.

ЛИТЕРАТУРА¹

- Абаев В.И.* Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка. В кн.: Лениннизм и теоретически проблемы языкознания. М., 1970.
- Абдулазиз Мохамед Х.* Устное слово // Курьер ЮНЕСКО. 1982. Сентябрь-октябрь.
- Абрамов Ф.* Пряслины. М., 1964.
- Адам Д.* Восприятие, сознание, память. М., 1983.
- Алексеев В.* Становление человека: на пути к слову // Знание – сила. 1983. № 8.
- Альбрехт Э.* Критика современной лингвистической философии. М., 1977.
- Анализ речевых сигналов человеком.* Л., 1971.
- Ананьев Б.Г.* Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1969.
- Ананьев Б.Г.* К теории внутренней речи в психологии // Психология речи. Л., 1946.
- Ананьев Б.Г.* Психология чувственного познания. М., 1960.
- Ананьев Б.Г., Веккер Л.М., Ломов Б.Ф., Ярмоленко А.В.* Осозание в процессе познания и труда. М., 1959.
- Анохин П.К.* Кибернетика и интегративная деятельность мозга // XVIII Международный психологический конгресс. Симпозиум «Кибернетические аспекты интегральной деятельности мозга». М., 1966.
- Анохин П.К.* Узловые вопросы теории функциональной системы. М., 1980.
- Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
- Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
- Ахутина Т.В.* Нейро-лингвистический анализ динамической афазии. М., 1975.
- Ахутина Т.В.* Порождение речи: нейролингвистический анализ синтаксиса. М., 1989.
- Баев Б.Ф.* Проблема внутрішнього мовлення. Київ, 1966.
- Баев Б.Ф.* Процесс общения и внутренняя речь // XVIII Международный психологический конгресс. Тезисы, II. М., 1966а.
- Баиндурашвили А.Г.* Проблема номинации в экспериментальной психологии: Дис. ... док. псих. наук. Тбилиси, 1968.
- Баранов С.П.* Чувственный опыт ребенка в начальном обучении. М., 1963.
- Баталов А., Кваснецка М.* Диалоги в антракте. М., 1975.
- Бахтин М.М.* Проблема текста. Опыт философского анализа // Вопросы литературы. 1976. №10.
- Бейн Э.С.* Афазия и пути ее преодоления. Л., 1964.
- Бейн Э.С., Овчарова П.А.* Клиника и лечение афазий. София, 1970.
- Беляев Ю.В.* Очерки по психологии обучения иностранным языкам. Изд. 2-е. М., 1962.

¹ В список литературы включены работы, к которым в тексте книги даются непосредственные отсылки.

- Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Бернштейн Н.А.* О построении движений. М., 1947.
- Бернштейн Н.А.* О происхождении движений // Наука и жизнь. 1968. № 2.
- Бернштейн Н.А.* Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
- Бехтерева Н.* Новое в изучении мозга человека // Коммунист. 1975. № 13
- Бехтерева Н. П.* Интервью // Наука и жизнь. 1976. № 9.
- Бехтерева Н. П.* Нейрофизиологический код простейших психических процессов человека // Вестник АН СССР. 1975. № 11.
- Бжалава И.Т.* Психология установки и кибернетика. М., 1966.
- Блонский П.П.* Возрастные особенности детей // Избранные педагогические произведения. М., 1961.
- Бойко Е.И.* Механизм умственной деятельности. М., 1976.
- Болотова Г.Л.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
- Боскис Р.М.* О развитии словесной речи глухонемого ребенка. М., 1939.
- Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А.* Функциональная асимметрия человека. М., 1981.
- Брудный А.А.* Пути и методы экспериментальных семантических исследований // Теория речевой деятельности. М., 1968.
- Брудный Р.М.* К проблеме семантических состояний // Сознательность и действительность, М., 1939.
- Бунар В.В.* Происхождение речи по данным антропологии // Происхождение человека и древнее расселение человечества / Труды ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия..1951. Т. XIV.
- Быков В.* Обелиск. М., 1973.
- Валлон А.* От действия к мысли. М., 1956.
- Валлон А.* От действия к мысли. М., 1956.
- Вальд И.* Особенности афазии у полиглотов: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1956.
- Вальд И.* Проблема афазии у полиглотов // Вопросы клиники и патофизиологии афазий. М., 1961.
- Вандриес Ж.* Язык. М., 1935.
- Варсян С.О., Поспелов Д.А.* Немеетрическая пространственная логика // ИАН СССР. Техническая кибернетика. 1982. № 5.
- Веккер Л.М.* Восприятие и основы его моделирования. Л., 1964.
- Веккер Л.М.* Об и информационном подходе к теории перцептивного образа // Теория информации и восприятие. XVIII Международный психологический конгресс. Симпозиум 17. М., 1966.
- Веккер Л.М.* Психические процессы. Л., 1974. Т.1.
- Венгер Л.А.* Анализ изобразительной деятельности дошкольника // Вопросы психологии. 1967. № 2.
- Верещагин Е.М.* Вопросы теории речи и методики преподавания иностранных языков. М., 1969.

Верещагин Е.М. Порождение речи: латентный процесс (предварительное сообщение), М., 1969.

Верещагин Е.М. Теория порождающих грамматик и психология // Тезисы докладов по порождающим грамматикам. Тарту, 1967.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М., 1983.

Вероятностное прогнозирование в речи / Под ред. Р.М. Фрумкиной. М., 1971.

Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940.

Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968.

Винер Н. Кибернетика. М., 1968.

Виноград Т. К процессуальному пониманию семантики // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. XII.

Виноград Т. Программа, понимающая естественный язык. М., 1976.

Винокур Т.Г. Об эллиптическом словоупотреблении в современной разговорной речи // Развитие лексики современного русского языка. М., 1965.

Войко-Яснецкий А.В. Первичные ритмы возбуждения в онтогенезе. Л., 1974.

Войсунский А. Я говорю, мы говорим. М., 1990.

Войтонис Н.Ю. Предыстория интеллекта. М.; Л., 1949.

Воронин Л. Загадки мозга // Известия 1969. 3 марта.

Воронин С.В. Основы фоносемантики. Л., ЛГУ. 1982.

Вулдридж Д. Механизм мозга. 1965.

Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. М., 1936.

Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956.

Выготский Л.С. Мышление и речь. М.; Л., 1934.

Выготский Л.С. Проблема сознания // Психология грамматики. М., 1968.

Газов-Гинзберг Е.Л. Был ли язык изобразительным в своих истоках. М., 1965.

Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка // Вопросы психологии. 1966. № 4.

Гальперин П.Я. Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании детского мышления // Вопросы психологии. 1966. № 4.

Гальперин П.Я. Опыт изучения формирования умственных действий. М., 1971.

Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. I.

Гамкрелидзе Т.В. Бессознательное и проблема структурного изоморфизма между генетическими и лингвистическими кодами // Бессознательное. Т. 4. Тбилиси. 1985.

Гамкрелидзе Т.В. Р.Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // Вопросы языкознания. 1988. № 3.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: В 2 т. Тбилиси, 1984. Т. 2.

Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы. Гимназисты. М., 1972.

Гарин-Михайловский Н.Г. Студенты. Инженеры. М., 1972.

Гекрманович А.И. Междометие, интонация, жест // Уч. зап. Крымского пед. ин-та им. М.В. Фрунзе. Т. 28. Симферополь, 1957.

Гибш Г., Форвег М. Введение в марксистскую социальную психологию. М., 1972.

Горелов И. Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе. Челябинск, 1974.

Горелов И.Н., Елина Н.Г. О реальных и мнимых текстовых сигналах «свой/чужой» // Этнопсихолингвистические аспекты речевого общения. Самарканд, 1990.

Горелов И.Н. Авербальные «следы» в тексте // Виды и функции речевой деятельности. М., 1977з.

Горелов И.Н. Афафический аграмматизм и типичные ошибки в немецкой речи школьников и студентов (сравнительная характеристика) // Материалы и тезисы докладов XV итоговой научной конференции. Оренбург, 1967.

Горелов И.Н. Вопросы истории, теории и практики отечественного натурального (прямого) метода преподавания иностранного языка: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1963.

Горелов И.Н. Вопросы теории речевой деятельности. Таллинн, 1987.

Горелов И.Н. Глубинная структура как психолингвистическая реальность // Проблемы прагматического лингвистического. Калинин, 1987.

Горелов И.Н. Коммуникация // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.

Горелов И.Н. О «следах» смыслового синтаксирования в разговорной реплике // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1976.

Горелов И.Н. О возможности различения, запоминания и классификации объектов при отсутствии субъективных номинаций для них // Проблемы психолингвистики. М., 1975.

Горелов И.Н. О возможностях одновременной переработки разнокодовой информации // Предварительные материалы экспериментальных исследований по психолингвистике. М., 1974а.

Горелов И.Н. О значении и методике исследования интерференции // Интерференция в устной и письменной немецкой речи студентов и школьников. Оренбург, 1969.

Горелов И.Н. О некоторых «неязыковых» характеристиках диалогических текстов // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Вып.4. Горький, 1973.

Горелов И.Н. О некоторых особенностях речи и мышления младших дошкольников // Дошкольное воспитание. 1972. № 5.

Горелов И.Н. О проявлении автономности планов выражения и содержания при одновременном решении двух различных вербальных заданий // Материалы третьего Всероссийского симпозиума по психолингвистике (Москва, июнь, 1970). М., 1970.

Горелов И.Н. Опыт психолингвистического подхода к проблеме «лингвистической относительности» // Виды и функции речевой деятельности. М., 1977.

Горелов И.Н. Проблема «глубинных» и «поверхностных» структур в связи с данными психолингвистики и нейролингвистики // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1977. (Т.36). № 2.

Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе. Челябинск, 1974.

Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи: Автореф. дис. ...док. филол. наук. М., 1977.

Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1977.

Горелов И.Н. Проблемы «глубинных» и «поверхностных» структур в связи с данными психолингвистики и нейрофизиологии // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1977. Т. XXXVI.

Горелов И.Н. Разговор с компьютером: психолингвистический аспект проблемы. М., 1987.

Горелов И.Н. Речевая деятельность и проблема «уменьшения избыточности» // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1975.

Горелов И.Н. Синестезия и мотивированные знаки языков искусствоведения // Проблема мотивированности языкового знака. Калининград, 1976.

Горелов И.Н., Енгальцев В.Ф. Безмолвной мысли знак. М., 1991.

Горин Гр. Брюки без дефекта // Литературная Россия. № 59, (26 сентября 1975).

Грушин Б.А. Мнение о мире и мир мнений. М., 1967.

Деглин В.Л., Балонов Л.Я., Долинина И.В. Язык и функциональная асимметрия мозга // Труды по знаковым системам. Тарту. 1983. Вып. XVI.

Дембовский Я. Психология обезьян. М., 1963.

Денисова З.В. Отражение связей между компонентами предметного раздражителя в словесных реакциях ребенка // Труды V научной конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии. М., 1962.

Детьер В., Стекллар Э. Поведение животных. Л., 1968.

Джемс У. Научные основы психологии. СПб., 1902.

Долгопольский А.Б. Гипотеза древнейшего родства языковых семей Евразии с вероятностной точки зрения // Вопросы языкознания. 1964. № 2.

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М., 1973.

Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М., 1980.

Дубинин Н.А. Генетика и происхождение человека // Методологический семинар Ин-та археологии АН СССР: Тезисы докл. М., 1974.

Ежов В., Михалков-Кончаловский А. Сибириада // Новый мир. 1976. № 1.

Елина Н.Г. К проблеме «опорных единиц» текста // Лексико-грамматическая сочетаемость в германских языках. Челябинск, 1976.

Ершов А.Я. Методологические предпосылки продуктивного диалога с ЭВМ // Вопросы филологии. 1981. № 8.

Ершова К.В. Как мы обучали лепке глухонемых детей первом году обучения // Там же.

Ершова К.В. Обучение рисованию глухонемых дошкольников // Обучение и воспитание глухонемых детей дошкольного возраста. М., 1958.

Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.

Жинкин Н.И. Замысел речи // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.

Жинкин Н.И. Замысел речи // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.

Жинкин Н.И. Исследование внутренней речи по методике центральных речевых помех // Изв. АПН РСФСР, 1960. № 113.

Жинкин Н.И. Механизмы речи. М., 1958.

Жинкин Н.И. Новые данные о работе двигательного речевого анализатора // Известия АПН РСФСР. 1956. Вып.81.

Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6.

Жинкин Н.И. О теориях голосообразования // Мышление и речь. М., 1963.

Жинкин Н.И. Ответ на письмо С.Я. Бурштейн // Иностранный язык в школе. 1966. № 2.

Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи // В защиту живого слова. М., 1966.

Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982.

Жинкин Н.И. Язык, речь и текст // Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982.

Залыгин С. Избранные произведения в 2-х т. М., 1973. Т.1.

Запорожец А.В. Изменение взаимоотношений двух сигнальных систем в процессе развития ребенка-дошкольника // Доклады на совещании по психологии. 1953. М., 1954.

Запорожец А.В., Венгер А.А., Зинченко В.Н., Рузская А.Г. Восприятие и действие. М., 1967.

Зарубина Н.Д. О психологическом обосновании приемлемости метода моделей для обучения иностранному языку // Психология и методика обучения второму языку (критерии отбора языкового материала). Тезисы сообщения. 1967.

Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 1968.

Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.

Земцова М.И. Особенности познавательной деятельности слепых // Психологическая наука в СССР. М., 1960. Т. 2.

Зимняя И.А. Вероятностное прогнозирование в смысловом восприятии речи // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.

Зимняя И.А. Некоторые психологические предпосылки моделирования речевой деятельности при обучении иностранному языку // Иностранные языки в высшей школе. 1964. Вып.2.

Зимняя И.А. Смысловое восприятие речевого сообщения // Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976.

Зинченко В.П. Теоретические проблемы психологии восприятия // Инженерная психология. М., 1964.

Зинченко В.Я., Вергулес Н. Ю. Формирование зрительного образа. М., 1969.

Знаменский А.Н. Функциональная роль двигательного анализатора в выработке обобщения в 1-й и 2-й сигнальных системах // ЖВНД. 1963. Т. XIII. Вып. 6.

Иванов В.В. Взаимоотношение динамического исследователя эволюции языка, текста и культуры (к постановке проблемы) // Изв. АН. СССР. Сер. лит. и яз. 1982. №5.

Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.

Иванов В.В. Чет и нечет, асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.

Иванов Вяч.Вс. Лингвистика и исследование афазии // Структурно-типологические исследования. М., 1962.

Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1976.

Ильенков Э.В. Соображения по вопросу об отношении мышления и языка – речи // Вопросы философии. 1977. № 6.

Ильясов И.И. Эксперимент Дж. Миллера по проверке психологической реальности трансформационной модели (анализ методики) // Психология грамматики. М., 1968.

Исенина Е.И. Психолингвистические закономерности речевого онтогенеза (дословесный период). Иваново, 1983.

Исенина Е.И. Различение и узнавание как механизмы фонематического слуха. Афтореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1967.

Искусственный интеллект. Теория и практика. ИАН СССР. Техническая кибернетика. 1982. № 5.

Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии. Ч. 2. Владимир, 1972.

Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии. Владимир, 1972. Ч.2.

Каверина Е.К. О развитии речи детей первых двух лет жизни. М., 1950.

Каган М.С. Мир общения. М., 1988.

Казаков Ю. Осень в дубовых лесах. М., 1969.

Капанадзе Л.А., Красильникова Е.В. Роль жеста в разговорной речи // Русская разговорная речь. Саратов, 1970.

Карасев П.С. Из наблюдений над композицией ленинских статей // Проблемы жанров в журналистике. Л., 1968.

Карлинский А.Е. Основы теории взаимодействия языков и проблема интерференции: Автореф. дисс... докт. филол. наук. Киев, 1980.

Карпова С.Н. Осознание словесного состава речи дошкольниками. М., 1967.

Касаткина Н.И. Очерк развития высшей нервной деятельности у ребенка раннего возраста. М., 1951.

Касаткина Н.И. Ранние условные рефлексы в онтогенезе человека. М., 1948.

Кацнельсон С.Д. Сознание – мышление – язык – речь // Семинар по психолингвистике. Тезисы докладов. М., 1966.

Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевого мышления. Л., 1972.

Келер В. Исследование интеллекта человекообразных обезьян. М., 1930.

Кечухашвили Г.Н. Об одной объяснительной модели восприятия речи // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.

Кибрик А.Е. Проблема синтаксических отношений в универсальной грамматике // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. Вып. XI.

Коган В.М. Восстановление речи при афазии: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1963.

Козлов В. Поля далекие. М., 1962.

Колерс П. Межъязыковые словесные ассоциации // Новое в лингвистике. М., 1972. Вып. VI.

Колмогоров А. Автоматы и жизнь // Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная. М., 1968.

Колшанский Г.В. Паралингвистика. М., 1974.

Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. М., 1973.

Кольцова М.М. О возникновении и развитии второй сигнальной системы ребенка // Труды физиологического института имени И.П. Павлова. Т. IV. 1949.

Конрад Н.И. О смысле истории // Запад и Восток. М., 1972.

Корсунская Б.Д. Методика обучения глухих дошкольников речи. М., 1969.

Костандов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и неосознаваемое восприятие. М., 1983.

Кочубей Б. Действие и поступок // Знание – сила, 1991. № 7.

Критчли М. Афазиология. М., 1974.

Крушельницкая К.Г. К вопросу о смысловом членении предложения // Вопросы языкознания. 1956. № 5.

Курс военного перевода / Под ред. Н.П. Ветлова. М., 1966.

Ленин – журналист и редактор. М., 1960.

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.11.

Ленин В.И. Полное. собр. соч. Т.18.

Леонтьев А. А. (От редактора) // Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М., 1980.

Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. М., 1965.

Леонтьев А.А. Внеязыковая обусловленность речевого акта и некоторые вопросы обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 1968. №2.

Леонтьев А.А. Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания // Вопросы порождения речи и обучения языку. М., 1967.

Леонтьев А.А. Общественные функции языка и его функциональные эквиваленты // Язык и общество. М., 1968.

Леонтьев А.А. Психолингвистика и проблемы функциональных единиц речи // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.

Леонтьев А.А. Психолингвистика. Л., 1967.

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.

Леонтьев А.А. Психология общения. Тарту, 1974.

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.

Леонтьев А.А., Рябова Т.В. Фазовая структура речевого акта и природа планов // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.

Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975.

Леонтьев А.Н. Мышление // Вопросы философии. 1964. №4.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Изд. 2-е, М., 1965.

Леонтьев А.Н., Тихомиров О.К. Послесловие // Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических структур. М., 1963.

Леше Л. В защиту натурального метода преподавания новых языков // Русская школа. 1909, № 10.

Леше Л. Некоторые положения физиологии и психологии и их отношения к обучению языкам. Киев, 1910.

Литературная Россия. №42 (18 октября 1974 г.).

Логико-грамматические очерки. М., 1961.

Лоренц К. Человек находит друга. М., 1971.

Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.

Лурия А.Р. Курс лекций по общей психологии. М., 1964.

Лурия А.Р. Мозг и сознательный опыт // Вопросы психологии. 1967. № 3.

Лурия А.Р. О двух основных классах афазических нарушений речи // Проблемы афазии и восстановительного обучения. М., 1975.

Лурия А.Р. О патологии грамматических операций // Известия АПН РСФСР. 1946. Вып 3.

Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975.

Лурия А.Р. проблемы и факты нейролингвистики // Теория речевой деятельности (проблемы психолингвистики). М., 1968.

Лурия А.Р. Речь и мышление. М., 1975.

Лурия А.Р. Травматическая афазия. М., 1947.

Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979.

Любарский Ю.Я. Выразительные возможности языка диалога в автоматизированных системах управления // ИАН СССР. Техническая кибернетика, 1982. № 5.

Люблинская А. А. Детская психология. М., 1971.

Люблинская А.А. Роль языка в развитии познавательной деятельности ребенка // Доклады на совещании по психологии 1953. М., 1954.

Ляк Г.С. Особенности условных связей и звуковые компоненты речевых раздражений у детей первого года жизни. – ЖВНД. 1968. Т.ХVIII. Вып. 6.

Лямина Г.М. Развитие речи у детей в раннем возрасте. М., 1964.

Ляпидевский С.С., Гриншпун Б.М. О классификации речевых расстройств // Расстройства речи в детей и подростков. М., 1969.

Малышкин А. Соч. в 2-х т. М., 1965. Т.1.

Малышкин А. Сочинение в 2-х т. М., 1965.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч 2-е изд. Т.20.

Мартынов В.В. Рец. на кн.: Sebeok Th.A. Studies in semiotics // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1978. Т.37. № 2.

Мартынов Л. Воздушные фрегаты. М., 1974.

Марчук Ю.Н. Проблемы машинного перевода. М., 1983.

Маршак С.Я. В начале жизни. М., 1961.

Материалы семинара по проблемам мотивированности языкового знака. Л., 1969.

Матюшин Г.Н. К вопросу о причинах возникновения и роли общественно-трудовой деятельности в процессе антропогенеза // Методологический семинар Ин-та археологии АН СССР: Тезисы докл. М., 1974.

Медовой В.С. К проблеме перенастройки лингвистических процессоров // ИАН СССР. Техническая кибернетика. 1982. № 5.

Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. М., 1974.

Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествие на берег Маклая. М., 1956.

Миллер Дж. Психолингвисты // Теория речевой деятельности (проблемы психолингвистики). Перев. с англ. М., 1968.

Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структуры поведения. М., 1965.

Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 1981.

Мороз О. В поисках гармонии. М., 1978.

Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Л., 1967.

Музыка и современность. М., 1969. Вып.5.

Муканов М.М., Чистякова Н. И. К. Леви-Стросс об идентичности мышления дикаря и современного человека // Генетические и социальные проблемы интеллектуальной деятельности. Алма-Ата, 1975.

Мышление и язык. М., 1957.

Нагибин Ю. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1973. Т.1.

Нагибин Ю. Пик удачи. М., 1975.

- Налимов В.В.* Вероятностная модель языка. М., 1974.
- Наумова Т.Н.* Л.С. Выготский и лингвистика 19 – начала 20 вв. // Речевое общение, методы, средства. М., 1985.
- Неделя. 1992. №52.
- Недялков В.П., Сильницкий Г.Г.* Типология морфологического и лексического каузативов // Типология каузативных конструкций. Л., 1969.
- Нейгауз Г.* Об искусстве фортепианной игры. М., 1967.
- Неструх М.В.* Происхождение человека. М., 1970.
- Николаева Т.М., Успенский Б.А.* Языкознание и паралингвистика // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1970.
- Новиков А.И.* Лингвистические и экстралингвистические элементы семантики текста. – В кн.: Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982.
- Новое в зарубежной лингвистике (компьютерная лингвистика). Вып. XXIV, М., 1989. Ред. и состав. – Городецкий Б.Ю.
- Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975
- Новое в лингвистике. М., 1970. Вып. V.
- Обухова Л.Ф.* Этапы развития детского мышления. М., 1972.
- Обучение немецкому языку устным активным методом на начальной стадии. М., 1964.
- Общее языкознание / Под ред. Б.А. Серебrenникова. М., 1970.
- Оппель В.В.* Восстановление речи при афазии. Л., 1963.
- Орфеев Ю.В., Тюхтин В.С.* Мышление человека и «искусственный интеллект». М., 1977.
- Павлов В.М.* Проблема языка и мышления в трудах Вильгельма Гумбольдта и в неогумбольдтианском языкознании // Язык и мышление. М., 1967.
- Павлов И.П.* Полное собрание трудов. 1949. Т. 3.
- Падучева Е.В.* О семантике синтаксиса. М., 1974.
- Палермо Д.С.* Словесные ассоциации и речевое поведение детей // Изучение развития и поведения детей. Перев. с англ. М., 1966.
- Панов Е.Н.* Знаки. Символы. Языки. М., 1980.
- Панфилов В.З.* Взаимоотношения языка и мышления. М., 1971.
- Панфилов В.З.* Грамматика и логика. М.;Л., 1963.
- Паустовский К.Г.* Из разных лет // Новый мир. 1970. № 4.
- Пиаже Ж.* Психология, междисциплинарные связи и система наук. Перев. с франц. М., 1966.
- Пиаже Ж., Инельдер Б.* Генезис элементарных логических структур. М., 1963.
- Пизани В.* Этимология М., 1956.
- Пиотровский Р.Г.* Лингвистические аспекты «искусственного разума» // Вопросы языкознания. 1981. № 3.
- Плеханов Г.В.* Очерки по истории материализма. Изд. 3-е, М., 1922.

Подольский Л.И. О взаимовлиянии внутренней и внешней речи // Психология речи. Л., 1946.

Пождаев Г. Страна симфония. М., 1964.

Попов Э.В. Общение с ЭВМ на естественном языке. М., 1982.

Попов Э.В. Проблема общения с многофункциональными базами данных на ограниченном естественном языке // ИАН СССР. Техническая кибернетика. 1982. № 2.

Попов Э.В. Система взаимодействия с ЭВМ на ограниченном русском языке // Программирование. 1978. № 4.

Портнов А.Н. Язык и языковая коммуникация в контексте биологического знания. Рукопись.

Портнов А.Н. Язык. Мышление. Сознание: психолингвистические аспекты. Иваново, 1988.

Портнов А.Н., Силич Т.А. Роль языка в становлении сознательного отражения (Некоторые общие вопросы исследования) // Диалектика развития и функционирования сознания. Иваново, 1990.

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). М., 1974.

Поспелов Д.А. Предисловие редактора // Эндрю А. Искусственный интеллект. М., 1985.

Прибрам К. Языки мозга. М., 1975.

Психолингвистика за рубежом. М., 1972.

Психолингвистические исследования творческой деятельности. М., 1975.

Пушкин А.С. Сочинения. М., 1949.

Развитие ребенка / Под ред. А.В. Запорожца. Перев. с англ. М., 1969.

Рамшвили Д.И. Неприемлемость теории первичности языка жестов. // Вопросы психологии мышления и речи. Известия АПН РСФСР. Вып.81. М., 1956.

Расстройства речи у детей и подростков. М., 1969.

Рау Ф.А. Методика первоначального обучения глухонемых детей словесной речи // Всероссийское совещание по вопросам обучения и воспитания глухонемых. М., 1938.

Ревзин И.И. Метод моделирования и типологии славянских языков. М., 1967.

Рейтман У. Познание и мышление: моделирование на уровне информационных процессов. М., 1968.

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967.

Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики / Под ред. А.А. Леонтьева. М., 1972.

Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. М., 1970.

Румянцева Л.И. Особенности процесса сравнения у младших школьников // Типические особенности умственной деятельности младших школьников. М., 1968.

- Русская разговорная речь / Под ред. Е.А. Земской. М., 1973.
- Рыжский И.* Назначение музыки и ее возможности. М., 1962.
- Рябова Т.В.* Механизмы порождения речи по данным афазии // Вопросы порождения речи и обучения языку. М., 1967.
- Сакулина Н.П.* Рисование в дошкольном детстве М., 1965.
- Салмина Н.Г.* Формирование обобщения в раннем детстве: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1960.
- Северцов А.Н.* Главное направление эволюционного процесса. М., 1967.
- Серебренников Б.А.* Номинация и проблема выбора // Языковая номинация. М., 1977.
- Сеченов И.М.* Избранные произведения. М., 1953. Т.1.
- Сеченов И.М.* О предметном мышлении с физиологической точки зрения // Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947.
- Сиротинина О.Б.* Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.
- Скребнев Ю.М.* Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи: Автореф. дис. ... док. филол. наук. М., 1971.
- Скребнев Ю.М.* Речевая деятельность и частный лингвистический объект // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Вып. 4. Горький, 1973.
- Слобин Д., Грин Дж.* Психолингвистика. М., 1976.
- Соболев Л.* Капитальный ремонт. М., 1972.
- Сознание. Материалы симпозиума 1-3 июня 1966 г. М., 1967.
- Соколов А.Н.* Внутренняя речь и мышление. Л., 1968.
- Соколов А.Н.* Динамика и функция внутренней речи (скрытой артикуляции) в процессе мышления // Известия АПН РСФСР. 1960. Вып.23.
- Соколянская И.А.* Усвоение слепоглухонемыми детьми грамматического строя словесной речи // Доклады АПН РСФСР. 1959. №1.
- Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
- Солнцев В.М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1971.
- Солоухин В.* Избранные произведения в 2-х томах. М., 1974. Т. 2.
- Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Шахнарович А.М.* Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М., 1979.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 1979.
- Сохин Ф.А.* О лингвистическом развитии детей // Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970.
- Спиркин Л.Г.* Происхождение связи и его роль в формировании мышления // Мышление и язык. М., 1957.
- Стеблин-Каменский М.И.* Миф. Л., 1976.
- Степанов Ю.С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975а.
- Степанов Ю.С.* Основы общего языкознания. М., 1975.

Степанов Ю.С., Эдельман Д. И. Семиологический принцип описания языка // Принципы описания языков мира. М., 1976.

Степанов Ю.С. Семиотика. М., 1971.

Стравинский И. Что я хотел выразить в «Весне священной» // Музыка. 1913. №141.

Судаков К.В. Предисловие // Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. М., 1980.

Сыромятникова Н.А. Определение родственности корней // Вопросы языкознания. 1972. №2.

Тейлор Э. Первобытная культура. Т. 1. СПб, 1896-1897.

Тинберген Н. Поведение животных. М., 1969.

Толстой Л.Н. Детство Отрочество. Юность. М., 1973.

Томашевский Б.В. Писатель и книга. М., 1959.

Трифонов Ю. Рассказы и повести. М., 1971.

Тропольский Г. Здравый смысл. М., 1975.

Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966.

Уоллес Л. Чейф. Значение и структура языка. М., 1975.

Уорф Б. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып.1. М., 1960.

Успенский Г.И. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 2-3.

Фабри К. Примечание редактора // Тинберген Н. Поведение животных. М., 1968.

Физиология высшей нервной деятельности ребенка. М., 1968.

Фирсов Л.А. Голосовое поведение у высших и низших обезьян // Вопросы психологии. 1970. №2.

Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях. Л., 1977.

Фирсов Л.А. Сравнение следового подражания со следовыми рефлексами у шимпанзе // Вопросы антропологии. 1963. Вып.13.

Фланаган Дж. Л. Анализ, синтез и восприятие речи. М., 1968.

Флейвел Д. Генетическая психология Жана Пиаже. М., 1967.

Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М., 1973.

Фрумкина Р.М. Вероятность элементов текста и речевое поведение. М., 1971.

Фрумкина Р.М. О влиянии установки на механизмы вероятностного прогнозирования при восприятии речи // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.

Фрумкина Р.М., Добрович А.Б. О влиянии установки на механизмы вероятностного прогнозирования пары восприятия речи // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.

Хайнд Р. Поведение животных. М., 1975.

Хант Э. Искусственный интеллект. М., 1978.

Харрисон Дж., Уайнер Дж., Танер Дж., Барникот Н. Биология человека / Под ред. проф. В.В. Бунака. М., 1968.

Хемингуэй Э. Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 1 М., 1968.

Хитрук В. Яким роком живем, українство? // Літературна Україна. 1991, 21 марта, № 19 (4428).

Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.

Цветков Л.С. Нарушение анализа литературного текста у больных с поражением людных долей мозга // Лобные доли и регуляция психических процессов. М., 1966.

Чейф Л. Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983.

Чейф У.Л. Значение и структура языка. М., 1975.

Черемис П. Звідки покотилося колесо... // За вільну Україну. 1991, 24 июля № 131 (256).

Черниговская Т.В., Балонов Л.Я. Билингвизм и функциональная асимметрия мозга // Труды по знаковым системам. Тарту, 1983. Вып. XVI.

Чесноков П.В. Основные единицы языка и мышления. Ростов-на-Дону, 1966.

Чехов А.П. Избранные произведения. В 3-х т. Т.2.

Чуприкова Н. И. Слово как фактор управления в высшей нервной деятельности человека. М., 1967.

Чурилова Н.З. Из наблюдений над эллиптическим словоупотреблением в ситуациях разговорной речи // Вопросы синтаксиса русского языка. Калуга. 1969.

Шафф А. Введение в семантику. М., 1963.

Шведова Н.Ю. Междометия как грамматически значимый элемент предложения в русской разговорной речи // Вопросы языкознания 1957. № 1.

Шенк Р., Левовиц Л., Бирнбаум Л. Интегральные понимающие системы // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. XII.

Шиф Ж. И. Усвоение языка и развитие мышления у глухих детей. М., 1968.

Шиф Ж.И. Развитие познания цвета у глухих и слышащих детей // О психическом развитии глухих и нормально слышащих детей / Под ред. И.М. Соловьева. М., 1952.

Шиф Ж.И. Развитие познания цвета у глухих и слышащих детей // О психическом развитии глухих и нормально слышащих детей. М., 1962

Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.

Шовен Р. Поведение животных. М., 1972.

Шорохова Е.Б. Проблема сознания в философии и естествознании. М., 1961.

Шубин Э.П. О языковой коммуникации // Иностранный язык в школе. 1967. № 4.

Шубин Э.П. Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам. М., 1972.

Щерба Л.В. О понятии смешения языков // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Щерба Л.В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Изв. АН СССР. М., 1931.

Экспериментальная психология / Под ред. С.С. Стивенса. Т.2. М., 1963.

Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1960.

Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20.

Язык и мышление. М., 1967.

Якобсон Р. Лингвистика в ее отношении к другим наукам // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1983.

Якобсон Р.О. «Да» и «нет» в мимике // Язык и человек. М., 1970.

Якубовская К.Л. Формирование функции обобщения у детей на втором году жизни: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1966.

Ярмоленко А.В. Очерки психологии слепоглухонемых. Л., 1961.

Ярустовский Б. Игорь Стравинский. М., 1963.

Beadle G., Beadle M. The Language of Life: an Introduction to the Science of Genetics. 1966. №4.

Behaghel O. «Die deutsche Sprach». Halle / Saale, 1958.

Bloom K. Es war einmal. Halle, 1961.

Broadent D.E. Perceptual and response factors in the organization of speech // Disorders of language. ed. by A.V. S. de Reuck and V.O. Connor. London. 1964.

Brown K. Words and Things. Glencoe (Ill). 1958.

Buhler R.L. Onomatopoeie et la fonetion representatives du langage // Journal de Psychologie. 1933.

Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge. 1955.

Davis R. The Fitness of Names to Drawings // British Journal of Psychology. 1961. 52.

De Bruyn Günter. Buridans Esel. Halle, 1968.

Discussing language. Ed. by Parret G. The Hague, 1974.

Fisher S. Über das Entstehen und Verstehen von Namen mit einem Beitrag zur Lehre von den kortikalen Aphasien // Archiv für gesamte Psychologie. 1921-1922. 42-43.

Fitzgerald S. The Great Gatsby. Kiev, 1973.

Frisch K. The Dancing Bees, London, Methuen. 1954.

Gardner R., Gardner B. Teaching sign language to a chimpanzee // Science, 1969. 165. vol.1.

Gotsche O. Märztürme, Berlin, 1954.

Greswell R. Le geste manuel associe au langage // Langages. 1968. 10.

Hirsch R. Untern Tränen lächeln? Gerichtsberichte. ?, 1981.

Hornbostel E.M. Laut und Sinn. 1927.

Hunt E.B. Artificial intelligens. N.Y.; San Francisco; London, 1975.

Irwin F.W., Newland A. A. Genetic Study of the Naming of Visual Figures // The Journal of Psychology. 1940. 9.

Jakobsen C.F. Studies of cerebral function in primates // Comp. Psychol. Monogr. 1936, 13.

- Kahn S.* Wohin jetzt. Erfurt, 1967
- Kainz F.* Psychologie der Sprache. Bd. III. Stuttgart, 1951.
- Kainz F.* Vorformen des Lenkens // *Acta psychologica*. 1954. Vol. X N.1-2.
- Kisch E.E.* Landung in Australien. Verlag der Nation; Berlin, 1966.
- Laudius E.C.* Menschen an unserer Seite. Berlin, 1956.
- Lenneberg E.H.* The Biological Foundations of Language. N.Y., 1967.
- Lenneberg E.H.* The natural history of language // *The Genesis of Language*. Cambridge (Mass), 1966.
- Leonhard K.* Der menschliche Ausdruck. Leipzig, 1968.
- Leonhard K.* Der menschliche Ausdruck in Mimik, Gestik und Phonik. Barth // Verlag, Leipzig, 1976.
- Lieberman Ph.* The phylogeny of language // *Now Animals Communicate* / Ed. by Th. A. Sebeok. Bloomington; London, 1977.
- Lotz J.* Linguistics: Symbols Make Man // *Psycholinguistics. A Book of Reading*. N-Y., 1961.
- Malamud B.* Ein neues Leben. Berlin, 1970.
- Maltzmann I., Morriset L., Brooks L.* An Investigation of Phonetic Symbolism // *Journal of Abnormal and Social Psychology*. 1985. 53.
- Mann H.* Der Untertan, M., 1957.
- Moraze Ch.* Les origines des sciences modernes. Paris, 1986.
- Meenan J.R.* The metanovel: writing stories by computer. New-York; London, 1980.
- Noll D.* Die Abenteuer des Werner Holt. Berlin, 1966.
- Osgood Gh.* Hierarchies of Psycholinguistic Units // *Psycholinguistic*.
- Penfield W.* The nature of speech // *Memory, learning and language. The physical basis of mind*. Ed. by W. Feindel, Toronto, 1960.
- Premak D.* The education of Sarah: a chimpanzee learns the language // *Psychology Today*. 1970, 4.
- Révész G.* Ursprung der Sprache. Bern, 1946.
- Remarque E.M.* Drei Kameraden. M., 1963.
- Rommetveit R.* Words, meanings and messages // *Theory and experiments in psycholinguistics*. N.Y.; Lnd., 1968.
- Sager N.* Natural language information processing: A computer grammar of English and its applications. Reading (Mass.), 1981.
- Sapir E.A.* Study in Phonetik Symbolism // *Journal of Experimental Psychologie*. 1929. 12
- Schneider R.* Stücke. Berlin, 1970
- Sebeok Th.A.* Studies in semiotics. Contribution to the doctrine of signs. Indiana University. Lisse, 1976.
- Skinner B.* Verbal Behavior N.-Y., 1957. Ritchie M. The relationship of verbal and nonverbal communication. The Hague - P. - N.-Y., 1981.
- (Slama-)Cazacu T.* La «structuration» dynamique des significations // *Melanges Linguistiques publiés à l'occasion du VIII Congrès*.

Slama-Cazacu T. Comunicarea in procesul muncii. Buc., 1964.

Spittner B. Sprachliche Fehlleistungen beim Erwerb des Französischen als L₁ und L₂ // Kongreßberichte des 8. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik. Stuttgart, 1978.

Staats A. Conference. N.Y., 1965.

Stellar D. Animal behavior. Sec. ed. Foundation of Modern Biological Series. University of Pennsylvania, 1964.

Sullivan S. The International Theory of Psychiatry. N.-Y., 1953.

Taylor J.K. and Taulor M.M. Phonetic Symbolism in Four Unrelated Languages Canadien // Journal of Psychologix. 1962. 16.

Taylor J.K. Phonetic symbolism re-examined // Psychological Bulletin. 1963. V.60.

Ullman S. The concept of Meaning in Linguistics // Archivum Linguisticum. 1956. Vol. 8.

Webber B.L. Questions, answers and responses: Interacting with knowledge base systems. – In: M. Brodie, J. My lopulos (eds.) «On Knowledge Base Management Systems». Springer-Verlag. 1986.

Welz H. Verratene Grenadiere. – Berlin, 1970.

Westermann L. Laut und Sinn in Westafrikanischen Sudansprachen. 1927.

Wexler A. Experimental science for the blind. New-York; Oxford; London; Paris. Pergamon Press, 1961.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К.Ф. Седов. Слово об Илье Наумовиче Горелове 5

ПСИХОЛИНГВИСТИКА 10

I. Функциональный базис вербального мышления

ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 15

Глава 1. ИНТЕЛЛЕКТ И РЕЧЬ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ФИЛОГЕНЕЗЕ

Раздел 1. Некоторые замечания по данным био- (физио-) лингвистики о наследовании языковой способности 15

Раздел 2. Об автономном происхождении и развитии интеллектуальной и речевой способности 19

Раздел 3. Некоторые данные филогенеза и онтогенеза в связи с теорией происхождения языка и становлением речевой деятельности индивида 33

Раздел 4. О возможной примарной мотивированности языкового знака 40

Глава 2. РЕЦЕПЦИЯ РЕЧИ В КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ 45

Глава 3. ПОРОЖДЕНИЕ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ 65

Глава 4. О ПРОЦЕССАХ НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РЕЧИ 90

Раздел 1. О речевых расстройствах 90

Раздел 2. Методика направленного восстановления речи при афазии и методика обучения иноязычной речи. Опыт сопоставительной характеристики 94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 102

СТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 105

II. Невербальные компоненты речи и мышления

ПАРАЛИНГВИСТИКА: ПРИКЛАДНОЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 108

АВЕРБАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ В ТЕКСТЕ 123

Раздел 1. О некоторых деформациях нормативного текста 123

Раздел 2. Нарушения норм синтаксирования при отсутствии «внешних» авербальных компонентов 130

Раздел 3. О контекстных значениях паралингвистических средств коммуникации 133

СООТНОШЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО И ВЕРБАЛЬНОГО В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 146

- Эволюционный аспект в семиотике 148
- О трех позициях в интерпретации проблем «знак / не-знак» и «язык / не-язык» 148
- Коммуникативные системы животных и «диапазон» знаковости 151
- О связи «знак – представление» в психолингвистическом эксперименте 160
- Условия предъявления материала и методика обработки результатов 164
- Мотивированная форма знака и представление 166
- К проблеме установочного уровня системы автоматического распознавания речи 168
- Невербальный компонент как универсалия речевого акта 172
- О принципе дополнительности в языкознании 178

III. Социальная психолингвистика

ОПЫТ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМЕ «ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» 182

СОЦИОПСИХОЛИНГВИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 193

IV. Проблемы нейролингвистики

ПРОБЛЕМА «ГЛУБИННЫХ» И «ПОВЕРХНОСТНЫХ» СТРУКТУР В СВЯЗИ С ДАННЫМИ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ 205

- Код содержания и коды выражения 206*
- О возможностях экспериментальной проверки теории лингвистической относительности 215*
- Паралингвистика и проблема «следов глубинных структур» 217*
- О возможности соотнесения диахронии языка с процессом порождения речи 218*

О НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 220

V. Овладение иностранным языком как психолингвистическая проблема

О ГИПОТЕЗАХ «РАЗДЕЛЬНОСТИ» И «СОВМЕСТИНОСТИ» В ОПИСАНИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БИЛИНГВА 224

ФЕНОМЕН ПОРОЖДЕНИЯ РАЗНОКОДОВОГО ТЕКСТА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 231

VI. Психолингвистика и искусственный интеллект

ПРОБЛЕМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 252

ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ: ПРОЦЕССЫ И СРЕДСТВА 263

Список основных научных работ И. Н. Горелова 286

ЛИТЕРАТУРА 297

Подписано в печать 12.05.2003 г. Формат 84х108/32. Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ 235.

ЛР № 065483 от 28.10.97 г. Издательство «Лабиринт-МП», 125183, Москва, а/я 81.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Типография ИПО профсоюзов Профиздат»,
109044, Москва, Крутицкий вал, 18.

